

ГРАНИ

GRANI

2012

241-242

2012

Janvier – Juin

*Легко и радостно жить тому, кто ищет
в других хорошее, ищет и находит.*

*Исканием своим помогает он тем,
в ком ищет, раскрыть и проявить светлые
границы души. Но для этого он прежде всего
в самом себе должен раскрыть их, должен
стремиться к совершенствованию.*

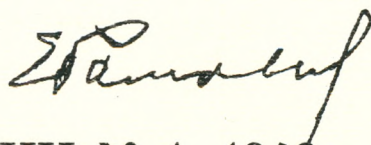
*Каждый человек – часть органического
целого, человечества. Совершенствуется
часть – совершенствуется целое.*

*Тот, кто становится на путь Правды,
помогает всему человечеству стать на тот
же путь.*

*А необходимость этого, может быть,
никогда так не была велика, никогда так
не ощущалась всеми, как в наши дни.*

*В свете этого большая и ответственная
задача стоит перед теми, кто служит
Слову, – Слову Правды.*

*Тогда подлинным гуманизмом будет
проникнуто творчество художника
и оправдано в служении Человеку,
Правде человеческой, Правде Божьей.*



ГРАНИ № 1, 1946

...Мы жили на этой земле, не давайте ее
в руки опустошителей, пошляков и невежд.
Мы – потомки Пушкина, с нас за это спросится...
Константин Паустовский.
Из завещания



Журнал основан в 1946 году

Основатель журнала Е. Р. Романов

Редактировали:

1946 Е. Р. Романов, С. С. Максимов,

Б. В. Серафимов

1947–1952 Е. Р. Романов

1952–1955 Л. Д. Ржевский

1955–1961 Е. Р. Романов

1962–1982 Н. Б. Тарасова

1982–1983 Р. Н. Редлих, Н. Рутыч

1984–1986 Г. Н. Владимов

1986–1995 Е. А. Самсонова-Брейтбарт

С 1997 года

Издатель и Главный редактор

Татьяна Жилкина

Москва–Париж–Мюнхен–

Сан-Франциско

ГРАНИ

МЕЖКОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ РУССКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ
THE RUSSIAN LITERARY JOURNAL

Год LXVII

№ 241–242

2012

ТАРУССКИЕ СТРАНИЦЫ

ТРЕТИЙ ВЫПУСК
ЮБИЛЕЙНЫЙ

ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ СБОРНИК

ТОМ I

Составители:

Николай Панченко и Татьяна Жилкина

Редакционная коллегия:

Виктор Кузнецов, Елена Левина, Ольга Постникова,
Варвара Шкловская-Корди

Тарусские страницы. Ассоциация «GRANI». L' association «GRANI». Paris. 2012. 180 с.; цв. вкладка.

Первый выпуск сборника «Тарусские страницы» в 1961 году с благословения и при участии писателя Константина Паустовского стал поистине событием в литературной и общественной жизни России.

Второй – «Тарусские страницы. Тридцать лет спустя» был собран в 1991 году.

Двенадцать лет редколлегия альманаха тщетно боролась с капитализацией книжного рынка в стране. Сборник был издан русским литературным журналом «Грани» в 2003 году за счет его зарубежных подписчиков и счастливо повторил судьбу Первого – разошелся мгновенно, в том числе и за рубежом: США, Франция, Великобритания, Швейцария, Германия, Канада и другие страны.

Рождение Третьего выпуска – это не просто дань полувековому юбилею и памяти замечательным писателям, для которых «Тарусские страницы» стали судьбой, но и живая нить лучших традиций русской литературы, протянутая через десятилетия в XXI век, в наше такое непростое время.

Татьяна ЖИЛКИНА



Памяти ушедших,
тех, кто был причастен
к изданию трех выпусков
«Тарусских страниц» –
посвящается

Мы – из XX века.

Слово к читателю Олега Воробьева

*«...никогда более не приехать в Тарусу.
Увезти ее в сердце – с собой».*

Анастасия Цветаева

Таруса – это провинция, по московским меркам, даже глушь. Вдалеке от областного центра, от железных дорог. Тем и хороша. Добираться туда, как и сто лет назад, можно лишь по шоссе или Оке, русло которой украшает собой городской герб. Может быть то, что местное население в свое время воспротивилось превращению города в индустриальный центр, и определило продолжение культурной истории знаменитого места.¹

XX век обошел Тарусу. Чудом обошли ее и социалистические новостройки, превратившие в безликие ПГТ² не один десяток некогда зеленых приокских городков, погрязших ныне в вопиющем архитектурном хамстве пяти- или девятиэтажных трущоб. Да и как еще назвать эти скопления уродливых кубиков-параллелепипедов, расставленных по окрестностям словно из опасений свежее-свободного дуновения личного уюта.

В этих домах нет, никогда не было и не может быть никакой души, никакого тепла. Только эрзацы и того, и другого. Социализированный казарменный рай санузлов и мусоропроводов. Насколько же нужно исковеркать свою душу пренебрежением к красоте, чтобы восторгаться этим уродством.³

Тарусе повезло. Фаустовский дух преобразования и стремления к комфорту любой ценой сделал для города исключение, тем самым лишь подтвердив основополагающее правило прогресса – любая энергия стремится к поглощению. В том числе и творческая энергия русской интеллигенции, не нашедшая себе в социалистическую эпоху лучшего места для вдохновения, для выхода из внутренней эмиграции в эмиграцию внешнюю – тарусскую.

Ставшая в XX веке настоящим заповедником русской культурной среды, Таруса тем самым избежала мертвенного дыхания мирового унитаризма. Город сде-

лался своего рода художественным символом литературного искейпизма и победы здравого смысла «Back to the nature», забаррикадовавшись от ужасов столетия страницами стихотворений Марины Цветаевой и Николая Заболоцкого, прозой Константина Паустовского и Анатолия Виноградова, режиссурой Андрея Тарковского и Никиты Высоцкого, художественным творчеством Николая Крымова и Андрея Файдыш-Крандиевского, осененных гением Василия Поленова, В. Борисова-Мусатова и Антона Павловича Чехова.

Насколько не соответствует индустриализующейся России советского столетия архитектурный gestalt Тарусы, насколько ее окрестности являют собой «уходящую натуру», настолько же вопиюще вневременны и потому асовременны таланты, высветившиеся сквозь призму знаменитых тарусских литературно-художественных сборников – правопродолжателей запрещенного альманаха «Литературная Москва».

Нетипичность, несоответствие времени – вот, пожалуй, основное, что ощущается в символизме «Тарусских страниц». Причем это относится ко всем трем выпускам этого удивительного диссидентского собрания дарований, выстреливших из шестьдесят первого года хрущевской «оттепели» в «нулевые года» постсоветской эры. И все же, говоря словами редактора легендарного сборника Николая Панченко, «камень долетел».

Пятидесятилетний полет шестидесятнической мысли завершился плавным приземлением. Творческая энергия «Тарусских страниц», растратившись, достигла цели, и сама литературно-художественная традиция сборника, не переставая оставаться выдающимся культурным событием, на фоне общедоступности его авторов, постепенно обрела форму мемориальной обыден-

¹ Проект строительства железной дороги до Тарусы был заморожен. Однако, все же оказалось построено здание пассажирского вокзала, в котором сегодня располагаются банк и налоговая инспекция. – О. В.

² Поселки городского типа. – О. В.

³ Барачное убожество, которого перестали стыдиться, и низкопробность. Стремление к глобальности, помноженное на бедность и деленное на глупость. Коммунистическая архитектура, – а именно она самая и есть все эти бездарные кубышки, – показала всем и вся свое истинное лицо и ничтожную сущность. Бездушные, один лишь дух коллективизма, братская гностическая пневма. Поистине, глядя на эти чудовищные монстры, в который раз подтверждаешь самому себе, что у социалистического Голема нет души. Есть лишь муравьиный, обезличивающий поток, отторгающий любую индивидуальность и ломающий своими ужасными пропорциями стремление к нормальной семье, к свободе и чистоте. – О. В.



ности. Что ж, ничего не поделаешь, жизнь переменялась. Ведь не приходится грустить о том, что нынче за выпуск подобного альманаха вряд ли будут преследовать тех, кто участвовал в его издании.

Между тем не следует забывать, что первые «Тарусские страницы» были чужды как времени, так и строю, они выпадали из его орбиты, одновременно являя собой отдушину самовыражения. О величине этой отдушины говорит разошедшаяся тридцать одна тысяча тиража сборника (при заявленных семидесяти пяти тысячах), «съевшая» сорок процентов годового гонорарного фонда и тридцать процентов бумаги калужского издательства. Последующие выпуски не в силах конкурировать с литературным голодом шестидесятых, что свидетельствует как об удовлетворенности читательского спроса, так и об устоявшейся аполитичности современного читателя. И не стоит жалеть об этом.

Что можно сказать о Третьем выпуске «Тарусских страниц»? Пожалуй, их невозможно просто читать – их нужно вдумчиво изучать, останавливаясь с оглядкой на каждом авторском повороте. Причем для прочтения уже нет нужды в формировании целостной картины мира. Она есть, она понятна и предсказуема. Мы это пережили, мы из этого вышли, родившись в веке революций и унаследовав все его соблазны и грехи.

Теперь мы прикасаемся к реликвии и словно устремляемся вспять, стараясь не упустить, запечатлеть в памяти каждую черточку безвозвратно ушедшей эпохи, испытывая ностальгию освободившегося из тюрьмы узника, которого все продолжает таинственно тянуть в места заточения.

Быть может, секрет такого притяжения в «божественной невинтице стихов» Юлия Даниэля, тарусском поэтическом цикле Беллы Ахмадулиной или тщательно подобранных строфах Виталия Амурского. Гравитация художественного образа – великая вещь, особенно когда его используют такие мастера слова как Юрий Левитанский, Лариса Миллер, Александр Ревич, Валентина Ботева.

Соискателю истины предоставляется возможность соприкоснуться с романтической ностальгией, скрытой в письме Анастасии Цветаевой к Евгении Куниной,

отрывках из дневника Евгении Казимировны Герцык, посвященных председателю российского теософского общества Софье Герье, именно в Тарусе завершившей «свой круг понятий о людях». Здесь же вводится в «научный оборот» и переписка гениального Юрия Домбровского со своим литературным наставником Борисом Зайцевым, а также проникнутые духом дореволюционной патриархальности письма художника и мецената Василия Поленова к своему другу и воспитаннику Леониду Кандаурову, послания Василию Гроссману от его друзей и почитателей и многие другие документы, в том числе, с грифом «совершенно секретно».

Новый альманах полон тарусских воспоминаний. Александра Гордона об Андрее Тарковском, Лидии Каннинг о Константине Циолковском, Игоря Шедвиговского о Булате Окуджаве. Дочерей о своих отцах: Натальи Семьиной – об участнике сборника шестидесят первого года поэте Петре Семьине, Екатерины Коротковой-Гроссман – о Василии Гроссмане. Нельзя не отметить и калужские мемуарные этюды Николая Панченко, между делом раскрывающие предысторию возникновения альманаха. Об этом же за «круглым столом» он говорит вместе с Романом Левитой, Булатом Окуджавой и Ниной Бялосинской.

Глубокая неизданная проза Всеволода Иванова («Кавказский пленник»), Юрия Домбровского («Сапоги в стену») или Ольги Панченко («На Калужском перекрестке»), иные произведения подчеркивают мемориальность Третьего выпуска сборника, бездонную притягательность таланта его авторов, объясняющую везение их выбора редактором и составителем Татьяной Жилкиной*. И действительно, как писал Юрий Домбровский, «разве быть талантливым само по себе не величайшая удача?».

Так, казалось бы, выйдя из XX века, с помощью «Тарусских страниц» мы возвращаемся в него снова. Слишком много горькой интеллектуальной пищи он нам предоставил.

И все же это наше время, наши беды, наши несбывшиеся надежды и странно свершившиеся мечты. В этом наша читательская судьба, подобная судьбе Окского разбойника Улая, лишенного за грехи смерти.

* Татьяна Жилкина – главный редактор русского межконтинентального литературного журнала «Грани» издала в 2003 году Второй выпуск «Тарусских страниц».

О судьбе сборника «Тарусские страницы».

Документы с грифом «Совершенно секретно»

В 1961 году в Тарусе возникла идея издания литературного сборника, куда вошли бы произведения как известных, так и молодых писателей и поэтов. Идея принадлежала К. Паустовскому и Н. Оттену. В эти годы, несмотря на «оттепель», в советскую печать могло проникнуть очень немного, правдиво отражающее действительность. Художественные произведения, даже слегка отклоняющиеся от шаблона всеобщего восхваления, безжалостно изымались из печати. Лицемерно провозглашенный лозунг о том, что «главная линия в развитии литературы и искусства – укрепление связей с жизнью народа, правдивое и высокохудожественное отображение богатств и многообразия социалистической действительности», – остался, как обычно, лишь в Программе КПСС. Еще одним подтверждением этого могут служить партийные документы, выявленные в фондах Центра хранения современной документации, о судьбе литературно-художественного сборника «Тарусские страницы».

Подготовкой сборника к изданию занялась редакционная коллегия, куда вошли К. Паустовский (руководитель), Н. Оттен, В. Кобликов, Н. Панченко и Арк. Штейнберг. Редакционная коллегия работала на общественных началах. Составителем сборника был Н. Оттен. Удалось договориться с Калужским книжным издательством о том, что сборник будет включен в его план вместо книги М. Твена, тираж сборника издательство определило в 75 тысяч экземпляров. Разрешение Главиздата было получено.

Удалось даже обеспечить некоторую рекламу готовящемуся изданию. Так, «Советская Россия» 19 сентября 1961 года поместила заметку своего калужского корреспондента о том, что работники типографии, верстающие сборник, с интересом читают листы набора, а читатели с нетерпением ждут выхода книги в свет. К. Паустовский выступил на «круглом столе» писателей, проведенном в редакции еженедельника «Неделя», и рассказал о работе над сборником. Заметку об этом газета напечатала в номере от 19–25 ноября 1961 года.

Неприятности начались сразу же, как только сборник поступил на контроль в Калужское областное управление по охране военных и государственных тайн в печати (Обллит). Немедленно оттуда были направлены докладные в Калужский обком КПСС и Главлит СССР о недопустимости подобных изданий. К счастью, сборник уже печатался и была изготовлена почти половина его тиража, однако на этом все и кончилось.

Чем же так не угодил советской власти этот альманах? Да только тем, что действительно правдиво отражал многообразие жизни. Например, освоение целины, изображенное В. Корниловым в повести в стихах «Шофер», показано без привычного энтузиазма, во всей неприкрашенности жизни. И герой, потерявший веру во все идеалы, осмеливается говорить: «... снова курю в кабине. Где ты, белая вера моя? Нет тебя и в помине».

Повесть Б. Окуджавы «Будь здоров, школяр», стихи Б. Слуцкого и Н. Коржавина о войне рассказывают о внутреннем мире человека, а не выводят фанатика с автоматом в руках. И уж совсем ничего не поняли цензоры из Главлита в мудром и глубоком стихотворении Н. Заболоцкого «Прохожий», где противопоставлены две человеческие души – одна, обьятая вечным покоем, и другая, находящаяся в живом теле.

Очень интересны материалы сборника о семье Н. Заболоцкого, жизни и творчестве художника В. Борисова-Мусатова, В. Мейерхольде. Кроме этого, в сборник вошли главы из книги К. Паустовского о Блоке, Бунине, Олеше; публикация дочери В. Поленова об отце, прекрасные стихи М. Цветаевой, а также множество иллюстраций по рисункам В. Борисова-Мусатова, опубликованным впервые, и рисунки К. Коровина, М. Врубеля, И. Левитана, В. Поленова, В. Серова и других из фондов музея В. Д. Поленова.

Ничего крамольного альманах «Тарусские страницы» не содержал, вошедшие в него произведения лишь расширили спектр показа действительности, но и этого было достаточно для советской цензуры. Сборник был изъят из печати, все люди, причастные к его изданию, понесли наказание*.

¹ Документы печатаются по подлинникам, в хронологическом порядке, с указанием всех помет, но в сокращении. Орфография документов сохранена. – *Ред.*



**СПРАВКА КАЛУЖСКОГО ОБКОМА КПСС
В ЦК КПСС С ОБЪЯСНЕНИЕМ ПО ПОВОДУ
ВЫХОДА ИЗ ПЕЧАТИ СБОРНИКА
«ТАРУССКИЕ СТРАНИЦЫ»**

16 декабря 1961 г.

**БЮРО ЦК КПСС по РСФСР
тов. РОМАНОВУ А.В.¹**

В г. Калуге областного отделения Союза советских писателей нет, так как до конца 1961 года не было ни одного члена Союза и только недавно поэт Н. Панченко принят в Союз.

В г. Тарусе проживает писатель К. Паустовский и еще несколько писателей и поэтов.

Идею создания литературного сборника высказали К. Паустовский и Н. Оттен. Она была поддержана обкомом КПСС, ибо предполагалось, что это будет сборник произведений о наших современниках, передовых людях деревни (Тарусский район является одним из ведущих по выращиванию кукурузы).

Областное книжное издательство обратилось за разрешением в Главлит о включении сборника в план издательства вместо снятой с перепечатки книги М. Твена. Разрешение было получено. После этого была образована редакционная коллегия под руководством писателя К. Паустовского на общественных началах, которая и подготовила сборник к изданию. Составителем сборника был Н. Оттен. Тираж сборника определило книжное издательство по согласованию с книготоргующими организациями.

Никакого договора Облиздат не заключал, так как сборник включен в план издательства.

Тираж определен в 75 тысяч экземпляров, отпечатано 30 тысяч, и больше печататься не будет, из-за отсутствия бумаги.

*Секретарь обкома КПСС
В. МИРОНЕНКО.*

ЦХСД, ф. 18, оп. 2, д. 383, лл. 78-79.

**ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА НАЧАЛЬНИКА
ГЛАВЛИТА СССР
П. И. РОМАНОВА В ЦК КПСС ПО ПОВОДУ
СБОРНИКА «ТАРУССКИЕ СТРАНИЦЫ»
С ПРОСЬБОЙ РАССМОТРЕТЬ ВОПРОС
О СНЯТИИ ЕГО ИЗ ПЕЧАТИ**

23 декабря 1961 г.

БЮРО ЦК КПСС по РСФСР

Калужским областным книжным издательством в октябре с. г. выпущен литературно-художественный иллюстрированный сборник «Тарусские страницы».

Ознакомление с содержанием этого сборника в порядке последующего контроля показало, что в него вошел ряд произведений, неполноценных по своим идейно-художественным качествам, искажающих жизнь нашей деревни и советских людей. Так, например, в рассказах Ю. Казакова «Запах хлеба», «Ни стуку, ни грюку», «В город» колхозная деревня, ее быт, взаимоотношения людей, их поступки и нравственные качества показаны в извращенном виде. На первый план выдвигаются уродливые стороны быта, нехарактерные для наших дней взаимоотношения между людьми, проводится идея о нездоровом влиянии города на формирование взглядов и отношений между людьми колхозной деревни.

Следует отметить, что эти рассказы Ю. Казакова, как сообщил заместитель председателя правления издательства «Советский писатель» т. Козлов, были отвергнуты издательством за их идейную неполноценность при составлении сборника рассказов Ю. Казакова «По дороге».

Из-за идейного срыва поэта была также отвергнута издательством «Советский писатель» поэма В. Корнилова «Шофер», включенная в данный сборник. В этой поэме во многих местах неправильно описываются события, связанные с призывом партии к молодежи об освоении целины. Целина показана как место для неудачников, людей, которым не повезло в жизни. Отсутствует героика освоения целины. Отдельные главы поэмы, в которых описывается жизнь страны, содержат политически ошибочные и клеветнические утверждения. Автор явно противопоставляет «начальство» народу, считает, что в распределении материальных благ в стране отсутствует справедливость. Такого положения, когда «народ живет небогато» и «мается», не было бы, по утверждению авто-

¹ А. В. Романов – член Бюро ЦК КПСС по РСФСР и член редколлегии «Справочник партийного работника».



ТАРУССКИЕ СТРАНИЦЫ

ра, если бы был жив Ленин (стр. 26, гл. 9). Говоря о ночной Москве, автор пишет о «ночных девочках», о пьяных летчиках, выходящих из ресторанов, о «сердобольных вдовах» и т. п.

Отдельные произведения, которые раньше по рекомендации Главлита СССР снимались редакциями журналов «Юность» и «Новый мир» по мотивам их низкого художественного уровня или порочного идейного содержания, оказались включенными в данный сборник. Так, например, наряду с другими произведениями поэта Н. Заболоцкого опубликовано его стихотворение «Прохожий» – явно упадочнического характера и пессимистическое по настроению. Герой этого произведения – демобилизованный солдат. Он завидует погибшему летчику, его покою, т. к. мертвого не преследуют больше беды, горе и тревоги, как преследуют они его – живого солдата.

Повесть В. Максимова «Мы обживаем землю», включенная в сборник, также была снята в свое время из журнала «Юность», № 12, 1960 г., за ее идейную порочность.

При составлении сборника редакционная коллегия, которая состоит из авторов, чьи произведения вошли в состав «Тарусских страниц» (В. Кобликов, Н. Оттен, Н. Панченко, К. Паустовский, Арк. Штейнберг), подошла нетребовательно, без должного отбора и учета актуальности и художественной ценности произведения, а руководствовалась беспринципными соображениями, включив в сборник главным образом то, что было написано в Тарусе, или если автор имел какое-либо близкое или отдаленное отношение к географическому пункту.

На наш взгляд, ошибкой является включение в сборник более сорока декадентских стихов М. Цветаевой, написанных ею главным образом в годы пребывания ее в белой эмиграции. Многие из них отражают неприятие ею Октябрьской революции, отчужденность от Родины и упаднические настроения. Но, несмотря на это, редколлегия предпослала циклу стихов М. Цветаевой статью Всеволода Иванова, непомерно восхваляющую Цветаеву как «высокоодаренного и оригинального поэта», творчество которого, по его мнению, очень близко творчеству великого русского поэта Н. А. Некрасова.

Обращает на себя внимание необычно шумная реклама, которая создавалась вокруг этого издания до выхода его в свет. Так, газета «Советская Россия» в номере от 19 сентября с. г. поместила заметку своего корреспондента из Калуги, в которой он восторженно отзывался о сборнике: «...книга еще не вышла в свет, но чи-

татели уже ждут ее. Работники типографии, где сейчас верстаются «Тарусские страницы», уже с интересом читают листы свежего набора». В заключение говорится: «Хорошо подготовленный Калужским издательством альманах должен подсказать другим издательствам путь к созданию таких полноценных интересных литературных сборников».

В № 47 «Недели» за 1961 год в отчете о встрече писателей за «круглым столом» в редакции этого еженедельника дается выступление К. Паустовского, в котором он объясняет выпуск сборника желанием группы старых писателей дать возможность молодым писателям опубликовать свои произведения, так как, по его утверждению, «нашей литературной молодежи трудно печататься».

В своей докладной записке Главлиту СССР начальник Калужского областного управления по охране военных и государственных тайн в печати т. Овчинников сообщил, что Калужский обллит, куда поступил на контроль сборник «Тарусские страницы», считал выпуск его в таком виде нежелательным. Об этом обллит письменно доложил обкому КПСС. Калужским обкомом было проведено совещание по обсуждению сборника. Несмотря на то, что при обсуждении ряд произведений, намеченных к опубликованию, вызвал серьезную критику со стороны литературной общест-венности гор. Калуги, под нажимом авторов и редколлегии во главе с писателем К. Паустовским сборник был выпущен в свет.

В настоящее время из намеченных к изданию 75 тысяч тиража сборника изготовлено только 30 тысяч экземпляров. Дальнейшее изготовление тиража приостановлено из-за отсутствия бумаги.

Учитывая изложенное, полагаем, что Калужское книжное издательство, выпустив сборник «Тарусские страницы», допустило ошибку. Считаем целесообразным дальнейшее печатание сборника не производить и просим поручить соответствующим отделам ЦК КПСС рассмотреть этот вопрос.

*Начальник Главного управления по охране
военных и государственных тайн в печати
при Совете Министров СССР
П. РОМАНОВ.*

ЦХСД, ф. 18, оп. 2, д. 383, лл. 74-77.



**ЗАПИСКА ЗАВ. ОТДЕЛОМ ПРОПАГАНДЫ
И АГИТАЦИИ В. И. СТЕПАКОВА
И ЗАМ. ЗАВ. ОТДЕЛОМ НАУКИ, ШКОЛ
И КУЛЬТУРЫ З. П. ТУМАНОВОЙ
О СОДЕРЖАНИИ
СБОРНИКА «ТАРУССКИЕ СТРАНИЦЫ»**

10 января 1962 г.

БЮРО ЦК КПСС по РСФСР

В конце минувшего года Калужское книжное издательство выпустило массовым тиражом литературно-художественный иллюстрированный сборник «Тарусские страницы» под редакцией К. Паустовского, В. Кобликова, Н. Оттена, Н. Панченко, А. Штейнберга.

В сборнике есть хорошо написанные произведения о советских людях и активной деятельности их в строительстве новой жизни. К ним можно отнести некоторые очерки Ф. Пудалова, Э. Малых, стихи Н. Панченко, А. Штейнберга, рассказ Ю. Крымова «Подвиг».

Многие же литературные произведения глубоко ошибочные, показывают советскую действительность в искаженном виде. Повести Б. Окуджавы «Будь здоров, школяр», В. Максимова «Мы обживаем землю», рассказы Ю. Казакова и поэма В. Корнилова «Шофер» пропитаны неверием в человека, в них преобладает натуралистическое копирование фактов, духовная ущербность персонажей, неустроенность их жизни. Эти произведения написаны с неправильных позиций, авторы пытаются принизить величие и красоту идей и подвигов советских людей. Повесть «Будь здоров, школяр» посвящается советским солдатам в годы Великой Отечественной войны. Герой и его товарищи в этой повести откровенно циничны, выглядят разболтанными, трусливыми людьми, лишены высокими идеями любви к Родине, преданности делу социализма, борьбы с фашизмом, то есть всего того, что придавало непреодолимую силу нашим бойцам в защите социалистических завоеваний народа.

«Помогите мне. Спасите меня, — истерически кричит герой повести — советский солдат. — Я не хочу умирать. Маленький кусочек свинца в сердце, в голову и все? И мое горячее тело уже не будет горячим... Тогда защити меня. Я не хочу умирать. Говорю об этом прямо и не стыжусь».

А когда его спросили:

«— А ты родину-то любишь?» Он ответил:

«— Люблю... этому меня еще в первом классе научили».

Командиры наделены такими ярлыками, как «штабные крысы», «гады», и в довершение всего герой пове-

сти провозглашает: «Хорошо, когда нет начальства. Никто не командует, никуда не гонят».

Незыблемость «идиотизма деревенской жизни», подлость в отношениях людей и зоологические инстинкты — таковы основные черты духовного облика современной деревни в рассказах Ю. Казакова «Запах хлеба» и «В город». Что касается очерков о лучших людях Тарусского района Калужской области, то многие из них неглубоки, написаны бегло, наспех. Например, в очерке Н. Яковлевой «Хлопот полон рот» делается странный вывод: «При механизированном хозяйстве тяга к земле проявляется не так сильно. Этому мешает узкая специализация».

Весь народ нашей страны назвал освоение целины своим великим подвигом в строительстве коммунизма. Преобразование огромных районов Востока страны стало школой коммунистического воспитания целого поколения советских людей. Поэт же В. Корнилов в поэме «Шофер» недобросовестно освещает важные стороны нашей жизни, возводит клевету на тех, кто по зову партии направился в необжитые края и проявил трудовой героизм.

Люди на целине представлены в поэме дурными и тупыми, а ее герой — это ограниченный человек, изъясняющийся полублатным языком.

Поэма пестрит сценами пьянства и разгула.

*Потянулась ко мне сама
И сама целовала губы.
Что же, голову тут ломай,
Разбирайся в застёжке путанице?
И пошла рука, как Мамай,
На ходу отрывая пуговицы...
...Подходили ребята к нам,
Говорили:
— Какая краля! —
...и я знал: раз пошла «буза» —
обязательно будет драка.*

И т. п.

А вот отношение героя поэмы к службе в армии:

*Сунули в поезд — в глазах ни зги.
Высадили в Иванове...
Выдали форму и сапоги,
Чуб до «нуля» убавили.
... Лето пришло. Жара. Лагерь.
Марши. Окопы. Стрельбы.
Рвал я листки календаря,
Жадно шептал: «Скорей бы».*



ТАРУССКИЕ СТРАНИЦЫ

В рассказе В. Кобликова «Голубые слезы», в очерке Л. Кривенко «Ока» и в вышеназванных произведениях поносится на все лады «начальство» вне конкретности и художественного образа, протаскивается мысль о том, что «начальство» — основное зло в нашей жизни. Обращаясь к «начальнику», основной персонаж поэмы «Шофер» говорит:

*Вам ли не всё равно,
Много ли хлеба, мало?
Только начальство уже давно
Вроде не голодало.*

В разделе «Публикации» авторы пытаются затушевать ошибочные стороны творчества отдельных писателей. Всеволод Иванов утверждает, что поэтесса Марина Цветаева «самым существом своим» очень близка Некрасову, и в ее стихах усматривает «гимн Советской России». Многие стихотворения М. Цветаевой, опубликованные в сборнике, проникнуты тоской и пессимизмом и связаны с переживаниями поэтессы в период ее эмиграции. К. Паустовский пишет о И. Бунине в тоне сплошного восторга, ни слова не сказав об его идейной ограниченности и чуждом нам творческом методе. В «Воспоминаниях, заметках и записях» А. Гладкова о В. Мейерхольде мы находим новые интересные факты о деятельности К. Станиславского и В. Мейерхольда. В целом же для записей А. Гладкова характерны «всепрошение», некритическое отношение к противоречиям творчества В. Мейерхольда. И. Ильинский оценивает «заблуждения» В. Мейерхольда как «интересные и талантливые».

Стихотворение Н. Заболоцкого «Прохожий» — это проповедь безысходности и упадочнических настроений. Демобилизованный солдат — основной персонаж стихотворения — завидует погибшему летчику, его «дивному покою», так как за живым солдатом,

*Шагая сквозь тысячи бед,
И горе его, и тревоги
Бегут, как собаки, вослед.*

Обращает на себя внимание та шумная реклама, которая создавалась вокруг этого издания еще задолго до выхода его из печати. Так, газета «Советская Россия» в номере от 19 сентября 1961 года поместила заметку своего корреспондента из Калуги, в которой он восторженно отзывался о сборнике, а в заключение поучает: «Хорошо подготовленный Калужским издательством альманах должен подсказать другим издательствам

путь к созданию таких полноценных интересных литературных сборников».

В № 47 «Недели» за 1961 год дается выступление К. Паустовского, в котором он объясняет выпуск сборника желанием группы старых писателей дать возможность молодым писателям опубликовать свои произведения, так как, по его утверждению, «нашей литературной молодежи трудно печататься». После выхода в свет книги «Литературная газета» опубликовала 9 января 1962 года статью Е. Осетрова «Поэзия и проза “Тарусских страниц”». Автор статьи анализирует художественные особенности и идейное содержание ряда произведений, помещенных в сборнике, в частности прозу В. Максимова, Ю. Казакова, Б. Окуджавы, поэзию Е. Винокурова, Н. Коржавина и других. Однако рецензент не дает прямой принципиальной оценки наиболее слабых произведений. Более того, Е. Осетров обошел молчанием идейно порочную поэму В. Корнилова «Шофер», а сборник в целом оценил как «во многом привлекательную и умную книжку». Разумеется, такая статья не может помочь авторам произведений до конца осознать и преодолеть идейно-художественные слабости и ошибки, а читателям правильно оценить литературные произведения сборника.

Руководители Калужского книжного издательства оказались не на высоте положения, попали под влияние редакционной коллегии сборника и не смогли дать правильной оценки произведениям.

На издание сборника затрачено 40 процентов гонорара и более одной трети типографской бумаги, полученной издательством в 1961 году.

В связи с выходом в свет литературного сборника «Тарусские страницы» полагали бы необходимым рекомендовать правлению Союза писателей РСФСР обсудить литературный сборник «Тарусские страницы», а Калужскому обкому КПСС и Министерству культуры РСФСР рассмотреть работу Калужского издательства и принять меры к улучшению его работы.

*Зав. Отделом пропаганды и агитации ЦК КПСС
по РСФСР В. СТЕПАКОВ*

*Зам. зав. Отделом науки, школ и культуры
ЦК КПСС по РСФСР З.ТУМАНОВА*

*На документе помета: «Ознакомить членов Бюро
ЦК КПСС по РСФСР А. Романов. 10.1».*

ЦХСД, ф. 18, оп. 2, д. 380, лл. 16–19.



ПОСТАНОВЛЕНИЕ [проект] БЮРО ЦК КПСС по РСФСР

Совершенно секретно

Об ошибке Калужского книжного издательства

Бюро ЦК КПСС по РСФСР отмечает, что Калужское областное книжное издательство допустило серьезную ошибку, выпустив в свет массовым тиражом литературно-художественный сборник «Тарусские страницы», содержащий ряд произведений, написанных на низком идейно-художественном уровне. Некоторые стихи, рассказы и повести, включенные в сборник, ранее были отвергнуты центральными издательствами. Директор издательства т. Сладков А. Ф. безответственно отнесся к выпуску сборника, не организовал его обсуждение на редакционно-издательском совете, чем грубо нарушил установленный порядок подготовки рукописей к печати, не обеспечил тщательное редактирование книги. Секретарь обкома КПСС т. Сургаков А. К. лично просматривал сборник, читал некоторые включенные в него негодные произведения, но не дал им принципиальной оценки и не возражал против их опубликования.

Бюро ЦК КПСС по РСФСР постановляет:

1. За беспечное отношение к изданию сборника «Тарусские страницы» и неудовлетворительное руководство областным издательством секретарю Калужского обкома КПСС т. Сургакову А. К. объявить выговор.

Принять к сведению, что за грубое нарушение установленного порядка в издании литературы и безответственность, проявленную при подготовке сборника «Тарусские страницы» к печати, бюро Калужского обкома КПСС объявило строгий выговор директору издательства т. Сладкову А. Ф., а главного редактора т. Левиту Р. Я. освободило от работы.

2. Обязать Калужский обком КПСС улучшить руководство издательством, укрепить его квалифицированными кадрами, активизировать работу редакционно-издательского совета, расширить авторский состав за счет новаторов производства и специалистов промышленности, сельского хозяйства и культуры.

3. Рекомендовать правлению Союза писателей РСФСР обсудить сборник «Тарусские страницы» и принять меры к усилению творческих организаций литераторов областей, краев, республик с местными

издательствами и оказанию им практической помощи в работе над изданием литературно-художественных произведений.

Е. К. ЛИГАЧЕВ
Е. М. ЧЕХАРИН.

ЦХСД, ф. 18, оп. 2, д. 383, лл. 68-73.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО ЦК КПСС ПО РСФСР О ПЕРЕРАБОТКЕ ПРОЕКТА ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПО ПОВОДУ ВЫХОДА В СВЕТ СБОРНИКА «ТАРУССКИЕ СТРАНИЦЫ»

12 февраля 1962 г.

Совершенно секретно
БЮРО ЦК КПСС по РСФСР

Поручить тт. Романову А. (созыв), Лигачеву, Чехарину, Попову¹ и Романову П., на основе обмена мнениями на заседании Бюро, переработать проект постановления по этому вопросу и внести его на рассмотрение Бюро ЦК КПСС по РСФСР². Срок 7 дней.

Зам. председателя
Бюро ЦК КПСС по РСФСР
П. Ф. ЛОМАКО.

На документе помета: «Послано тт. Романову А., Лигачеву, Чехарину, Попову А., Романову П.».

ЦХСД, ф. 13, оп. 2, д. 8, л. 22. Копия.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО ЦК КПСС ПО РСФСР О НАКАЗАНИИ ЛИЦ, ПРИЧАСТНЫХ К ВЫПУСКУ ИЗ ПЕЧАТИ СБОРНИКА «ТАРУССКИЕ СТРАНИЦЫ»

22 февраля 1962 г.

Совершенно секретно
БЮРО ЦК КПСС по РСФСР

1. Отметить, что Калужское книжное издательство допустило серьезную ошибку, выпустив массовым ти-

¹ А. И. Попов — министр культуры РСФСР.

² Постановление печатается, док. 8.



ТАРУССКИЕ СТРАНИЦЫ

ражом литературно-художественный сборник «Тарусские страницы», содержащий ряд произведений не только слабых в литературно-художественном, но и порочных в идейном отношении.

Директор издательства т. Сладков А. Ф. и бывший главный редактор т. Левита Р. Я. безответственно отнеслись к изданию сборника, не организовали обсуждения его на редакционно-издательском совете и не обеспечили тщательного редактирования, грубо нарушив тем самым установленный порядок подготовки рукописей к печати. Этим и объясняется тот факт, что в сборник были включены и такие рассказы и стихотворения, которые ранее были отклонены центральными издательствами и журналами ввиду их идейной и литературно-художественной неполноценности. В ущерб изданию литературы на важные темы экономической и культурной жизни области на выпуск сборника «Тарусские страницы» было израсходовано 30 процентов бумаги, полученной издательством в 1961 году, и 40 процентов годового гонорарного фонда.

2. Бюро ЦК КПСС по РСФСР считает, что Калужский обком КПСС не уделял должного внимания книжному издательству, не обеспечил необходимого контроля за качеством выпускаемой литературы и плохо проводил идейно-воспитательную работу среди литераторов и работников издательства. Секретарь обкома партии т. Сургаков А. К., будучи осведомленным о нарушении издательством установленного порядка издания литературы, не дал этому принципиальной оценки и даже настаивал на ускорении выпуска сборника.

3. За безответственность, проявленную при подготовке и издании сборника «Тарусские страницы», директора Калужского книжного издательства т. Сладкова А. Ф. от занимаемой должности освободить.

4. За отсутствие должного контроля за работой книжного издательства секретарю Калужского обкома КПСС т. Сургакову А. К. объявить выговор.

Принять к сведению, что бюро Калужского обкома КПСС освободило от работы главного редактора издательства т. Левиту Р. Я. и приняло меры к улучшению работы издательства.

Предложить обкому КПСС укрепить книжное издательство квалифицированными кадрами, улучшить работу редакционно-издательского совета, расширить круг авторов за счет специалистов промышленности, сельского хозяйства, работников культуры и новаторов производства, колхозов и совхозов. Улучшить идейно-воспитательную работу с местными литераторами.

5. Рекомендовать правлению Союза писателей РСФСР обсудить содержание сборника «Тарусские страницы» и принять меры к усилению связи творческих организаций литераторов областей, краев и АССР с местными издательствами.

6. Поручить обкомам и крайкомам КПСС проверить работу местных издательств, обратив особое внимание на содержание выпускаемой литературы, работу с авторами и улучшение деятельности редакционно-издательских советов.

*Зам. председателя
Бюро ЦК КПСС по РСФСР
П. Ф. ЛОМАКО*

ЦХСД, ф. 18, оп. 2, д. 383, лл. 95-96. Копия.

*Вступление, публикация
и археографическое оформление документов
М. ДБЯЧКОВОЙ*

«Тарусские страницы». Тридцать лет спустя*.

В разговоре принимают участие Нина Бялосинская, Николай Панченко, Булат Окуджава и Роман Левита



*Наша программа** расскажет об истории создания Первого выпуска альманаха «Тарусские страницы», который вышел в 1961 году. Вспоминают об этом писатели Нина Бялосинская, Булат Окуджава, Николай Панченко; Роман Левита – член редколлегии альманаха.*

Н. Бялосинская: <...> Помню, Коля мне сказал: «Живу я теперь в Тарусе, мы делаем альманах. Я за

него, конечно, получу выговор, но он того стоит». Это было весной шестьдесят первого года.

Н. Панченко: И вот мы встретили там Паустовского, у Оттегов. Пришла Надежда Яковлевна Мандельштам; она в то время там жила; Аркадий Штейнберг, тоже в то время там на поселении жил, поэт, интересный человек, художник; и мы решили пригласить тех, без кого сейчас не может больше существовать литера-

* Второй выпуск (1991–2003) – *Ред.*

** «Лад» – *Ред.*



ТАРУССКИЕ СТРАНИЦЫ

тура, кого она давно ждет, но журналы Кожевникова, Сафронова, Кочетова не пускают этих людей. Принес то, что он написал, что он считает нужным напечатать, и это идет, причем, без редакторской правки, от Лита мы всеми возможными и невозможными средствами ограждались. Это было очень трудно, но мы, кажется, с этим справились.

Вот Первый альманах «Тарусские страницы». Второй выйдет с таким же супером, только здесь в один столбик, а там будет в два столбика имена авторов, потому что сборник будет в два раза больше по объему. Там будет написано:

«Тарусские страницы. Второй выпуск. Тридцать лет спустя». 1961–1991.

Б. Окуджава: Все подумают, что это возраст автора.

Р. Левита: Это похоже на день рождения и день смерти.

Н. Панченко: Ничего, ничего, в юбилеи тоже так пишут. В конце концов, смерть тоже входит в понятие жизни и является частью ее. Вот недавно я разговаривал с одним человеком, он сказал мне: «Вот вы выпускаете Второй альманах «Тарусских страниц», а ты не знаешь, что я присутствовал при рождении этого сборника, я один знаю, как он родился». (Это Лева Левицкий.) Я говорю: «Ну как же?» – «Я был у Паустовского и там Паустовский...»

Я сказал: «Лева, ты присутствовал, действительно, при рождении, но есть люди, которые присутствовали при зачатии и даже к этому имели отношение. Один – это я, а второй – Роман Яковлевич Левита. Я был неуправляемый редактор калужского издательства, в очередной раз меня откуда-то сняли, потом снова поставили, воткнули в это издательство. И Алексей Сургаков говорил: «С Панченко иметь дело – это все равно что еловую ветку крутить: не знаешь, когда по морде зацепит». И решили такого respectable молодого человека, очень уважаемого в городе, Романа Яковлевича Левиту – он был прекрасный лектор, это был калужский Грановский, когда он читал лекции по политэкономии, девушки прибегали в калужский пединститут и заполняли актовый зал, и решили вот этого умного человека, потому что дурака представлять, они понимали, не стоит, поставить главным редактором калужского издательства.

И как только мы встретились с Ромой в калужском издательстве, мы сразу друг друга поняли и

еще одну вещь: выпускать областной альманах, как это раньше мы делали, не следует. Областной альманах – это вещь придавленная обкомом, всей идеологической системой, из-под этого выбиваются два-три писателя, в лучшем случае; иногда – один, а остальное – средний советский уровень. И мы решили выпустить не областной – помнишь, Рома? – а районный альманах. В Калуге двадцать девять районов. Начнем с Тарусы, а потом пусть другие районы соревнуются, лучше делают. Рома поехал в Тарусу, там был Паустовский...

Р. Левита: И вот мы в беседке Константина Георгиевича Паустовского, где он работал и просто встречался с друзьями, особенно в такие жаркие дни, как сейчас.

Очень приятно отсюда, с беседки начинать разговор, хотя, на самом деле, история «Тарусских страниц» начиналась не в этой беседке. После того как в издательстве мы с Николаем Васильевичем договорились об идее создания альманаха, я приехал в Тарусу, это было зимой, поэтому первая встреча с Константином Георгиевичем была в его кабинете, а не в этой беседке.

Нужно сказать, что Константин Георгиевич моментально, сразу же оценил возможности создания этого альманаха и буквально через несколько минут начал звонить. Он позвонил Оттену Николаю Давыдовичу и пригласил его к себе. Вместе с Оттенем пришел Балтер. И вот мы вчетвером сели обсуждать будущий альманах «Тарусские страницы»: что в него можно бы включить, какого типа должен быть этот альманах – иллюстрированный, с большим количеством краеведческого материала, с мемуарной литературой и так далее.

Н. Панченко: Ты помнишь, мы хотели попросить у Константина Георгиевича для альманаха что-то свое. Он тогда писал «Золотую розу».

Р. Левита: Да, он сказал, что пишет «Золотую розу».

Н. Панченко: Но уже, как сейчас мы, он был больше озабочен не своими литературными делами, его, как говорится, литературная судьба была давно устроена, он думал о молодых.

Р. Левита: Константин Георгиевич был в этом отношении очень жесткий в отборе произведений человека, он не просто номинально возглавил редколлегия «Тарусских страниц».



Н. Панченко: Но он говорил, что надо помогать талантливым, «бездарные пробьются сами».

Вот такое первое, почти бесцензурное издание. Об этом даже говорить сейчас не хочется, потому что, конечно, приходилось где-то обманывать, лукавить, входить в сделку со своей чистой совестью, но без этого ничего бы не вышло.

Когда я принес в обком эту огромную стопу бумаги, я, конечно, вместо острых рассказов Казакова положил не острые, я, конечно, вместо «До свидания, мальчики!» Балтера положил «О чем молчат камни», вместо «Школяра» – рассказ про двух мальчиков, бежавших на фронт, который тоже лежал в издательстве, то есть вещи менее острые положил, но секретарь обкома уже знал, что еловую ветку крутить бессмысленно, и он сказал: «Часа через три заходи».

Я подумал: «Часа три – это перелистать не успеет он». Он еще так демонстративно поставил пресс-папье на эту рукопись. Когда я через три часа пришел – пресс-папье лежало по-прежнему на рукописи, и он сказал: «Забирай». Он тоже пошел на этот шаг.

Р. Левита: Был и такой приемчик: мы в целях ускорения выпуска книги договорились с Литом, с цензурой, что читать книгу они будут не сразу всю, целиком (она большая, пятьдесят листов), а мы им будем давать отдельными листами, отдельными произведениями. И в результате эти листы попали к разным цензорам, и общего впечатления о книге никто из них, все-таки, не получил, хотя придирики были иногда совершенно фантастическими.

Я вспоминаю – это звучит сейчас анекдотично – из стихотворения Слуцкого: «Ордена теперь никто не носит, планки носят только чудаки». Начальник цензуры, который потом тоже пострадал, Овчинников, говорит: «Как это – никто ордена теперь не носит? Я вчера смотрел телевизор, выступал маршал Малиновский – весь в орденах».

Вспоминаю и эпизод с Корниловым, когда сказали: «Что это такое, у Корнилова в поэме «Шофер» черт его знает что написано: «Поутру, поругавшись с жинкой, по усадьбе ходил блажной, с незастегнутой ширинкой и босой, как луна, башкой». Как это – с незастегнутой ширинкой?»

Надо помнить, что нельзя говорить, что это запретила цензура – это говорит редактор. Редактор говорит, что надо снять это место. «Хорошо, – говорю Овчинникову, – мы скажем автору». Приходим. Я говорю: «Николай Давыдович, скажите Володе Корнилову, чтоб он что-то сделал с ширинкой».

На следующий день приходит Николай Давыдович и говорит: «Корнилов изменил». – «И как теперь?» – «Поутру, поругавшись с жинкой, по усадьбе ходил блажной, с застегнутой ширинкой и босой, как луна, башкой».

Прихожу в цензуру. Овчинников (он был человек, все-таки, не глупый) говорит: «Вы что, издеваетесь?» Я говорю: «Ну простите, Геннадий Иванович, я не пойму – незастегнутая ширинка вас не устраивает, с застегнутой ширинкой – не устраивает, что же, вам будет лучше, если в штанах нет ширинки?»

А Николай Давыдович Оттен говорит: «Я подсчитал, что в «Тихом Доне» слово «ширинка» употребляется двести восемьдесят четыре раза». На что Овчинников сказал: «Ну, Бог с вами». Так и осталась незастегнутая ширинка.

Б. Окуджава: Это сейчас выглядит смешным.

Р. Левита: Правильно сказал Булат, для нас сейчас все это смешно, на самом деле все это было серьезно. Мы ведь все время боялись, что на любом этапе все это приостановят, и поэтому было принято такое решение, совершенно неэкономичное, с точки зрения производства абсолютно невыгодное, – отпечатать полностью тысячу экземпляров. Отпечатали и успокоились: уже тысяча есть. Тогда стали печатать тридцать тысяч экземпляров. Успели отпечатать. А вот следующие сорок тысяч – уже не успели: запретили их печатать.

Н. Панченко: Уже появилась в «Калужской газете» на странице «Литература и искусство» статья «Во имя чего и для кого?» по поводу литературно-художественного сборника «Тарусские страницы», и сборник был арестован. И эти тридцать тысяч мы вывозили ночью на машинах на вокзальные площади в Москве и там с машин-автолавок продавали. И сотый магазин тоже прислал два раза свои машины, московский.

Б. Окуджава: Но было запрещено в библиотеки давать экземпляры – только продажа.

Н. Панченко: Ведь состоялось решение ЦК по этому поводу.

Б. Окуджава: Мы явились к Романову в ЦК. Я сейчас смутно помню, но был приблизительно такой разговор. Он очень напрягся, когда мы пришли, пото-

му что он не знал, как себя вести с нами и что нам говорить. Мы говорим: «Вот, редактора главного сняли, почему?» Он говорит: «А я вообще не понимаю, почему вам нужно было выпускать этот альманах «Тарусские страницы»?» — «Мы решили создать такой альманах». — «Ну, понесли бы в «Новый мир». — «Так в «Новом мире» отвергли, не хотели». — «Ну, в «Знамя» понесли бы». — «В «Знамени» тоже не хотели». — «Ну, могли бы в «Новый мир»...» — «Так в «Новом мире» отказали нам». — «Ну, в «Знамя» можно было...» — «В «Знамя» тоже не захотели. А вот главного редактора сняли теперь вот из-за этого». — «А что ж вы в «Новый мир» не отнесли?» (Смех). Да. Я помню, что какая-то была странная ситуация ужасно. Мы плюнули, махнули рукой и вышли оттуда, и он был счастлив.

Н. Бялосинская: Наташа Иванова написала для Второй книги. Через тридцать лет, наконец, «Тарусские страницы» получили рецензию. Это именно рецензия на эти «Тарусские страницы». И она пишет,

что эти авторы, может, как-то наивно еще, не противостояли строю, что они не понимали, нет. Но почему же они такие крамольные оказались? Потому что простодушие.

Понимаете, здесь было это простодушие, уже к тому времени, ко времени той гласности, оно уже было крамольным, потому что оказалось, что никто не заметил, что этот школяр пошел на войну добровольно, но вот что ему страшно, что он чувствует себя там маленьким человеком, что он еще любит какую-то там девочку — это все казалось неправильным, потому что солдат должен быть богатырь, он победитель, он покорил столько-то фашистов...

А что он при этом пошел добровольно — это была новость, что мама — секретарь горкома испугалась, что ее мальчик пойдет в армию, у Балтера, — это все разрушало миф. Писатель, на самом деле, не создает миф, как сейчас говорят, а разрушает эти мифы. И все это было на чистой тарусской природе, и так получилось, что вот эту книгу мы хотим сделать такой же.





Б. Окуджава: Я вспомнил сейчас одну историю, связанную с обложкой «Тарусских страниц». Когда вышел этот сборник, и мы, конечно, все взволнованные, собрались в «Литературной газете», наслаждались и говорили шепотом. И в этот момент открылась дверь и с книжкой «Тарусские страницы» в руках в комнату вошел критик Григорий Соловьев – был такой в то время критик. Жуткий совершенно тип. (Николай Панченко: «Он есть»). Есть, да? Ну вот. Он вошел, радостно улыбаясь, и сказал нам: «Ребята, вы видели «Тарусские страницы»? Мы говорим: «Конечно, видели, а что?» – «Можно писать разгромные статьи не читая, просто по фамилиям», – радостно сказал он. И тогда Максимов сказал: «Пошел отсюда!» И выгнали его.

Вообще, время было такое странное. Сейчас объяснить многое невозможно, особенно молодым людям, почему запрещалось, почему закрывалось, почему не разрешали. Нельзя объяснить. Я очень часто попадаю в трудную ситуацию, когда меня спрашивают: «А почему, собственно, эту вот песенку вы поете, а почему вас преследуют?» Как объяснить, почему?

Я сейчас вспоминаю, как в пятьдесят девятом году меня никакое телевидение или радио, никто меня не показывал, но однажды где-то какой-то полулегальный вечер, и там почему-то телевидение, и две дамы с телевидения ко мне подбежали и говорят: «Ну, может, для нас что-нибудь споете?»

И мне так захотелось, я говорю: «Да, да, с удовольствием». А сам думаю: «А что же у меня есть из песен такое, что можно?» Ничего нету, все грустное такое, ничего. Вдруг вспомнил: «Ой, одна есть песенка – «Мама, мама, я дежурю по апрелю», про любовь, такая легонькая. Я говорю: «У меня есть одна песенка».

Они говорят: «Ну, спойте». Я тут же – гитару и пою им. Я спел, а они говорят: «Ну что вы, это нельзя». Почему нельзя? Я так и до сих пор не пойму.

Н. Панченко: Эти «Тарусские страницы» вышли вместо областного альманаха и вместо Марка Твена. Как назывались эти издания? Коммерческие?

Н. Бялосинская: Доходные.

Н. Панченко: Доходные – это то, на что существует издательство. Вот издает Марка Твена тиражом двести тысяч экземпляров и покрывает все свои бездоходные партийные брошюры, хозяйственные, промышленные и так далее. И вот когда мы были у Романо-ва (ты вспомнил это), он так листал «Тарусские страницы» и говорил: «Вот это нам нравится, это не вызы-

вает у нас никаких возражений, это прекрасно, с этим мы согласны». Долистал до конца. Что же он нам инкриминирует? «Плохо одно, – сказал он, – что издательство потратило бумагу и средства, предназначенные для промышленной, сельскохозяйственной и политической литературы. А я – работник издательства, я говорю: «Извините, вас неправильно информировали. Мы потратили бумагу альманаха от Марка Твена, доход даже от половины – такой-то и такой-то (я ему выкладку полную), издательство сейчас бездефицитно существует». – «Да, тогда меня неправильно информировали».

А ведь смысл-то этого письма был, с одной стороны, защитить людей, которых мы, в общем, где-то искусили, ввели в соблазн, – это наше начальство, они же невинные, в общем, ни в чем не виноватые. А с другой стороны, это грозило, между прочим, и многим авторам.

Но надо сказать, что в отличие от каких-то других изданий, после «Тарусских страниц», действительно, пострадали те, которые имели непосредственное к этому отношение, по-разному пострадали. А в общем, весь этот список авторов все-таки был как-то из-под удара выведен.

Б. Окуджава: Авторы-то да, но, например, вещи... Вот моя вещь тридцать лет была под запретом, ее нельзя было опубликовать. Но недавно совсем ее опубликовали в первый раз.

Н. Панченко: Когда мы говорим о том, что такое «Тарусские страницы», – это Паустовский, Балтер, Винокуров, Вигдорова, Александр Гладков, Заболоцкий, Юрий Казаков, Наум Коржавин, Владимир Корнилов, Владимир Максимов, Булат Окуджава, Давид Самойлов, Борис Слуцкий, Юрий Трифонов, Марина Цветаева и так далее.

Н. Бялосинская: Эта книга – все равно, что ферма при всесоюзном колхозе. Эта книга создана группой друзей-писателей.

Н. Панченко: Мы делаем новый сборник, и там тоже есть много новых имен, которые после «Тарусских страниц» станут так же широко известны, как авторы этих «Тарусских страниц». Они определили шестидесятые, семидесятые и некоторые из нас определяют сейчас еще и восьмидесятые. У нас есть и прозаики, и поэты, некоторые из них уже даже и печатались понемножечку, книжечку даже уже где-то издали, но с лучшими веща-



ТАРУССКИЕ СТРАНИЦЫ

ми они выйдут в нашем сборнике, в том составе и объеме, как им это интересно, и вместе с этим сборником они войдут в литературу.

И мы надеемся, что, может быть, не нужно будет еще тридцать лет, может быть, Третий выпуск и раньше появится, но хотелось бы вот такого союза, такого вот выхода к читателю, для читательской памяти иногда хватает и на тридцать лет.

Сейчас тоже несколько изменилась обстановка, поскольку уже исчерпаны наши литзапасники: Гроссман, Солженицын, Цветаева, Ахматова, Мандельштам – журналы должны выходить все время, им трудно, они уже немножко задыхаются сейчас, хорошая литература не рождается вот так вот, мгновенно. И есть некоторое предубеждение еще у наших журналов тоже к молодым, они тоже продолжают по той же традиции, тогда были одни имена, сейчас – другие имена, и, говорят, несколько политизирована сейчас наша проза, беллетризована и проза, и поэзия.

Для того, чтобы вернуться к такому исходному, изначальному, к высокой пробе в периодическом издании – это очень трудно, нужно это делать, но это очень трудно. А альманах, который выходит раз в тридцать лет, обязан быть таким, иначе смысла в нем нет.

Вот сейчас есть смысл издать такой сборник, который бы снова как-то определил бы какой-то новый уровень, новую планку, скажем, у нас сейчас идет (я не говорю о присутствующих) проза Всеволода Иванова. Уж как будто, куда более старый автор и вот недавно книга вышла «Кремль», но у нас два блистательных рассказа...

Если бы в нашей стране не произошло вот такой деформации, такого уничтожения, по сути дела, нашей литературы, то, вот наверное, от этих рассказов пошла бы большая проза. Это жесткие рассказы, вся наша чернуха, которая у нас есть, – это детские игры по сравнению с этими двумя рассказами, но это высокая проза. И вот это было бы то, с чего бы она продолжалась дальше.

Конечно, у нас здесь есть поэты прекрасные. Вот недавно вышла книжка с моим предисловием «Возвращение к душе» Вениамина Блаженных, но кто знает, что есть в России поэт, который в значительной степени определяет поэзию этого времени, этого века. Вениамин Блаженных. Он у нас выходит большой подборкой. Или, скажем, молодой, но очень талантливый, очень тонкий и острый поэт и человек Петр Краснолётров. Или Марк Рихтерман, Ольга Постникова, Валентина Коханова – это все почти неизвестные имена, они войдут так, как вошли эти имена в литературу. Есть необходимость сейчас.

Вы понимаете, есть издания, сборники, которые выходят, как журнал «Советский Союз» выходил, то есть красиво. Или там вот такие сборники выходят красным по золотому, к всенародному празднику, а есть издания, которые выходят на неблагополучии. Между прочим, при всей оттепели – это то, что давало возможность говорить. А время тоже было очень неблагополучное.

Сейчас весьма неблагополучное время, и неблагополучие жизни обязательно отражается на неблагополучии литературы, и мы должны думать не только о литературе, а и о среде ее обитания – читателе, и вот «Тарусские страницы» – сборник, который выходит на неблагополучии, для того, чтобы еще что-то сделать не какими-то другими, а литературными средствами, средствами литературы, не политическими, не еще какими-то. Есть много хороших средств, но это – средствами литературы. Вот этим мы занимались тогда, тридцать лет назад, этим мы занимаемся сейчас.

Прекрасная проза Окуджавы в новых «Тарусских страницах», прекрасная проза Казакова, великолепная проза Горенштейна – рассказ очень хороший, очерки Фриды Вигдоровой, так, как будто они написаны только-только, а написаны они двадцать пять лет тому назад. Ну, и так далее. Я не хочу здесь заниматься рекламой этого сборника – он о себе сам ...

Н. Бялосинская: Мы почти всех авторов... вот вы спрашивали о судьбах, на эти судьбы мы отвечаем, в общем, новыми их произведениями, или тем, что от них осталось, потому что многие уже умерли, к сожалению. Почти всех, кто был, мы в этот сборник включили, и добавляем новых.

Н. Панченко: И продолжение авторское, так сказать, и продолжение этой линии.

Н. Бялосинская: А зародилось это все-таки так вот, по-домашнему. Много раз мы говорили, то Булат звонил, говорил: «Давайте, ребята, соберемся, сделаем «Тарусские страницы»».

Б. Окуджава: Да. Я пишу. Это автобиографический роман, обычный, в общем, такого мемуарного типа, вспоминаю свою жизнь.

Н. Бялосинская: Как он называется?

Б. Окуджава: Он называется «Упраздненный театр», но особенность его заключается в том, что глав-



ного героя зовут не Булат Окуджава, а Иван Иванович, поэтому мне очень легко иронизировать над ним, очень легко. Хотя правда, так и начинается роман, что «Ивану Ивановичу было уже за тридцать, когда его жизнь резко переменялась: дело в том, что он запел». А потом, спустя несколько строк есть такое место: «Впрочем, на самом деле Ивана Ивановича звали Отар Отарович, но обстоятельства его жизни сложились так, что он себя ощущал Иваном Ивановичем». Ну и обо всем... и свою родословную... и потом, последующую жизнь... и все там есть. Но вот та глава, которая отдана в «Тарусские страницы» про то, как он запел... после этого я уже писал целый год, и у меня изменился подход к вещи, и эту вещь я буду для книги перерабатывать.

Почему «Упраздненный театр»? Я пытался объяснить. Ну конечно, это не полноценное объяснение, но я подумал, что, вообще, мы в жизни играем роли какие-то, какие нам предназначены кем-то. В этом смысле, это театр.

А «упраздненный» – потому, что моя жизнь упразднена. Моя жизнь. Я ее прожил, я совершил то, что должен был совершить. Я продолжаю жить, конечно, и работать, но «театр» мой закончился. Ушли из жизни очень многие люди, окружавшие меня, на улицах поют другие песни, в моде – другая одежда...

Это уже все – не мое, я, как будто, живу в другом совершенно мире, хотя я постоянно с ним соседствую, но мой «театр» закончился, а теперь уже идет другой, к которому я приспосабливаюсь и живу.

Н. Бялосинская: Но мы тебя не спрашивали, почему так называется. Вот это особенность нашей редколлегии. То есть мы даем антологично Мандельштама, со стихами и с прозой, и сделали подборку стихов свою, как мы понимаем, нашего Мандельштама.

Н. Панченко: Мы его таким полюбили, вероятно, и вы полюбите такого Мандельштама.

Н. Бялосинская: Свою такую маленькую антологию. И статья Надежды Яковлевны Мандельштам, большая ее статья «Моцарт и Сальери», в которой она говорит, что Ахматова и Мандельштам через нее бесе-

довали на эту тему, потому что для них слишком острой была эта тема, чтобы глаза в глаза говорить, поэтому – через нее. Статья очень интересная.

Н. Панченко: У нас интересный раздел «Почта века» – там переписка Шкловского, Тынянова, Эйхенбаума, Шкловского с Горьким – очень интересные письма Шкловского Горькому, письма Юлия Даниэля из лагеря, письма Домбровского, тоже интересные.

Б. Окуджава: Слушай, а Кобликова есть что-нибудь?

Н. Панченко: Есть.

Н. Бялосинская: Есть, есть – воспоминания о Паустовском. Два Нобелевских лауреата были в Тарусе.

Р. Левита: <...> Говоря о свободе, о творческом союзе, все говорили правильно, за одним только исключением. Это исключение заключается – простите за этот оборот – в том, что сборник все-таки не стихийно сложился, что у сборника была редколлегия тогда, у сборника есть редколлегия сегодня. И редколлегия определяла формирование сборника, исходя из своих представлений о том, что есть настоящая литература, а что – ненастоящая литература.

Поэтому я хочу, чтобы у наших слушателей, у тех, кто нас будет видеть, слышать, не сложилось впечатление, что вот, просто, кто захотел – пришел, принес, что захотел, то принес и так далее...

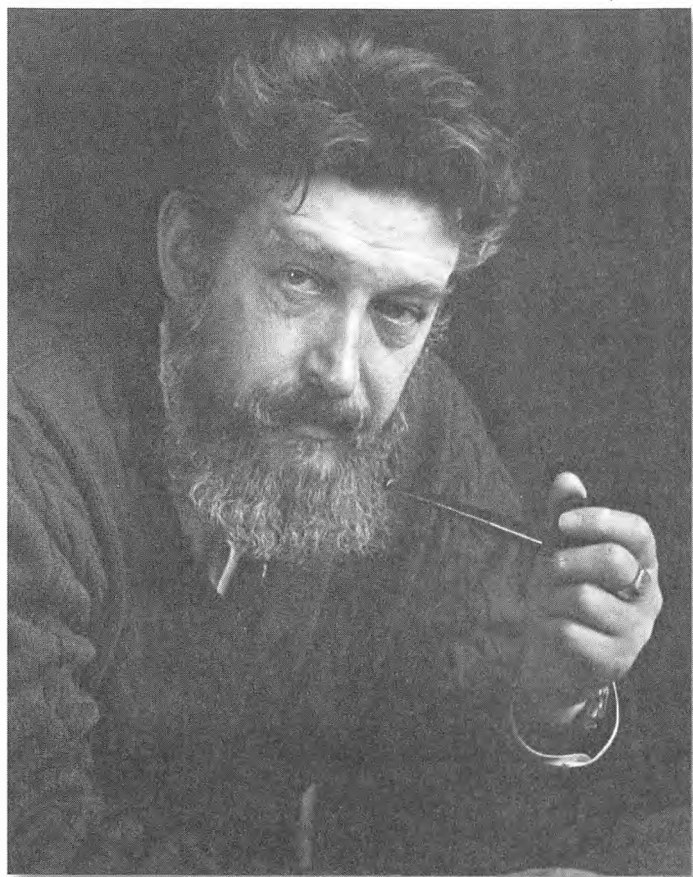
Нет, на самом деле редколлегия существовала и в первом сборнике, существует и сегодня, только ее функции не в том заключаются, как это считают, чтобы исправить или заменить слово «около» на слово «возле», ее функции в другом – собрать тех, кто является единомышленниками членов редколлегии, помочь им собраться.

Н. Бялосинская: Под сенью дружных муз.

Р. Левита: Да.

«К гипотетическому будущему мы готовы больше, чем к настоящему...»

Сорок лет со дня выхода в свет «Тарусских страниц» (2001)



В этом году исполняется сорок лет со дня выхода в свет знаменитого альманаха «Тарусские страницы».

Его авторы – тогда либо начинающие, либо на долгий срок отлученные от читателя, – сегодня являются гордостью русской литературы.

У нас в гостях редактор легендарного альманаха, известный поэт Николай Панченко.

– Николай Васильевич, когда осторожные редакторы «продергивали» ваши книги, верили ли вы, что все-таки настанет иное время?

– Мы не думали, что до этого времени доживем. Но понимали, что готовиться к нему надо.

– Говоря «мы», кого вы имеете в виду?

Нашу группу, а проще – «кухню». Тогда у каждого была своя «кухня». У Надежды Яковлевны Мандельштам – тоже, и туда входили такие, например, люди, как отец Александр Мень, Андрей Синявский, Владыка Иона, Варлам Шаламов, Александр Любимов, знаменитый биолог, который жизнь свою провел в борьбе с Лысенко; Варя Шкловская, Женя Пастернак, Нина Бялосинская, Сергей Аверинцев.

Бывали в этом кругу Иосиф Бродский, Белла Ахмадулина, Лев Гумилев. И многие другие прошли через маленькую кухню сначала в Лаврушинском переулке, в доме Шкловских, потом на Большой Черемушкинской улице, где друзья помогли Надежде Яковлевне купить однокомнатную квартирку. Помнится, когда в клубе «Кристалл» состоялся первый вечер памяти Надежды Мандельштам, большой зал, мест на триста, был битком набит, и при этом ни одного незнакомого лица.

На нашей «кухне» среди прочих обсуждались два очень важных вопроса. О свободе. Что это за понятие «свобода внутренняя и внешняя», только ли себе или и другому, стороннику или оппоненту тоже. Спорили – как существовать в свободе, которой никто из нас, тогда молодых, не видал.

И второй вопрос: кого считать интеллигентом. Осип Мандельштам клялся в верности «четвертому сословию». Помните – «...ужели я предам позорному злословию присягу чудную четвертому сословию». Нельзя же согласиться с Харджиевым, автором комментария к советскому однотомнику поэта, что «четвертое сословие» – это пролетариат. По Герцену, пролетарии и буржуа отличаются лишь тем, в чьих руках общественное богатство. А нравственно не разнятся и легко меняются местами.

Мандельштам, хорошо знавший Герцена, не мог присягнуть социальному оборотню. «Четвертое сословие» находится в другом, нравственном измерении. Оно не столько существующее и оформленное, сколько осуществляемое, – и реальность, и идеал.



– *Но что же все-таки делает человека интеллигентом?*

– Этот вопрос все время ставил перед собой Мандельштам. И как ответ на него он выдвинул отношение человека к поэзии. В России она играет особую роль. Она будит людей и формирует их сознание. «Поэт затем, чтоб мир вертелся – ни царь, ни раб не ожирел». За поэзию у нас убивают.

Стихи – вообще вещь непростая. Бог отделил свет от тьмы и к этому делу приставил поэта... Того, кто жаждет постичь: где он, с кем, для чего. И когда на все вопросы отвечает честно, получается поэзия. Когда нечестно – суррогат. Ахматова говорила, что человек, начавший с плохих стихов, то есть с суррогата, отравлен на всю жизнь. Он для нормальной нравственной пищи погиб.

– *Вопросы о свободе и об интеллигенции рассматривались на «кухне» Надежды Яковлевны Мандельштам как своего рода подготовка к гипотетическому будущему. И что же, готовы вы оказались к нему, когда оно настало?*

– Да настало ли? Не вернее ли сказать: тяжело и мучительно настает. Оно – не декларации и даже не законы. А опознаем мы его по человеку, если хотите – народу, вернувшему себе человеческое достоинство.

К тому гипотетическому будущему мы готовы больше, чем к настоящему, когда слышишь, что «каждый за себя». «За себя» – свойство биологическое. А вот если не за свое, а за то, чем никогда не воспользуешься, – это не биология, это крепче. Человек, способный на такое, духовно увеличивается. Он тот дом, как сказал философ, что изнутри больше, чем снаружи. А для себя он готов к любому исходу.

Война – гадость, великая война – великая гадость. Но она никогда бы не кончилась, если бы не было там таких людей. Знаю не по рассказам две войны: гражданскую – выселения, уплотнения, обыски, аресты и Отечественную. Одна война в другой – российская матрешка.

А в стороне от этой одеревенелой оболочки, примитивной, с неморгающими глазами, всегда была живая периферия. Это и «кухни», и котельные с работягами из бывших ученых, и церковные приходы с высокодипломированными батюшками, и литгруппы, студенческие и территориальные. Антиматрешечная периферия имела много «видов на жительство», форм существования. Перетекая из одной формы в другую, была в целом неуловима и в каждой части существовала с риском для жизни. Была резервом ГУЛага и средой, куда возвращались уцелевшие лагерники.

Она продолжалась всю мою жизнь, – повторю: она никогда не кончилась бы, если бы не было людей, готовых для себя к любому исходу.

– *Как вам удалось издать крамольный альманах «Тарусские страницы»? Он был раскуплен в мгновение ока и стал не просто бестселлером, а настоящим событием общественно-культурной жизни. Помню, как спустя двадцать лет после его выхода однокурсник одолжил мне на несколько дней бережно хранимую в семейной библиотеке книгу, официально подвергнутую опале...*

– Были люди, способные на этот поступок. Альманах замышлялся для того, чтобы прорвать госкомплотину на пути настоящей прозы и поэзии. Хотя бы ненадолго. Получилось. И за этот исторический миг к читателю пришли Казаков, Заболоцкий, Трифонов, Коржавин, Слуцкий, Корнилов, Цветаева, Окуджава, Самойлов и многие другие.

И изменили точку отсчета.

– *«Новый мир» и «Юность» в то время тоже шли на такие прорывы, но отнюдь не всегда им это удавалось.*

– Легче было действовать в малозаметном месте. Я работал тогда в Калужском книжном издательстве, вполне заштатном, и должен был выпускать областной альманах, издание полуграфоманское и никому, кроме его авторов, не нужное. Вместо него мы с главным редактором издательства решили выпустить районный альманах, «спуститься» – на совпартжаргоне – в глубинку, а район выбрали тарусский, тесно связанный с московской литературной элитой. И обком нам сказал – молодцы, что спустились «вниз». Но это был только первый шаг по нашему минному полю.

– *А что, можно было взорваться?*

– И не раз. Скажем, когда начальник обллита, посмотрев уже готовый сборник, заявил: «Нет, я не подпишу». Что делать? Пошел к нему Сладков, директор издательства, положил сборник и говорит: «Геннадий, ты не подписываешь как коммунист или как начальник обллита? Если как начальник обллита, то покажи инструкцию». – «Нет, как коммунист». – Тогда ставь штамп, подпись, надевай свои нарукавники и пиши письмо в обком». А пока он надевал нарукавники, мы добились у директора типографии круглосуточной работы всех цехов. Двое суток бегали с чет-вертинками от печатников к переплетчикам, чтобы

успеть выпустить хотя бы первую партию, тридцать тысяч экземпляров.

А потом грянул гром. Первым делом в калужской газете. Облкниготорг отказался от тиража, но уже ехали машины из Москвы – почему-то по ночам, и мы тоже не спали, вместе с ними вывозили книги.

– Отчего же тридцать лет спустя, в условиях куда более благоприятных, вам не удалось издать Второй выпуск «Тарусских страниц»? Я видела его верстку. И по авторскому составу, и по духу он – прямое продолжение той, первой книги.

– Прежде всего хочется повиниться. Первый сборник мы задумали в январе шестьдесят первого, а летом он был уже подписан к печати и вскоре вышел. Со вторым замешкались.

Но не в этом дело. В первом выпуске участвовали не только пролетарии, которым нечего терять, но и директор издательства, и секретарь обкома по пропаганде Алексей Сургаков. И тот же начальник облита сопротивлялся так, чтобы его сопротивление можно было преодолеть. Их всех поснимали с работы. Они подорвались на наших минах. Мне стыдно перед ними, но в то же время я горд за них: они знали, на что идут. И сохранили со мною добрые отношения. С такими людьми я прошел Отечественную, и пусть с кем-то из них мы оказались на другой войне по разные стороны, я знал: они тоже готовы к любому исходу. Они были духовны, хотя в их духовности некто нечистый перевернул карты.

Они из прошлого, как многие из нас, и из того «гипотетического» будущего, к которому мы готовились. А в настоящем, когда все чаще слышишь: «Каждый за себя» – зачем рисковать? И не жизнью ведь – ломаным грошом! Ради высоких целей. Литература – хорошо. Но копейка – вернее! И издательства одно за другим стали сбывать с рук «Тарусские страницы»: «Икпа», Скиф», «Московский рабочий». Кто следующий?.. А может быть, все-таки наступит еще при нас – наше время. И наши надежды сбудутся.

– Выходит, по нынешним временам книжка оказалась некоммерческой, что означает – обществу не нужной. Прямо по вашим словам: «Простое дело – медный грош. А он не прост: он вынет душу...» Почему же мы пришли к такому грустному духовному итогу? Нет ли в этом и вины интеллигенции?

– Что вы имеете в виду – демократию или интеллигенцию? Это разные понятия. Среди демократов много

людей неинтеллигентных, но среди настоящих интеллигентов, как правило, недемократов нет.

– Тот слой, которому и искалось определение на «кухне» Надежды Яковлевны.

– Сперва о пролетариате и буржуа. Когда они меняются местами и возникают – скажем про нашу страну – «новые русские», нравственности от этого в обществе не прибавляется. А еще я бы хотел вспомнить одну притчу. К святому подлетает голубь и говорит: «Спрячь меня, за мной гонится коршун». – «Давай сюда, за пазуху». Тут появляется коршун и кричит: «Что ты делаешь? Это же моя пища. Вот-вот меня оставят силы, и я погибну». Тогда святой разрывает грудь, вынимает сердце и отдает его коршуну.

Понимаете, демократия – еще не тот голубь, ради которого надо разрывать грудь. Демократии в разных странах и в разные времена были весьма неоднозначны, как принято выражаться. Ведь не случайна фраза, что как социальная система демократия очень плоха, но ничего лучше человечество еще не придумало. А о русском народе можно сказать, что он не хуже любого другого. Если его можно было подвинуть на сталинский фашизм, то Гитлер сделал это с куда более цивилизованным народом – немецким. В Австрии, как то-то говорил, нельзя поставить пушку, чтобы не уперлась дулом в один университет, а лафетом – в другой. В России же можно было поставить много пушек между, например, Казанским и Томским университетами. Русский народ долго находился в яме, в то время как другие шли по более-менее приличной дороге, вот и обошли нас.

Что же касается русской интеллигенции, то она всегда была достаточно высокого духовного уровня. И не случайно Ленин последними словами ругал интеллигентов. Они – именно те люди, которые готовы разорвать свою грудь и вынуть сердце. Как это случилось с Алесем Адамовичем в буквальном смысле, когда после инфаркта он пришел на суд бороться за писательскую собственность. Как случилось с Сахаровым и многими менее известными нашими современниками. Мы уходим, салютуя разрывом сердец, примерно так писал Михаил Дудин.

– Или как писали вы сами, «...бой, грянув, творит и не ждёт! Но есть у меня беззащитное сердце, и это меня подведёт».

– Но Виктор Шкловский сказал в свое время очень точно: не надо забывать гвозди самоваром. Интеллигенция не для того существует, чтобы решать вопросы драки, где совсем другие законы, где нужен политический опыт. Он помогает установить справедливость – разумеется, относительную.



Когда наши танки вошли в Чехословакию и Свободе предложили возглавить правительство, он, согласившись, заявил, что исходит из политической реальности. Тогда как интеллигенция не исходит из политической реальности, из того, что называется выгодой. Простой справедливости ей, хотя это очень важно, недостаточно. Ей хочется жить не по справедливости, а по истине. Вот по истине надо отдать сердце коршуну, чтобы сохранить голубя.

– Сейчас в большой моде теория: интеллигенция сойдет со сцены и ее место займут интеллектуалы.

– Это чушь. Интеллигент – понятие нравственное, а интеллектуал – чисто, так сказать, мыслительное: «умница», да еще образованный. Интеллектуал, как и демократ, может не быть интеллигентом.

Интеллигенция наша прекрасна. И если этим самоваром не забивать гвозди, то будущее у России не хуже, чем у других стран, а может быть, и благоприятней. Но при существующем – опять же вернемся к реальности – уровне нашего населения оно не изберет сейчас в свои вожаки представителей интеллигенции. Да они и не годятся для этого.

– Вы упомянули Сахарова и Адамовича. Они из тех людей, с кем связывались надежды на заре перестройки. Потом на этой же волне выдвинулись Гайдар и другие реальные политики. А затем оказалось, что первые виновны в том, что натворили вторые. И разве, действительно, не несет интеллигенция ответственности за тех, кто под ее знаменами пришел к власти?

– Обокрала нас советская власть, а Гайдар и его команда только сообщили, что не деньги в руках у нас, а

бумажки. А в преступлениях советской власти, конечно, виновата и интеллигенция, хотя и пострадала от этого больше других. Не раз и не два она клонула на коммунистическую наживку. На высокие слова, за которыми не последовало высоких поступков.

Да, несет ответственность, и больше других... Больше других «ведала, что творит». Не сразу сообразила. Но, и сообразив, большей частью оставалась «советской». А теперь оправдывается, вместо того чтобы покаяться.

– Каково ваше личное отношение к покаянию?

– Личное я точнее выражаю в стихах:

*Я не пишу –
мне только б записать!
И я стенографирую бездарно
о том, как брата
блудного спасать,
неся притом
издержки благодарно.
Спасать того, кто мерзко виноват.
Чья подлость
не искупится могилой.
О, Господи,
не я ли блудный брат?
Спаси меня
и, может быть, помилуй.*

Вот так. Добавить мне к этому – нечего...

*Беседу вела
Елена КОЛЬОВСКА*

*«Культура»
20–26 сентября 2001 года*

АНТОЛОГИЯ «Т.С.»

Слово о великом Стоянии*

Николай ПАНЧЕНКО

Город на берегу

Ностальгический этюд

Поезжайте в Калугу. Даже сейчас, надеюсь, это прекрасный город. Но поезжайте быстро, пока он еще почти весь стоит на левом берегу, на горе – высоко, красовито! – как писал о нем один путешественник. На правом берегу – против города – прямо от воды круто поднимается лес, изрезанный оврагами – с быстрыми змейками придонных ручьев и речек. Там – среди леса – деревни, в трех-четыре верстах одна от другой: Козлы – Большие и Малые, Некрасово, Секиотово, Ромоданово. Поля и луга. Оттуда – с юга – дуют на городской холм господствующие ветры. Увлажняясь над Окой, они несут лесной и полевой дух вдоль улиц – прямых и зеленых, как у южного города.

– Константинополь! – сказал писатель Соколов-Микитов, глянув на Калугу из-за реки, на плавающие в ее зелени веселые крыши и купола.

Калужские купцы, что торговали издревле с Индией и Ближним Востоком, привезли оттуда свой образ дивного города и поместили его на высоком плато. Над просторной рекой.

Отсюда Константинополь..

– Только все же другой Константинополь, – сказал Соколов-Микитов, – здешний.

Не откладывайте с вашей поездкой в Калугу: опоздаете! Не сегодня-завтра перешагнет город через Оку – говорят, уже есть такое решение – и затопчет свой зеленый пригород, сообщаящий ему красоту и здоровье. Забетонирует его.

Господствующие ветры понесут из заречья бензиновую вонь и пыль. Взятая в гранит и оседланная мостами река – еще одна – взятая и оседланная! – будет, мелея, натужно исполнять роль транспортной магистрали. И канализационной канавы – по совместительству.

Короче, если вы не успели родиться в Калуге, как я – пятьдесят-шестьдесят лет назад, вырасти в ней,

влюбиться, освоить все известные на Руси мужские профессии, уйти из нее на войну и в нее же с войны вернуться, то поторопитесь хотя бы увидеть ее, пока из ее облика не вычеркнута ее основная градостроительная идея – города на берегу. Не важно – на берегу чего: реки или океана. Или даже – воздушного океана.

Главное – на берегу стихии.

Город на берегу – не просто древность, которой за давностью и пренебречь можно, это вечная формула жизни.

Это текст договора между человеком и природой. Самый короткий и самый полный.

Город... И природа входит в него, как в чужой, хотя и родственный и уважаемый ею дом, – причесанная, сняв галоши, чтобы было приятно хозяину. –

Берег... И человек выходит на берег – из города – с бережностью ко всему, что не он, с мыслью: береги и – берегись! – если не убережешь. Ибо и ты часть сего. И если рубишь сук, то почти всегда тот, на котором сидишь.

Оттого, что исчезнет берег, когда город «освоит» реку, и пойму, и лес над ней, человек погибнет не сразу.

Но он сразу утратит то, что стихийно в нем, что его делает неожиданным и прекрасным, гармоничным и взыскующим гармонии.

Город на берегу – это формула гармонии мира. И условие возникновения в этом мире гения – смотри любую современную энциклопедию: К. Э. Циолковский.

Словом, торопитесь!

Вы уже опоздали на живой мост через Оку. Скажу, чтобы быть понятней: понтонный. Но у нас его называли всегда только «живым». Он состоял из нескольких поперечных связок плотов, с продольным настилом под колеса транспорта, с продольным же бревенчатым гребнем посередине, с деревянными тротуарами и перилами, за которыми – справа и слева – на бревенчатых выпусках кишели рыбаки, один подле другого – с удочками, подпусками, донками; и тут

* Главы из будущей книги. – Ред.



же по самой дешевой цене продавалась самая свежая рыба обыкновенных тогда и исчезнувших ныне пород: сом, стерлядка, налим.

Мост – живой! – дышит, оттого, что по нему, считая ребра его, идет, урча, грузовик.

Мост – цвета солнца и мытого дерева;
запаха свежей воды и цветов, что проносят горожане, и овощей, что крестьяне везут в город;

вкуса махорки – на просторе это вроде «Золотого руна», – которую курит весь день будочник, сидя за перилами, в центре моста, в тени своей будки – большого скворечника – под тремя спасательными кругами и осоводовским флагом.

– Такое сооружение! – показывает будочник на мост и на будку. – Нельзя, чтобы дым не шел. – И подсыпает в трубку махорки.

До ледостава, когда уже не было нужды в мосту, Ока из вежливости никогда не сносила его. Но, казалось, могла. Осенью набухла от дождей в потных своих берегах. Становилась мутной, а волна – тяжелой.

Великая была река.

Возле городского берега ее, по обеим сторонам моста, скапливалось под вечер до десятка разноцветных суденышек. С катерками и того больше. Загружались, сгружались, маневрировали, попыхивали, как будочник – не больше – своими трубками. Это тоже входило в пейзаж. Ровно в четыре пополудни мост разводили. И суденышки, весело прогудев друг другу: «До встречи!» – уходили один вверх, другие вниз по течению.

Как в Петербурге.

Кстати, там и сейчас разводят, вернее – поднимают мосты. А вот в Калуге не разводят уже. Нет больше в Калуге живого моста. И никакой жизни на мосту тоже нет. Вместо живого, что прямо на воде лежал, вознесли мост над окской поймой, что в несколько раз шире Оки и длиннее ее видимой излучины. И не понять уже, что главнее: Ока или мост через нее?

Маленькая стала река.

Трудно стало учитывать ее в планах продвижения города.

Опоздали вы и на западный склон калужского холма, что так устроился соразмерной деятельностью природы и человека, что чувствовал себя здесь человек воистину на своем месте в природе – на самой вершине земли, под близким, непостижимо доступным небом:

*Орёл, с отдалённой поднявшись вершины,
Парит неподвижно со мной наравне.*

Эти стихи, как и это место в Калуге, для многих было введением в Кавказ. Даже для лишенных воображения. Надо было не воображать, а видеть.

Кавказ и Пушкин: «Журчит Арагва предо мною...»

Под высоким холмом журчит Ячейка – так было! – гудит над нею пчелами заливной луг, и снова речка – Затейка! – с затаившимися в ней от паводка зелеными щуками, и опять луг, и дорога поперек него, с маленькими человечками, уменьшенными расстоянием, как в перевернутом бинокле.

А на конце ее, над песчаной грядой, распространяясь по горизонту и уходя вглубь террасами, сосновый массив – шишкинский – в синих дымах над кронами, и все это внизу, все – в один взгляд! – включая западное низкое солнце над бором.

Все это – было.

Но одно движение – неточное! – кистью – и гаснет картина, теряет глубину и масштаб. Одна ракетная установка на склоне с космической ракетой в натуральную величину – и исчез калужский Кавказ.

Не случайно не поставили даже церкви на вершине Яченского холма ни в одном из минувших веков – понимали: не соразмерен он ни с какой надстройкой. Естественно завершен – и только в таком виде – исключая коррективы – господствует над местностью.

Шестьсот лет понимали.

И вот – не поняли.

И, продолжая не понимать, запрудили Ячейку и Затейку. И утопили их вместе с их заливными поймами в собственной их воде.

Стоит никому ненужная ракета из Байконура. Смотрится в никому не нужное Калужское море.

Скучно.

А ведь когда-то здесь журчала Арагва.

Дорогой волнушек

Варе III.

От перевоза через Оку надо пройти к лесу, поселком, что ведет в Страхово, и перед самым лесом свернуть вправо. А потом, шагов через двести, там надломленная ветла – взять к лесу – тропинкой, среди ольховых куртин. И у первых сосен и елок тропинка превратится в дорогу. Наверно, прежде и там, где ольха с ивняком, тоже была дорога, но потом заросла. И теперь начинается только от первых сосен.

Зачем она здесь, в двухстах-трехстах шагах от страховской, – непонятно. Но она есть, и как только вы на нее выходите, в июне или июле, когда везде зной, здесь



на всем пути зеленая крыша над головой. Солнце сочится сквозь крышу, и стоят на дороге в прохладе и кружавчатом свете дня розовые волнушки, мохнатенькие еще, с неиспарившейся искрой росы. Много волнушек, посреди дороги, по которой не ездят. И вы их берете. И не берете сыроежек всех цветов, потому что не унести. И «ахаете» перед всяким подосиновиком. А перед белым опускаетесь на колени и не просто срезаете, как прочие, но похлопаете ладонями вокруг, оглядитесь... И только потом...

Дорогой этой не надо идти до конца. Она заглушается, становится дорогой свинушек, и, направляясь в обход Страхова справа, исчезает, как и возникла, в ольшанике.

Надо свернуть с нее влево, перед черепом лося – его вы не сможете не заметить, на большую поляну, где еще, если повезет, возьмете десяток белых, не удаляясь от главной тропы.

Поляной, где осенью всегда – дрозды, и чернолесьем, где подберезовики, тропа выведет вас на сосновый взгорок главного страховского проселка. Он хоть и главный, но и на нем вы скорее всего никого из людей не встретите, а под соснами на взгорке, которые всегда шумят и дают тень, хорошо вздремнуть, когда полдень сморил комара, а кузовок у вас полный.

Возвращаться вы будете, переключив кузовок с руки на руку и только поглядывая по сторонам, чтобы не пропустить своего белого или подосиновика, что вышел вас поприветствовать.

– Привет, привет! – говорите вы и уже не «ахаете».

От леса до Оки идете заливным лугом. Дорогою в лес вы его проскочили – думали о грибах, а когда возвращаетесь с грибами, луг – долгий, весь в пчелах и грубых придорожных цветах.

– Перевозчик! – кричите, если он на другой стороне.

Перевозчик, не торопясь, вылезает из будки, что на пароме, где спал с похмелья, и, оттолкнув плоскодонку с кормы, начинает всхлипывать веслами.

Малая кругосветка завершилась. С корзиной грибов и с букетом из пижм, цикориев и коровяка вы возвращаетесь к Поле (если вы – это мы), словом, в дом, из которого поутру вышли и куда к обеду вернулись.

После обеда и отдыха под теплым ветром в саду, откуда видна Бёховская церковь, будет вечер. И вы откроете книгу, с которой словно не расставались, или тетрадку, с пустыми страницами – пугающими и манящими.

Кругосветка – малая или большая?

Если не спорт, а жизнь, то дело не в милях. А в том, что удалось вместить в этот круг. Если свет – стало быть, кругосветка.

Стало быть, все хорошо.

Я говорю – «вы». Это не вежливая форма. Вас как минимум – двое. И если так – и каждый из вас не сам по себе! – вы нашли счастье. Как первую мохнатенькую волнушку на дороге (что начинается из ничего).

И продолжаете находить. И когда тяжело – кузовок полон! – то – правильно говорят – своя ноша не тянет.

Я нашел эту дорогу без начала и волнушку на ней – свое счастье – в Тарусе. И, значит, я – это мы. Сколько нас?

Где двое – и каждый не сам по себе! – там, говорят, трое.

С тех пор прошло двадцать пять лет.

И я дарю тебе, мой свет, утреннюю волнушку с серебряными искорками по кругу.

И подробно рассказываю всем, как попасть на эту дорогу.

Дальше – начинается человек

«Якобы» – великое слово.

Кто-то говорил о нем. Кто – не помню.

Я приезжаю в Тарусу рыбачить. Это мне кажется, что рыбачить. А на самом деле я приезжаю – якобы рыбачить..

Насадив червя на крючок и закинув леску под кусти, я замираю, как дерево – когда нет ветра. И если бы рыбы питались бамбуком, я приносил бы всякий раз домой огрызок удилица.

Я не за рыбой вставал на рассвете.

А за чем?

Странно, почему надо думать с удочкой и по колено в воде? Думать можно и без удочки. Но почему же не думать с удочкой?

Я построил лодку, чтобы плавать на ней. Якобы.

Я пожалел, что достроил ее. Лодку можно строить, не отвлекаясь от своих мыслей.

Не люблю ничего, что отвлекает. Часто даже читать не могу. И слоняюсь из угла в угол, когда мир лежит на бестселлере, а мухи, не обученные читать, так подавлены своим невежеством и ничтожеством, что даже летают, как пепел – медленно и бесшумно.

В детстве я завидовал тем, кто может все время читать. Мне говорили:

– Бери пример с Вовы!

Вова весь день не вынимал носа из книжки, как лошадь – из овсяного мешка. А я даже учебники прочитывал сразу, пока они еще пахли краской. И весь год потом только слушал. Я читаю «запойми». А потом сторонюсь



всякой печатной страницы. Чем старше, тем интервалы между «запоями» больше. В старости, когда мне останется совсем мало жить, я буду, наверно, читать только письма. Потому что не читать письма не вежливо.

Не люблю ничего, что отвлекает...

– А женщина?

– Это ведь пока отвлекает...

А дальше – нет женщины: дальше начинается человек.

Насекомые, где-то читал я, после соития погибают: самец сразу, а самка, отложив яйца. Они – образчик воспроизводства жизни: воспроизвел и можешь идти.

Бедный самец – счастливый! – у него нет вопроса: для чего он живет. Вопрос лишь наклеивался – и нет самца, не успел озадачиться.

Мысли идут после, – когда лежат два человека, два творения – в их светлый час: расслаблена плоть и очищена мысль, и легкость в них и ясность осеннего солнечного дня.

Насекомому довольно воспроизвестись.

Зверю – вырастить зверя.

А человеку – выбор.

Блажен, кто выберет светлый час...

Хотим – не хотим

Мы только похвастаемся, что владеем мыслью, что мысль – наше орудие. Было бы несчастьем, если бы мы овладели мыслью. Тогда уже не на что было бы надеяться.

А пока есть на что:

– Мысль, ведай меня! Мы – дрова, горящие в тебе.

И когда в доме тепло, люди серьезные говорят: «Какие дрова!» И никогда: «Какой огонь!» Потому что огонь – всегда огонь. А дрова могут быть разные.

У нас перед глазами, когда мы поднимаем их над книгой, два цвета: черный (цвет букв) и белый (страницы). Мысль в чистом виде – прозрачна. Она не окрашена.

А «дрова» могут быть разные. Как свет, проникающий сквозь витраж. И только черное не пропускает ничего.

А чистого мы не видим.

Прозрачного не замечаем.

Оно не задерживает. Не пропускает, не искажая. И мы не только не благодарим его, но и не помним. Потому что не доглядели.

Такова судьба праведника.

Мы ничего не знаем о нем.

Слышали, что ему чего-то нельзя. Если не всего, то чего-то. Он мучается, но побеждает, и, говорят, счастлив. А может, и в самом деле – счастлив. Это нам неизвестно.

Мы не хотим, чтобы нам – «чего-то нельзя». Словно без этого нам все можно. И так ли уж хорошо, когда все можно?!

«Хотим – не хотим» мы примеряем, как туфли. Подходит, не жмет, значит, хотим.

А истину знает тот, кто не примеряет ее к себе.

То, чего вы не знаете

То, что вы знаете о «Тарусских страницах», было потом.

Когда они буквально мелькнули на книжных прилавках, а розница союзных журналов так и осталась на этих прилавках – невостребованной.

Потом мы тоже были, но все, что было потом, было не о том. А мы не просто были, но – отмеченные высокой правительственной наградой – суровым постановлением ЦК.

Начнем, однако, с того, чего вы вовсе не знаете.

Так вы не знаете, что «Тарусские страницы» начались с чуда.

Когда я твердо решил, что – «народ прав» – и «один в поле не воин» – и уже почти захандрил, для «укрепления издательства» был назначен на должность главного редактора мой хороший знакомый Левита.

«Укрепить» – это слово и сейчас в аппаратном лексиконе. Чаще всего «укрепляют руководство». «Укрепить руководство издательства» – звучало для меня как музыка. И я, дурачась, обвел черной рамкой день назначения Левиты в его настольном календаре.

Уже тогда мы понимали друг друга. В стране с раздавленной экономикой, на лекциях Романа Левиты по политической экономии стояли в проходах. Начальство удивлялось, но придаться ни к чему не могло. А когда он представил к защите кандидатскую диссертацию в Московском университете, не вдруг решили по какой кафедре ее защищать. Называлась диссертация: «Экономические взгляды Салтыкова-Щедрина».

Не было сомнений, что «укрепляли» таким видным «кадром» меня. С другими сотрудниками проблем не было.

А уж вместе-то, подумал я о Романи и о себе, – мы вам поработаем.

Словом: два сапога пара.

Оставалось только этим сапогам правильно выбрать дорогу: во-первых, во-вторых, в-третьих...

Во-первых, было очевидно, что выпускать литературно-художественный альманах в области, где нет художественной литературы, нельзя.

Почему? Потому что нет художественной литературы. Три-четыре способных литератора, изредка, когда у них получалось что-то путное, публиковались в Мо-



скве. А основной контингент «мусорного контейнера», каким был едва ли не всякий областной альманах, составляли графоманы, люди бездарные и оттого исключительно энергичные.

И при этом – социально опасные. Позже я прочитал у Анны Ахматовой или услышал в разговоре с ней, что читатель, начавший с бездарных стихов, «суррогатов», как говорила Ахматова, отравлен на всю жизнь. Он погиб навсегда для настоящей поэзии, формирующей в России личность.

У немцев – философия. У французов – театр. У нас – поэзия.

И мы, дошедшие до этого своими малыми силами, твердо решили не издавать «суррогатов».

Но что надо было «во-вторых»? То есть чтобы избавиться от графоманов? Решили просто (чтобы не сказать – гениально). Издать для начала не областной, а районный альманах – «спуститься», – как тогда говорили, – в глубинку. На что получили, едва заикнувшись об этом, высочайшее одобрение обкома, как на поступок «соответствующий партийной линии».

В области двадцать девять районов: число графоманов сократилось в двадцать девять раз!

Надо было правильно выбрать район. В дальнейшем выбор района должен был осуществляться на конкурсной основе, но на дальнейшее мы не надеялись – оно было обведено черной рамкой. А пока, чтобы уложиться в календарный план, демократией пренебрегли и решением издательства остановились на Тарусском районе.

Почему?

Ну, прежде всего, потому, что в деревне Дракино этого района петух на три губернии поет: Калужскую, Московскую, Тульскую. Удачное географическое положение.

В Тарусе Константин Георгиевич Паустовский и наш друг Борис Балтер. А у Константина Георгиевича был принцип: помогать надо талантливым, бездарный и сам пробьется...

В-третьих, в Тарусе нет промышленности – тихо: можно думать. Есть река с пляжами – егнышовским, трубецким, поленовским – где можно животы греть, как в Крыму, только поближе.

А в основном район, как район. Так, наверно, думали Чехов, Толстой, Поленов, Борисов-Мусатов, Цветаев Иван Владимирович, Ватагин, Крымов, Паустовский, Фаворская, Эраст Гарин, Марина Цветаева и многие другие и проложили дорожки свои вдоль и поперек этого района и еще – по диагонали так густо, что простой ноге, без трепета – чтобы великий след не затоптать, – и ступить негде.

Плотно исхожена Таруса и ее окрестности великими, воздух над ней особый стоит: дышаешь – воздух,

как воздух, а выдыхаешь строфы, рассказы, поэмы. Это я не только по себе знаю. Именно в Тарусе Надежда Яковлевна Мандельштам начала и закончила свою первую книгу воспоминаний.

Такой воздух всем нужен, кто пишет пером или кистью.

За писателями, а, может, и прежде них – это поняли художники, переводчики. И, смотришь, обрели в Тарусе русскую плоть книги Хемингуэя, Абдайка, Брехта, Дюренмата, Лилиан Хелман.

И все, что никогда не писали, но имели дар, начали писать, а те, что плохо писали, стали писать хорошо. Оттого только, что в Тарусе.

Где же, простите, если не здесь, собирать новый альманах?

Румяной зарёю

Когда запад покрылся румяной зарею – день клонился к вечеру, мы въезжали в парк Полотняного Завода.

Городок Полотняный – пыльный и обшарпанный – не произвел на меня впечатления. Может, оттого, что мы вторую ночь не спали – праздновали день рождения Константина Георгиевича в Тарусе и в Калуге – и второй день были в дороге.

Но когда вышли из машин – их оставили у въезда в парк, чувства в нас, хотя и изрядно усталых, пробудились. Парк был высок и безлюден. Может быть, с того самого времени, когда последний раз здесь проходил Пушкин. И вот – мы...

Он прошел, а мы вошли. Стряхнули с себя дорожно-автомобильный сон, и чуть-чуть не встретились с ним. В масштабе истории так и есть. Мы говорим: «В восьмом или в девятом веке» – и не имеет значения для нас: в восьмом или в девятом. И не имеет значения – не будет иметь для далеких наших потомков в девятнадцатом или в двадцатом.

Мы прошли по аллеям – не разговаривая – каждый сам по себе, точнее: каждый – со своим Пушкиным – до беседки... Или до места, где была беседка... Где теперь сидел посредине клумбы гипсовый Пушкин на гипсовой скамейке и, вытянув подбородок, глядя куда-то – куда и мы поглядели. Думал.

– Как там, Коля?.. – спросил Константин Георгиевич и сам стал читать: «Румяной зарёю...» Вот и село за рекою, – радовался он, – где потух огонек. А сейчас, если посидим еще, загорится... И поля, и мягкие луга... Он любил, когда верность натуре высекает поэзию. Натура – обыденность – и... поэзия.



– «В селе, за рекою, потух огонёк» – все только названо, а поэзия!

Большое мы затевали дело на калужской земле. И вот пришли к Пушкину – согласовать: не будет ли с его стороны возражений... Спокойно сиделось нам – еще на деревянных – не гипсовых скамьях.

Пушкин не возражал.

А перед этим, так же попутно, как с Пушкиным, провели разговор с Обкомом. Откупили на ночь кафе (молочное) и пригласили на праздник секретаря обкома Алексея Сургакова. Утром Алексей показывал Паустовскому Калугу, окрестности Калуги. Принимал у себя.

Я не запомнил этих торжеств. Неосторожно выпил стакан или два без закуски, и запоминающее устройство вырубилось. Помню только, как хрипло кричал Мандель. А Константин Георгиевич спрашивал:

– Кто это?

– Поэт Коржавин.

– Это – поэт? – удивлялся он.

Мандель (Коржавин) хрипел. Корнилов заикался. Аркадий Штейнберг вещал. Слуцкий протокольно докладывал. Это были поэты. Хотя и не было среди них поющих – как Мандельштам или Пастернак.

Ближе других был тарусским поэтам Некрасов.

Третью ночь праздновали в Юхнове.

Юхнов – сосновое, высокое место, покрытое звездным небом до самого горизонта. Хочется сказать: «Юг – Югнов!» Но пишется – «Юхнов», а до «Юга» от Юхнова тысячи полторы километров...

Ночь была, тем не менее, южная: черная и теплая. За дощатым столиком, в гостиничном дворе узнаем друг друга по голосу – лиц не видно.

Рассматриваю, вспоминая, фотографию, сделанную в Полотняном... Сидят на скамье – еще деревянной, не гипсовой! – Константин Георгиевич – понуро, как над ямой (за семь лет до смерти); Борис Балтер напряженно соображает (и это отразилось во взгляде); напряжен и Володя Кобликов.

Только что были, и нет их – ушли, как Пушкин...

А я, бесшабашный, стою – беззаботный, и даже на черно-белой фотографии видно, что весело рыжебородый. Пока стою.

Господи, что же будет со всеми нами?..

«Тарусские страницы» делались между делом...

Спешка была только поначалу. Неделью непрерывно звонил междугородний телефон будущего составителя альманаха – Николая Давыдовича Оттена.

Столько же дней, если не больше, звонил в Калуге издательский телефон. И рукописи, сперва нехотя, вразвалку, однако пошли. Это при том, что авторам было гарантировано полное невмешательство цензуры в их тексты. «Ну, а если...» – спрашивали они, справедливо полагая, что защитить автора от цензуры в той, советской, стране не может никто.

Все «если», отвечали мы авторам, издательство берет на себя.

Авторы сомневались.

А один мой знакомый рыбак из Тарусы, очень удачливый, не раз говорил мне в то время:

– Не может быть такого, Николай Васильевич, чтобы человек рыбу не обманул.

– Нет, не может, Петрович...

– Вот и я так думаю.

И очень удачно рыбачил.

А авторам мы пообещали защитить их не только от цензуры, но и от нас самих: никакой издательской правки – вплоть до орфографических ошибок. Установлены были только объемы: для стихов – восемьсот строк, тогда – это один авторский лист. Для прозы – два-два с половиной листа, если это не заглавный роман альманаха.

Прописка в Тарусе необязательна: всякий, вступивший на тарусскую землю, автоматически объявляется тарусянином.

Это решало все, что могло быть «в-четвертых», «в-пятых» и так далее. Отказавшись от областного альманаха, мы решили отказаться и от переизданий. Тем более, что в число их входили не только классики, но и все те, что получили доступ к советской кормушке.

Мы стали не только свободными, но и богатыми. Мы располагали солидным объемом фондовой бумаги – шестьдесят-семьдесят авторских листов, что при тираже семьдесят пять тысяч – на меньшее мы не рассчитывали – и при цене номера один рубль восемьдесят копеек, давало прибыли в три раза больше, чем от любого переиздания.

И, наконец, главное. Советская литература, та, что «революцией мобилизована и призвана», и начиналась с упадка – на что ни посмотри! – а в конце пятидесятых годов редкая книга не отвечала требованиям ГОСТа. И выходили мы со своим альманахом не к празднику отечественной литературы, а накануне ее кончины. Кочетов, Софронов, Марков, Грибачев, Сартаков тяжело стояли, как кирпичи, на книжных полках, сквозь которые не пробиться было к читателю ничему живому.

А живое было. Оно искало выход в свет и не находило. Либо наивно надеялось – толпилось в очереди! – в лучшие тогда журналы «Новый мир» и «Юность».



Их-то, авторов «живого», мы и позвали прежде всего в новый альманах. Мы объясняли нашим будущим авторам, что эти «лучшие» журналы хорошо простреливаются цензурой, а очереди в них такие, что жизни не хватит. А нас, можно сказать, еще почти нет, и мы не «пропускаем», а «приглашаем». Это надо понять.

Иные сразу поняли и пришли: Наум Коржавин, Владимир и Галя Корниловы, Юрий Казаков. Но велика сила привычки, и некоторые – даже друзья, без каких-либо оговорок! – засомневались.

«Юность» и «Новый мир» – понятно. А что такое «Тарусские страницы»? Вы же сами говорите, что вас «еще почти нет». И даже Борис Балтер, один из организаторов альманаха, предложил не «До свидания, мальчики», роман, дописанный им только что в Тарусе, а старую повесть «О чем молчат камни», опубликованную некогда в Абакане.

Примерно так же сделал мой друг Булат, прислав в издательство вместо «Школяра» рядовую повестушку о школьниках, героически сбежавших на фронт.

Как известно из того, что было потом, когда вышел альманах, этот номер у наших друзей не прошел.

Юра Казаков подстраховал три «непроходных» рассказа более традиционным. Мы взяли «непроходные». Свои стихи я не предлагал, чтобы избежать обвинения в «самообслуживании». И они пошли в последний момент по настоянию Николая Давыдовича Оттена.

– «Свое», – сказал он не без иронии, – вы и так получите.

Много было такого при составлении сборника, о чем следовало бы рассказать. Но время, как ржавчина, ест нашу память и с нею свое прошлое. Помню, как Николай Давыдович – между нами – Ник. Дав. и Аля Цветаева составили каждый «свою» подборку стихов Марины Ивановны Цветаевой. Я пришел, когда ссора только разгоралась. Настроение у меня было веселое. И я спросил Алю:

– Ник. Дав. отобрал плохие стихи?

– У Марины нет плохих стихов! – резко ответила Аля.

– Тогда – если нет плохих стихов! – оставим обе подборки.

Оформила альманах – лучше, кажется, невозможно! – Марианна Викторовна Борисова-Мусатова, дочь великого художника. И по суперу обложки, во главе с Константином Георгиевичем Паустовским, в алфавитном порядке пошла колонка имен:

К. ПАУСТОВСКИЙ,

Б. БАЛТЕР, Ф. ВИГДОРОВА,

Е. ВИНУКОВ,

А. ГЛАДКОВ, Н. ЗАБОЛОЦКИЙ,

Ю. КАЗАКОВ, В. КОБЛИКОВ,

Н. КОРЖАВИН,

В. КОРНИЛОВ, Г. КОРНИЛОВА,

Л. КРИВЕНКО,

Ю. КРЫМОВ, Э. МАЛЫХ, В. МАКСИМОВ,

Б. ОКУДЖАВА, Н. ОТТЕН, Н. ПАНЧЕНКО,

О. ПОЛЕНОВА, Ф. ПУДАЛОВ,

Д. САМОЙЛОВ, Е. САХАРОВА, П. СЕМЫНИН,

Б. СЛУЦКИЙ,

Н. СТЕПАНОВ, Ю. ТРИФОНОВ, М. ТИХОМИРОВА,

А. ФЕВРАЛЬСКИЙ,

МАРИНА ЦВЕТАЕВА,

АРК. ШТЕЙНБЕРГ,

Н. ЯКОВЛЕВА (псевдоним Надежды Яковлевны Мандельштам).

От рукописи до книги

Лучшую оценку этой обложки я услышал на второй или на третий день после выхода сборника.

Мы сидели в узенькой комнатке Булата в «Литературной газете», когда человек (назовем его – Григорий Соловьев), явно перепутав дверь, приоткрыл ее и, заслонясь от света «Тарусскими страницами», радостно прокричал:

– За одну такую обложку убивать надо...

Начинались «шестидесятые» – время имен с обложки «Тарусских страниц».

Но это уже «потом». Когда читатель получил альманах. Когда каждый из нас, вздохнув, мог сказать: «Все, что мог, ты уже совершил...» А я весело подал заявление директору с просьбой «освободить меня от занимаемой должности по собственному желанию». За год до этого я не только государственную, но и общественную должность занимать не имел права.

Когда я вернулся из «бегов», меня тут же избрали и тут же по указанию «свыше» отстранили от руководства местными литераторами.

А представителю Союза писателей один партийный босс сказал:

– С Панченко дело иметь, что еловую ветку крутить: крутишь и не знаешь, когда тебя по морде зацепит.

И все-таки «крутили»; и даже исправительный срок дали.

– Не может быть такого, Николай Васильевич, – говорил мой знакомый рыбак, – чтобы человеку рыбу не обмануть...

Но было время, когда я даже про своего рыбака не вспоминал. Рукопись-то была: на моем столе лежали папки, каждая в корешке по пятнадцать сантиметров. А книги еще не было. И несколько шагов – послед-



них! – от рукописи к книге были самыми опасными и – при неудаче! – самыми обидными.

Ну, зарубили почему-то замысел. Так это еще замысел. Замыслил дальше – так, чтобы не зарубили.

А тут рукопись. На полметра она возвышается над столом. В ней самое лучшее, что мы сумели собрать. С ней столько надежд у авторов. Да и у читателей. Рукопись была отрекламирована по первому классу. И даже отрецензирована еще до выхода – «по благу» в газете «Советская Россия».

Последние шаги рукописи перед тем, как стать книгой, можно без преувеличения назвать шагами по минному полю. Много раз можно было подорваться.

И я прикидывал даже, как можно пересоставить рукопись – временно: для прочтения в обкоме. Непроходные рассказы заменить проходными, переложить стихи, чтобы не воспринимались «в пакете» – взрыв-пакете, а где-то просто вынуть страничку: рукопись большая – могла же какая-то страничка выпасть?.. «Неряшливость», конечно, но в таком деле – объемом! – простительная...

И стало нехорошо на душе у меня от этой возможной «лжи во спасение». С чем-то во мне не вязался этот «хитроумный маневр».

– Нет, – решил, – заменю пока «оглавление» на один из его вариантов. Где ни тексты, ни страницы не совпадают с оригиналом.

Скажет Алексей: «Заходи завтра...» – покажу ему это несовпадение «оглавления» с текстами: напутал, мол... И заберу все. А там день-два подумаю, как сделать по совести, чтобы и альманах вышел, и мы не нарушили своих обещаний авторам: ничего не менять.

«Что-нибудь да придумаю!» – бодрю себя дорогой в обком, к секретарю по пропаганде Алексею Сургакову, когда-то приятелю, а теперь – начальнику...

Шагов пятьдесят по Екатерининскому ансамблю – под одну, другую, третью арку приятного желтого цвета – и вот справа от двери, на красном стекле надпись – Калужский областной Комитет КПСС.

Формальностей никаких. Партбилет предъявляю для порядка. Да и знают меня здесь и ждут с рукописью альманаха на втором этаже. Там еще один пропускной пункт, за ним – святая святых – три приемных и три кабинета секретарей.

А за кабинетом Первого – дверь в малый зал заседаний. Простые смертные, вроде меня, там бывают два раза: или получают высокое назначение, или получают взашей с треском и громом на всю область.

Двери в приемную Алексея и из приемной в его кабинет открыты – ждут. Вношу и взгромождаю на угол

стола три папки. Алексей смотрит на меня с улыбкой, как и положено партбоссу, и устало: устал и он от своей работы, только много хуже, безнадежней, чем я от своей. Кладет на верхнюю папку тяжелое из яшмы пресс-папье:

– Чтобы ветер не баловал.

А я думаю: «Какой ветер нужен, чтобы пошелохнуть такую папку?»

– Часа через три заходи.

Брожу по парку, окнами в который вытянулось здание обкома. Костюм на мне тоже серый – рабочая форма. Молюсь без слов, глянув на кафедральный собор, что в центре парка. Стою над Окой, что внизу, под холмом, катит перистые, взбитые боковым ветром волны.

Ни о чем не думаю, боюсь думать. А вдруг не туда пойдет мысль – сама собой, и все испортит. Так, видимо, ходят мужья под роддомом, где в муках рождается их продолжение. И под операционными разными тоже, наверно, так ходят...

Молча поглядываю на часы.

Через три часа «захожу» к Алексею. Мои папки стоят, как стояли. На них – пресс-папье. Алексей звонит секретарю: «Никого ко мне!»

Открывает сейф и, вынув из него две рюмки красного стекла, говорит: «Вздрогнем!» И так же устало улыбается. И мне хочется покаяться перед ним, что мог усомниться... Но слов покаяния нет. Ясно, что ничего не читал он – поверил. И стыдно мне... И понимаю, наконец, что все правильно, знает он меня и ни на что другое не рассчитывает... И, может быть, очень хотел бы в этот момент быть на моем месте – и оттого улыбка у него скорее грустная, чем усталая.

Подорваться можно было тогда на каждом шагу. Даже стоя на месте, пока вокруг бегают отстраненные графоманы и ищут, куда бы «нос подточить». Но все стараемся делать так, чтобы комар носа не подточил.

Заканчиваем «Тарусские страницы», а тем временем рассылаем в районы рекомендации, как лучше подготовиться к конкурсу на очередное участие в соревновании рукописей. В любом случае работа полезная.

Напоминаем, на какие знаменитые имена могут опереться литературные группы или музеи, где они есть. Южная группа районов – юг области, конечно, тургеневская, Перемышльский и Козельский – толстовские, а Козельский – еще и леонтьевский, сам же Константин Леонтьев родился в Мещеевском районе, а Леонид Леонов – в Высокининском.

Писатель Медынский взял себе псевдоним от родного города Медыни, а детство Соколова-Микитова прошло в селе Андреевском под Калугой. Перечисляем



все места, связанные с Пушкиным, Гоголем, Розановым и другими великими людьми. Словом, серьезно заняты перспективой.

А в ближайшей перспективе два «маневра» на минном поле: подпись верстки «в печать», где, кроме моей подписи, должны быть подписи главного редактора и директора (или хотя бы директора). И на «сигнальном экземпляре» виза облита: «В свет».

Не помню, подписал ли верстку Роман, уходя в отпуск, но без подписи директора, даже если есть подпись «главного», нельзя. И я тащу верстку на стол, чтобы последний раз взглянуть, все ли в порядке, перелистать и сверить страницы с «оглавлением». Работы часа на два.

Но кончается день, а треть работы не сделана. Директор дважды посылал за мною. И я являлся – усталый, вяло говоря ему, что много «марашек» и просто мазни и приходится переклеивать строки, абзацы и даже несколько страниц перебрать.

Я действительно устраиваю мазню где-нибудь на ровном месте, чтобы загрузить метранпажа и оттянуть время. А сам тщательно стираю на полях вопросительные знаки, поставленные, к моему счастью, без нажима – робкой рукой. Но и очень, я бы сказал, профессионально: против такого «вопросика» совершенно обязательна правка, а то и «выемка текста». По соображениям, если не политическим, то эстетическим – это уж точно.

И я стираю «вопросики». А вернее, переносу их более уверенной рукой на места почти безобидные, где ради правки не стоит – это и дураку понятно! – портить страницу.

Вопросительные значки – мелкие, тоненькие, просто волосяные – и у меня от напряжения – ничего не стоит пропустить такой «вопросик»! – начинают слезиться глаза.

И Ида Ершова, заведующая отделом краеведения, спрашивает иронически:

– Так волнительно?

Приходит директор:

– Завтра управитесь?

– Надеюсь...

И, конечно, самое интересное – «завтра».

– Что значит этот вопрос? – спрашивает директор.

– Но кто-то поставил этот вопрос! – он явно пишет на меня.

– Это уж точно! – валяю я дурака.

– А этот?

– Не знаю.

Не знаю и сейчас, кто поставил робкой рукой эти коварные вопросики. В ночь перед отъездом Романа мы

вместе пролистали всю верстку – она была совершенно чистая.

– Ну скажите, какой дурак мог в этом месте поставить вопрос?

Прочитав половину верстки, директор возвращает завизированный альманах.

– Впрочем, – вынимает из него несколько страниц, – я, пожалуй, еще почитаю: очень, знаете, зачитался Казаковым. А «вопросы», – просит, – пожалуйста, сотрите. Поаккуратнее...

Все ждали – издатели и авторы – «сигнального экземпляра». Это означало, что книга сделана в полном соответствии с макетом, запущена в производство и, чтобы закончить печатание, нужна виза цензора – подпись с какими-то номерами, буквами, кажется – «ТВ» и дата на прямоугольном штампе. А поверх – крупно, четко и бесповоротно – «СИГНАЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР».

Уже ничего изменить нельзя.

Или продать читателю. Или – что во все времена бывало – пустить под нож.

Книга большая, красивая, в суперобложке. Такого события, по-моему, в нашей губернской типографии не случалось. И я несу книгу, как подарок, цензору, хорошему уральскому мужику Геннадию Ивановичу Овчинникову. «Ну, ведь не сможет не восхититься?» – спрашиваю я себя. «Нет, – отвечаю себе, – не сможет!»

Вид у книги благородный, она даже хрупкой кажется от этого своего благородства. И Геннадий Иванович берет ее из моих рук своими двумя, действительно восхитившись. И говорит уже совершенно буднично, как чиновник:

– Приходи завтра.

Обычно – через неделю, две, а тут – завтра.

А назавтра, глядя своими честными глазами в мои – тоже честные – я-то знаю, что это лучшее, что мы могли издать в Калуге, – говорит:

– Нет, Николай... не подпишу.

Что делать? Книгу не беру, то есть считаю разговор не оконченным.

Встречаю в издательском коридоре Романа, мы все в одном здании. Лицо у него еще праздничное.

– Сладкова, – говорю ему, – отправляй туда, то есть нашего директора. – Мы не умеем с Овчинниковым разговаривать. А он умеет.

Сладков идет к цензору. Сдвинул с угла сборник – так, чтобы он прямо перед цензором лежал, и говорит:

– Геннадий, ты не подписываешь, как коммунист или как начальник облита? Если как начальник облита, то покажи мне инструкцию, статью, пункт и так далее.



– Нет, как коммунист.
– Тогда ставь штамп, подпись начальника обллита, надевай свои нарукавники и пиши, как коммунист, письмо в обком.

Тот так и сделал.

И пока он надевал нарукавники, черные на серые рукава рабочего костюма, и писал, мы добились у директора типографии Петрова круглосуточной работы всех цехов.

Двое суток бегали с четвертинками — поднимая дух! — печатников и переплетчиков, чтобы успеть выпустить хоть бы первую партию — тридцать тысяч. И еще тысячу на ложенной бумаге для делегатов XXII съезда партии.

Бедный Геннадий! Чего только ему не пришлось написать в своем письме в обком, не владея извозчицким изяществом калужских профессоров Н. Кучеровского и Н. Карпова, авторов разгромной статьи.

Бедный обком — Кондренков Андрей Андреевич, по местному «Кондрей Кондреевич». Недооценил он Романа Левиту.

Потом грянул гром. Прежде всего в калужской партийной газете. Облкниготорг отказался от тиража, получив заявок почти на миллион экземпляров. Но уже ехали машины из Москвы: из сотового магазина, просто книголавки — почему-то по ночам.

И мы тоже не спали. Вместе с ними возили книги...

Дураков не было...

Слух о «Тарусских страницах» дошел до сотен тысяч читателей. Семьсот пятьдесят тысяч заявок — против объявленного тиража — семидесяти пяти тысяч получил Облкниготорг. И, дойдя до миллиона, перестал считать, сваливая конверты с заявками в угол в специально отведенной для этого небольшой комнатке.

Издательство почти было миллионером. Но ему не разрешили, прервав печатание меньше, чем на половине объявленного тиража. Впрочем, и при этом оно не осталось в убытке: оплатило все издания года, сохранило оборотный капитал, а с авторами «Тарусских страниц», как и записано было в договоре, рассчиталось по двойной ставке.

Газеты — калужская областная и «Литературная Россия» выдвинули против альманаха «идеологические обвинения», потому что политических не смогли найти, а что значит эстетические — твердо не знали.

А «идеологические» — и громко, и непонятно, какая-то не такая идеология.

Редколлегия альманаха, заботясь о дальнейшей судьбе авторов, потребовала, чтобы разъяснили конкретно, что это за «идеологические ошибки».

Секретарь ЦК КПСС по России Романов, которому это поручили, ничего не смог разъяснить. Жал нам руки дружески, старался понравиться. Однако, «джин» выпущен был из бутылки.

Секретное предписание ЦК КПСС об альманахе «Тарусские страницы» вопило: «Не нужно!»

А «Звезда Востока» тем временем почти повторяет тарусский вариант.

— «Не нужно!» — со всех трибун вопят идеологические работники.

Но алма-атинский «Простор» печатает то, что не нужно: стихи Осипа Мандельштама. Много лишнего позволил себе и воронежский «Подъем».

А в Калуге тихо. Калужское издательство упразднено, вернее, преобразовано в филиал Тульского издательства. Таруса наказана: лишена статуса районного центра.

Директора Калужского издательства, начальника обллита и секретаря обкома КПСС — главных виновников! — снимали с работы, разумеется, с проработкой и переназначили на другие должности. Увы, они-то и подорвались на минах идеологического противоборства. И скоро — один за другим — скончались, скажем, как о солдатах — от ран: на войне, как на войне.

Знаю не по рассказам две войны: гражданскую — «выселения», «уплотнения», обыски, аресты, убийства в подъездах и Отечественную. Одна война в другой — российская матрешка! — и она никогда не кончится, если не будет тех, кто готов ради других к любому для себя исходу.

И потому мне стыдно перед моими погибшими товарищами. Но в то же время я горд за них: они — теперь-то я не сомневаюсь! — знали, на что идут. И тот же начальник обллита сопротивлялся так, чтобы его сопротивление можно было преодолеть. Дураков здесь не было.

А что стоило Алексею Сургакову — он-то знал, с чем я к нему пришел, позвать своих «замов»: Ярыжкина, Мошкина, Косачева — одни фамилии чего стоят?! — и раздав им по папке — три «зама» — три папки, потребовать письменные отчеты.

Вот и не было бы «Тарусских страниц», не подорвались бы на них ни Сладков, ни Овчинников, ни сам Сургаков.

Но я почти знал, как поступит Алексей. И окончательно уверовал в него, стоя в почетном карауле у гроба Константина Георгиевича Паустовского. Я смотрел в зал



со сцены ЦДЛ, где стоял гроб, и не видел зала из-за слез, но они не помешали мне увидеть и запомнить большую седую голову Алексея Сургакова. Голова вздрагивала.

С этими людьми я прошел Отечественную, и пусть мы оказались на другой войне – гражданской – по разные стороны баррикады (да и так ли уж по разные?!) – я знал: они способны к борьбе за истину – не за простую справедливость! – не за свое, но за то, чем ты никогда не воспользуешься.

В войне побеждает смелый.

Войну побеждает жертвенный.

Камень долетел (я даю справку)

«В каждого журналиста, – говорят журналисты, – брошен камень. Когда-нибудь он до него долетит». Овчинников дописал письмо и отнес в Обком. А вечером того же дня было приостановлено печатание «Тарусских страниц». До выяснения.

Выяснение продолжается до сих пор.

А в семьдесят третьем году, когда в связи с обменом партдокументов с меня снимали строгий выговор за «Тарусские страницы», большой зал ЦДЛ аплодировал, стоя.

На другой день, в километре от него, заседало бюро Краснопресненского райкома партии:

– Нет, пусть он скажет нам, что никогда этого не повторится! – настаивала молоденькая активистка.

– Нет, пусть пообещает нам! – требовали днем позже в Горкоме.

– Панченко никогда не отомлить своих грехов, – сказал уже не так давно, в середине восьмидесятых годов секретарь Союза писателей СССР Верченко.

Кажется ясно: литература или макулатура. Литература отменяет макулатуру. И ее, то есть Литературу, надо гнать.

Из семидесяти пяти тысяч, обозначенных в выходных данных «Тарусских страниц», вышла тридцать одна тысяча: тысяча – делегатам XXII съезда, на тонкой бумаге, и тридцать тысяч на газетной бумаге (эти экземпляры потолще) – на всех остальных. В Калуге сборник сняли с прилавков. Энтузиасты из «сотого» магазина и розничной книжной торговли вывезли тираж в Москву и продала за полтора часа.

Калужская областная газета громила сборник на трех колонках как: «идейно-порочный», «вредный» и «наносающий ущерб».

Трифонов, Корнилов, Штейнберг, Слуцкий, Максимов и я собрались у Оттонов, в проезде Художественно-

го театра и дарили друг другу сборники – на долгую и прочную дружбу.

В «Литературной газете», в кабинете одного из редакторов – Феликса Кузнецова, решали, как защитить «Тарусские страницы». И кого, в частности, ради этого продать. Автором статьи назначили правдиста Осетрова. Продать решили Корнилова. Меня решили не упоминать.

«Как я рада (или: как я рад), что вы живы, – получаю я письма читателей через двадцать пять лет. – Это так неожиданно...»

Маленький человечек за большим столом листает «Тарусские страницы»:

– Это хорошо... Это нам нравится... Это не вызывает возражений... И это тоже... – так до конца.

Он собрал нас в ответ на наше письмо в ЦК. Он почти в восторге от сборника. Но виновато издательство: израсходовало на этот сборник бумагу, предназначенную для распространения передового сельскохозяйственного опыта.

Я даю справку, как работник издательства.

– Значат, нас неправильно проинформировали.

Маленький человечек любит нас, он даже забывает от своей любви, что, сидя в кресле, ногами не достанет до пола. И, вставая, чтобы нас проводить, чуть не падает. Прыгает как-то неловко.

Это Романов, секретарь ЦК по РСФСР. Он плохой человек.

Выбирает из нас Максимова, Трифонова, Винокурова, чтобы дунуть им в паруса. Он не разбирается в людях.

У него мягкие лапы: он не увольняет – переставляет, как фишки: Сургакова, Сладкова, Овчинникова, Левиту.

Но, переставляя, он немного помял их – лапы с когтями. И трое первых протянули недолго. А Рома, пометавший – Калуга – Полтава – Обнинск был исключен из партии. За другое.

В сентябре или октябре я подал заявление об увольнении. И, когда пошел тираж сборника, уехал в Тарусу, чтобы больше не возвращаться. Жить мне здесь было негде. За любое жилье даже в Тарусе надо платить. А мне не заплатили и за «Тарусские страницы». Надеюсь, что за деньгами я приду. А я не пришел.

Я всегда легко давал деньги и почти так же легко брал. Хотя давали не все и не всегда. Но я знал, что труднее, чем «заработать», когда не работается.

Мне работалось. «Тарусские страницы» вышли, и я был почти счастлив.

Впрочем, иногда, особенно, когда была учинена расправа над моими товарищами, я задавал себе вопрос:



нравственно ли, делая доброе дело, разрешать себе «военные хитрости»? Я утешал себя, что без «хитростей» у нас ничего бы не вышло, что все, причастные к изданию, знали на что идут, что из авторов никто не пострадал. Кроме Корнилова и меня.

И все-таки... Все-таки...

Я предпочел бы все-таки нравственные мучения, – думаю я теперь, – если бы мне удалось выпустить еще раз такой сборник.

Попытки, попытки, попытки

За тридцать лет было предпринято много попыток – наивных и реальных – издать «Тарусские страницы». И под другим именем, и в другом городе и даже в другой стране. Но того, что нам удалось в шестьдесят первом году, не получилось.

Правда, однажды чуть-чуть не получилось... И об этом «чуть-чуть» надо, видимо, хотя бы чуть-чуть рассказать, чтобы опыт наших удач и неудач был по возможности полным.

Шел шестьдесят восьмой год.

Весной этого года умер большой поэт Илья Сельвинский. И до сих пор (временно) забыт. А за год до его кончины не стало Анны Ахматовой. Еще через год – в шестьдесят пятом году – судили Андрея Синявского и Юлия Даниэля.

Ряды редели. «Шестидесятники», возникшие как новое качество литературы, «изымались», размывались, приручались. Наступало новое острое неблагополучие отечественной словесности. А с ним – вечный для России вопрос: «Что делать?».

Собирались – что было крайне опасно – по несколько человек у кого-нибудь дома и, поглядывая на стены – тогда они почти везде были «с ушами», пытались на этот вопрос ответить.

А в революционные праздники, особенно, когда к ним по воле календаря пристраивались выходные, а у кого-то и отпускные, уезжали с Каланчовки (если поездом) и от Казанского вокзала (если автобусом) в Тарусу. И там говорили.

Те, что отважились не бояться, с теми, кого назначили своими.

Это было время таких отъездных разговоров. Время зарождения «кухонь» Сахарова, Якира, Надежды Яковлевны Мандельштам.

Мы «изготавливались» малыми порциями на кухне Надечки Мандельштам. Но потом, уже на первый полулегальный вечер ее памяти пришлось не меньше

тысячи почитателей. В фойе и зале с трудом удалось разместить шестьсот человек. И среди них ни одного незнакомого лица.

Сейчас, думаю, нет в мире зала, куда бы вошли все, полюбившие Наденьку и ее книги.

Список «гостей» Надежды Яковлевны если был, то в КГБ и, наверняка, не полный – каждый день приходил кто-то «впервые»... А то и все – «впервые». Надя боялась «новеньких» и радовалась им. Больше всего она боялась непуганых идиотов.

Бояться было не стыдно. Высылали диссидентов – и тихо, и шумно, – как удобнее. Убивали всегда тихо. И среди ужасов этого «относительно вегетарианского времени» – как его назвала Анна Ахматова, мы готовились, как к экзамену, к иному времени: много говорили о свободе. Что это? Как жить в ней? И уточняли – старый и вечный вопрос – кто и почему в России – и не только в России может называться интеллигентом.

Загородные поездки, встречи, короткие и немногочисленные, мы называли пирами. Надечка давала Никите «трешку» и говорила: беги за пиром. За тем, что небуднично в нашей нищете: триста граммов буженины, косхалва, шоколадка. А если приходила Анна Андреевна, пир принимал почти античный характер хотя бы потому, что Анна Андреевна прямо от двери посылала Володю Корнилова за водкой. В нашем доме водки никогда не было. Мы говорили: водка – роскошь! – в такое время. Достаточно буженины для пира. И того, что мы все еще пока живы.

Что, кроме пира, мы могли противопоставить чуме?

А значит, где чума – пир.

А чума везде. И, стало быть, для таких бедолаг, как мы, везде пир...

В этом году, шестьдесят восьмом, у меня была Болдинская весна. Весной шестьдесят пятого начал книгу стихов – ни на что не похожую. Надя послушала и сказала:

– Из вас лезет книга. Так бы сказал Оська.

Написал пятнадцать стихотворений и остановился – почти на три года.

И вот – закончил. Потому, наверно, я в Болдине.

А в простоте – предложили поехать на Пушкинский праздник. Мне и Нине Бялосинской – от бюро пропаганды художественной литературы.

В Михайловском варят праздничный суп Андронников и Иностранная комиссия Союза писателей. А в Болдине мы, – подвернувшиеся под руку, и пять нижегородцев – тогда – горьковчан.

А меня буквально не покидает идея пира. Пока чума. И это «пока» кажется бесконечным.



*Есть упоение в бою,
И бездны мрачной на краю,
И в разъярѣнном океане...*

А председатель при этом – Андронников, или кто-то из нас, или тот – пушкинский, «...остается. Погруженный в глубокую задумчивость...»

Отшумел вечер в болдинском Доме культуры. И мы, несколько мужчин и женщин, пришли перед полуночью в крепостную контору – единственное – по преданию! – здание, сохранившееся с пушкинской поры.

Причина этой пирушки – Пушкин! – почти инициатор, с авоськой и бумажными свертками под мышкой:

– Вот, братцы, все, что достал в буфете...

Колбаса, сыр, мятные пряники.

Бутылки, что открываются без штопора и не противоречат граненой сервировке.

Тепло от вытопленной печи.

Пока не закурили, пахнет горячими кирпичами. Ночь осадила нас черными окнами в крупную клетку. Шумит под стенами дождь, пока не заговорили. И желтая свечка – ароматическая – навела в конторе порядок: все несущественное убрала в тень и подняла над застольем лица.

Она – из прошлого века – в будущий, «доколь в подлунном мире...»

Она – как мера света.

Слева от меня – женщина. Я чувствую это. И по мужски допиваю свой стакан до дна. А женщина подливает в мой пустой стакан. И только Нина знает, что это – лишнее.

– Вы хотели о чем-то поговорить с Николаем, – пытается она мягко скорректировать ситуацию, – сейчас – самое время...

Женщина слева – сотрудник Нижегородского издательства. Она знает, что я редактор «Тарусских страниц» – а по-нынешнему еще и «продюсер». И у нее ко мне дело.

И у меня к ней, еще до того, как я ее увидел.

Деловой разговор у нас с ней уже начинался. Но потом открыли бутылки. И от стихов, что последовали за этим «открытием», трудно было перейти к делу.

Ирина Васильевна – так ее зовут – светлая, с мимолетной тенью в глазах, как от проносящихся облаков. Круглолицая, но с тонким, чуть вздорным носом. Высокая – чуть пониже меня.

Мне нравятся ее развернутые плечи и, при этом, изящество. Такие встречаются у импрессионистов – в голубом, зеленоватом или сиреневом. Они – само строение на своих столетних холстах.

Они, как реки, знают тайну течения, когда кажется, что вода стоит. И не ведают переходов – резких! – потому и заметны так в нашем ступенчатом времени.

В Болдине, когда после вежливой стюардессы нас встретила в Доме колхозника фурия с помелом, появилась женщина в голубом – высокая, с развернутыми плечами. И я, приняв ее за претендентку на скудное место под крышей, отступил. Сказал, что буду устраиваться где-нибудь в крестьянской избе.

Но все обошлось: женщина в голубом сидит слева. А я предвкушаю ночь – в одиночестве, в крепостной конторе, когда из теней, колеблемых ветром, возникнет мир – вечный здесь... И сердце наполнится щемящей тоской узнавания.

Время за полночь, рукой подать до вторых петухов. И все разговоры клонятся к Болдинской осени. Лето – Михайловскому, Псковщине, городу на Неве. Летом и Полотняный Завод хорош, где «румяной зарею», по-пушкински, пробуждается день, и лугами, полями, пахучими пастбищами движется свет к тенистому Гончаровскому парку. А для Болдина – осень, сентябрь... «Это любимое мое время – здоровье мое крепнет – пора моих литературных трудов настает...» И позднее: «В Болдине писал, как давно уже не писал...» Это Пушкин.

А Юдифь Израилевна, директор музея:

– Приезжайте осенью, привозите поэтов, прозаиков...

– И все, – это Нина, – читать будут свое – самое лучшее...

– Вы слышите, – говорю я Ирине Васильевне: – Самое лучшее! И так – каждый год! – в Болдине, как у Пушкина – «детородная осень». Успевайте рукописи вывозить. Заезжаетесь, станут по Волге в Москву сплавлять... И название такому ежегоднику – «Болдинские чтения». А на титуле эпиграф: «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...»

– Улавливаешь идею? – говорю Нине. И Нина замечает, как Ирина Васильевна подливает мне в стакан. Нельзя, грех за такое не выпить...

Памятники, памятники, памятники.

Бронзовые, гипсовые, гранитные.

– За болдинский памятник – пушкинский, нерукотворный, «доколь в подлунном мире!...»

Все встают.

Потом:

– До завтра, Коля!

– Но завтра – уже сегодня. Значит, до утра, до света!

И я остаюсь на пороге крепостной конторы, уже отделенный от нашей пестроголосицы грациным граем.



Но различимый, видимо, издалека в белой рубашке с распахнутым воротом.

Хорошо ли в наше время, думаю я соответственно тому времени, быть различимым издалека?

И еще думаю о себе впервые – перепил малость: такой девятнадцативечный... И мы расходимся не с командировочного междусобойчика, а с лицейской гдовщины...

Болдинская осень – как город в одну ночь.

Как мир в шесть дней. Это ведь даже о Пушкине – перебор. Но все-таки: с сентября по ноябрь – две главы «Евгения Онегина», все «маленькие трагедии», пять «Повестей Белкина». (Деревни Дубровского и Троекурова – здесь же), сказки, тридцать мелких стихотворений (мелких!?) – «Безумных лет угасшее веселье...», «Бесы», «Для берегов отчизны дальней...» и прочее и прочее, и множество статей.

Понимал ли он сам, что бушевало в нем, когда грыз перо над маленькой трагедией «Пир во время чумы»? Различал ли, хотя бы неясно, сквозь свой магический кристалл, что вся эта осень – пир на перекрестке его жизни?

И что весь его гений – такой же пир посреди вчерашней и нынешней России?

Нет, не случайно мы оказались в Болдине.

Начатое на Оке должно было продолжиться на Волге. Не зря же эти две реки, сливаясь, образуют такой равновеликий простор, когда не скажешь, какая река в какую впадает.

И как дальше именовать их, после слияния – Окой или Волгой?

Так и мы не сомневались, что «Тарусские страницы», продолженные «Болдинскими чтениями», не станут меньше. Лишь бы продолжились. Обо всем, что зависит от Нижнего, договорились в Нижнем: о строке плана очередного года, бумаге, полиграфической базе. И, конечно, об авторах из Нижегородского региона. И Московского.

Дело оставалось за малым. За тем, что сейчас называют «крышей». И мы с Ниной Бялосинской, вспоминая добрым словом покойного Паустовского, идем Москвой по Кировской – теперь снова – Мясницкой к Ираклию Андронникову.

Мы с ним знакомы. Он ученик Шкловского, может, не лучший, но – ученик, а моя жена Варя – дочь Шкловского. Так что с Ираклием Луарсабовичем мы чуть ли не родственники. И разговор нам не представ-

ляется сложным. Он почти обязателен: Андронников – председатель союзного комитета по пушкинским торжествам.

Глубокий двор. Высокий этаж. Долгий коридор. Возле нас едва не хлопчет Ираклий Луарсабович. И в кабинете мы немногословно, но четко – почти по-армейски докладываем о Болдине.

Помню только один его вопрос:

– А Пушкины есть в Болдине?

Ни в Болдине, ни потом это не приходило мне в голову.

Ищем подход к *главному* – к «Болдинским чтениям». Андронников дипломат – и, верно, улавливает, что мы чем-то мучаемся. Чем-то, что для него лучше обойти.

– Минуточку! – говорит и уходит. И тут же возвращается вместе с женой, приглашает в гостиную, где длинный – очень длинный для четверых! – стол, вино, виноград.

Время упущено. Ираклий Луарсабович «принимает» нас по-грузински: с тостами, с байками, с шутками. Говорит он почти без пауз. И мы достаточно неуклюже пытаемся вставить в этот «разговор» свое: про «Болдинские чтения». Он улыбается и продолжает нас «принимать»: когда вино и такой «взаимный» – как у Чехова – разговор, какое может быть дело?

О, Ираклий! Царство тебе Небесное... Ты, конечно, хотел того же, что и мы. Но не мог позволить себе. Даже прямого честного разговора. Случись такой разговор, не было бы этой главки: мы бы не выдали тебя...

До последнего продолжая надеяться, мы еще и еще раз почти невежливо вторгаемся напрямую – поперек баек и шуток. Ираклий улыбается.

Он из тех, кто всегда улыбается: когда вас встречает, когда с вами прощается, когда выходит к вам и когда вы выходите от него.

Он улыбался, провожая нас до двери, так ничего нам не ответив... Не хочется мне писать об этом. И таких, как Андронников, немного было в стране. Почему и пошли к нему. Но такого, как он, оказалось в нашем случае мало.

И мы выходим в глубокий двор. И с нежным чувством, с каким способны думать молодые о стариках, вспоминаем Константина Георгиевича Паустовского.

И тут же приходит к нам понимание, что нет больше в России такого заступника, каким был Паустовский...

Такого – читаемого по всей России.

Такого – мужественного.

И такого бескорыстного.



На советском Олимпе он был, пожалуй, единственный, кто способен поступать и ни на что не рассчитывать для себя от своих поступков.

Если неприятности – он был согласен на неприятности.

«Печаль моя светла...»

Печаль моя была светла, когда в большом зале ЦДЛ с меня снимали строгий выговор за издание «Тарусских страниц». Зал, стоя, рукоплескал.

Привычно для актера, когда зал рукоплещет, стоя. А занавес закрывается и открывается. И самый нетщеславный служитель Мельпомены считает по привычке, сколько раз проползет занавес туда-сюда.

А для поэтов?.. Разве что персональный вечер на пике славы. Ну, пусть порадуется: на пике долго не усидишь... Либо юбилейный – это почти грустно.

Мой случай частный: зал, стоя, рукоплескал по поводу еще вполне скандального альманаха. А персонально – не раскрученному продюсеру, а всего лишь издателю – провинциальному, изрядно сеченому на госконюшне.

И еще светла была эта печаль, когда бюро райкома решительно отказалось снять с меня выговор. Если я не поклянусь, что никогда больше не выпущу «Тарусские страницы». Я не поклялся.

А хороший человек, сопровождавший меня в райком, сердился:

- Ну, что тебе стоило?
- Поклясться?
- Хотя бы...
- А то и стоило, что иду я из этого «партийного чистилища» весело, и печаль моя – светла...

Эти же чувства я изведal в девяносто первом году, когда новая редколлегия «Тарусских страниц» – Нина Бялосинская, Булат Окуджава, Володя Корнилов, Роман Левита и ваш покорный слуга подготовили Второй выпуск теперь уже не скандального, а, если можно так выразиться, раритетного альманаха. Собрали шестьдесят авторских листов по «гамбургскому счету», закрутили вокруг сборника три издательства, получили с одного из них пятьдесят тысяч – по тому времени – много – на музей Цветаевой в Тарусе.

Удачный получился музей: поселился в нем дух Марины.

Хороша была и часовая передача программы «ЛАД» российского телевидения о Втором выпуске «Тарусских страниц».

К этой передаче «Тридцать лет спустя» отсняли – в Москве и Тарусе – три полнометражных кассеты. А в архиве тарусян раскопали потешный фильм Коли Каретникова «Таруса – центр мировой культуры».

И если я назвал этот фильм «потешным», то для культуры он столь же «потешный», что и знаменитые полки Петра.

Сегодня я просмотрел все отснятые материалы, и само собой сказалось: «Живая вода».

Всё в кино живо.

Всё в кино живы. И давно ушедшие от нас Николай Давидович Оттен, составитель Первого выпуска, и его «рабочая сила»: Надежда Яковлевна Мандельштам, Елена Михайловна Голышева, Фрида Вигдорова. Так же, как и новые члены редколлегии – увы, покойные уже, Володя Корнилов и Булат Окуджава, Роман Левита...

Мне-то уж точно не дожить до полного торжества нашей идеи: оживить в памяти россиян коварный век. Но прошу вас, кто доживет: издайте оба выпуска «Тарусских страниц», пустите в прокат хотя бы часовой, а лучше – трехчасовой фильм об авторах и издателях альманаха. Иначе, поверьте мне, никаким другим способом не понять прошлое, законсервированное в подлой официальной литературе. И не избавиться от него.

Не пытайтесь дожить это прошлое, ничего не меняя в нем – такая идея сейчас носится в воздухе – дескать, доживем «в мире» с ним и умрет оно – само по себе! Не умрет: оно хуже СПИДа.

Тарусский Пантеон

В Тарусе есть три места, где покоятся люди, прославившие этот город.

Остаток Вознесенского кладбища над Окой, на высоком холме, где – Борисов-Мусатов и Вульф.

Бёховское кладбище – там Поленовы.

И березняк над Таруской, где Паустовский и все остальные.

Есть еще одно место – четвертое – суперобложка «Тарусских страниц».

Тоже березняк, и по нему черными буквами тридцать или чуть больше имен. Мало кто еще жив из обозначенных на этой плите, но и те старые, и скоро время сделает свое дело.

А ведь только что все были живы. Быстро идет время. Быстрее, чем мы думаем о нем, глядя вперед.

Ничего неизвестно нам, когда мы глядим вперед. И мы предпочитаем эту неизвестность.



Я иду – не идти нельзя – «с головой, повернутой назад», как писал один европейский поэт. Это опасно – не глядеть вперед. Это неестественно – лицом назад. Но, может, получится из этого, хоть это и опасно и неестественно, что-то вроде нескольких памятников, рукодельных, моим старым товарищам. Тем, кого запомнил, о ком уже успел хоть что-то сказать... И еще: я хочу, чтобы на березняке суперобложки «Тарусских страниц», если они когда-нибудь будут продолжены или переизданы, всегда были – наряду с авторами «Тарусских страниц» – имена тех, без кого «Тарусских страниц» не было бы: Алексея Сургакова, Алексея Сладкова и Геннадия Овчинникова.

Захотят ли они сами, чтобы их имена увековечены были на березняке суперобложки? – это другое дело... Будет так, как они захотят.

В том времени, самоубийственном – они были среди лучших.

Фундамент над Окой

Кто-то построил фундамент над Окой и бросил. У самой дорожки к матвеевскому мальчику. Может быть, запретили продолжать стройку: заметили, что вылез из травы фундамент, и запретили. Может, передумал строитель? Обанкротился? Или – совсем плохо – помер.

Но скорее всего запретили. Не прошел фундамент цензуру. И, пожалуй, правильно, что не прошел. Кому принадлежит Ока, зеленый склон к пойме и дорожка вдоль склона? Только не хватало, чтобы это все распилили заборами...

Всякий раз, когда мы приезжаем в Тарусу, мы идем к мальчику, что из теплого гранита на могиле Борисова-Мусатова. Это кусочек кладбища над Окой, при Воскресенской церкви. Высоко, сухо стояло кладбище, с видом на излучину реки – в обе стороны, на террасы лесов и полей Заречья.

«Як умру, то поховайте...» – хочется сказать здесь за Тарасом Шевченко. Место – на вечные времена. И вдруг, чуть ниже, фундамент из шлакоблоков, жалкий, четыре на шесть.

Временное всюду так и норовит втереться в вечные места, в дела вечные и подменить их собою. А жить бы так, чтобы на века отбрасывать свет. Или тень – кому что случится.

Не для того ли время, чтобы увековечивать?..

Говорят, это легенда, что Борисов-Мусатов спас мальчика, простудился в холодной Оке и помер. Говорят, правда, что спасал, да не спас, и помер совсем от другого. И что за памятник была уплачена скульптору Матвееву круглая сумма.

Ну и что мне из этой правды? Что я не знаю, что за надгробья деньги платят. Всякие бывают надгробья.

А вот мальчик Матвеева из теплого гранита над Окой – в Третьяковке такой же, уменьшенный, из белого мрамора – и легенда об утонувшем мальчике и Борисове-Мусатове, великом художнике – прах его тут – одного ли он мальчика спас от болота нашего? – все это вечно.

Сюда мы приходим.

Потом под горой пьем воду из ключевого колодца. И Борисов-Мусатов, и Матвеев, и все-все, кто были здесь, и кто будет, все будут пить. Это тоже вечно.

И садясь на фундамент, чтобы дух перевести – столько вечного рядом! – думает каждый о своем. Я об альманахе «Тарусские страницы»: не такой ли он фундамент, как этот? И такой отчасти, увы... у Бялосинки лицо жалкое – все собралось к носу: пишутся стихи. Варя, Никита, Нина Константинова, Витя Константинов – каждый строит над этим фундаментом что-то свое. Невидимое пока, в себе, про себя – а как же иначе, если не про себя? – как когда-то Матвеев и Борисов-Мусатов.

Дай Бог нам каждому спасти своего мальчика или девочку – кому что. И не умереть от этого, хоть и красиво. Но оттого умереть, что все сделано. И так же несуетно, как делалось, отойти на том месте, где будет положен в дело последний камень.

«Слушать музыку звёзд...»



«...весело рыжебородый. Пока стою.
Господи, что же будет со всеми нами?»

Николай ПАНЧЕНКО

* * *

Есть много мест, где мне б хотелось
Свалить себя в последний раз,
Где б страсть последняя пропелась –
Рванулся пламень и угас.

И на столе – ни горстки пепла,
Но всё как было, как всегда:
Чтоб билась лодка, буря крепла,
Стекала с палубы вода.

Горячий след увлѣк собаку,
И, весь проваливаясь в снег,
Бежал, любил, рубил с размаху,
Как я, безумный человек.

Ломался стих на полуслоге,
Жокей летел через коня,
Чинил рябину при дороге
Старик, похожий на меня.

Чтоб всё как было, за спиною,
Чтоб вечность – будто полчаса!
Где небо в звѣздах надо мною,
И предо мною – паруса...

СТАНСЫ

Вот ель, а значит, недалѣко
Возможен рыжик и овраг.

Как дом, в себя вобравши мрак,
Гляжу восторженно из окон
На чернолесье, потный дол.
Как тесно врубленный глагол –
Корявый кряж в дубовом срубе.

Сосна-дуреха в мини-шубе
Ногою ногу заплела.

Над рожью – порх! – перепела
Прошелестели, сбившись в стаю.

Иду и, походя, листаю
Шуршащий томик бытия.

Всѣ это то, чем, верно, я
Умру, набитый до отказа.
И, не вошедши, полуфраза
Оставит острые края...



СТИХИ О НЕСОВЕРШЕННОМ МГНОВЕНИИ

А. А. Ахматовой

Как счастливо, что мы пересеклись!
Ведь мы могли и вовсе не родиться.
Или родиться в разные эпохи,
Как вы и Данте.
Но совершилось чудо:
И вы читали мне свои стихи.

Однажды
 вы читали только мне.
И только это чудное мгновенье
Мне позволяет, пользуясь словами,
Соединиться с вами
 в слове «МЫ»:
Какое счастье, что МЫ пересеклись!
Ведь МЫ могли и вовсе не родиться.
Или родиться в разные эпохи.

Я говорю себе:
– Какой нахал!

И в то же время слушаю в себе
Твой, государыня, державный голос,
Державный твой
И твой – почти дрожащий! –
Что надобно, внимая, не дышать.

Иначе может что-нибудь случится –
Разрушится дорожный беспорядок
В той комнатке картонной на Ордынке,
Где сваленные книги под столом.

Ты говоришь,
Чтоб я достал «лягушку»
Из-под стола,
Где свалены «лягушки»,
И даришь с оговоркой: «Хоть такую...» --
Зелененькую книжечку стихов.

И умолкаешь,
 даже замираешь,
Под пледом, обнаруживая сходство
Натуры и наброска Модильяни,
Что над тобою повторял тебя.

Молчал и я.
И думал: Модильяни,
Его я думал – не о нём! – и видел
Больного, красногубого подростка,
Того, с которым вы пересеклись.

Не спрашивал я:
 – Где ты, Модильяни? –
Как я теперь не спрашиваю:
– Где ты? –
Лежащая под белым покрывалом
На супере покинутых стихов.

Я только возвращаюсь ненароком
В ту комнатку картонную,
Под своды
Приземистых московских подворотен,
Где пахнет своевольной нищетой.

Где ничего –
 ни злобы, ни обиды,
Мистический дорожный беспорядок,
Кухонный стол и стул из чемодана
Пустого, как армейский барабан.

Неужто в этом все мои вопросы?
Неужто в этом все твои ответы?
Мы чуточку с тобою не совпали
Во времени,
И это помогло
Избавиться

От мелочного счёта.
И потому, наверно, безотчетно
Хватаюсь я за бледную травинку
Моих воспоминаний о тебе...



* * *

Под просторной сосной, что пошире меня,
покруглее

Я хотел бы дожить –
Дожурчать этот быстрый ручей.
И созвездие Овена,

несколько звёзд Водолея
Различать невзначай
На роскошном атласе ночей.

И далёко за полночь ключами звенеть у калитки.
С ветки ягоду скусывать, как вдохнуть,
Как в четырнадцать лет.
А над белой зимой – только эти дрожащие слитки!
Слушать музыку звёзд
И протяжные звуки планет.

И, топчась у порога в рассеянном клубе мороза,
Словно с веток – с усов
Леденцы с бубенцами ронять.

Это проза?.. О, да!
Быстротечная – вечная проза! –
Это только мгновенье,
Которого нам не понять...

* * *

Уймись,
лежанку затопи,
Взъяди огонь, придвинь скамейку,
Накинь на плечи телогрейку
И зимний день не торопи.
Он догорит быстрее дров,
И вдруг настанет долгий вечер,
Весь чёрный,
Звёздами освечен –
Свечами огненных миров.
Тогда свою включи звезду
Свечей на сто,
Шурши бумагой,
Греша вселенскою отвагой
У мирозданий на виду.

Пиши о том, пиши подряд,
О чём никто нигде не пишет,
Пока огнём лежанка пышет
И звёзды огненно горят.

ПРЕДПОСЛЕДНЕЕ

*«Долго ли муки сея, протопоп,
будет?» И я говорю: «Марковна, до
самыя смерти!»*

Из Аввакума

Не муди мою душу отчаяньем,
Не вноси эту ложь на порог:
Я, как пес подзаборный,
продрог
И иными измучен заботами.

Пусть под вешалкой,
С грязными ботами –
Этот сор немудрёных дорог:
Этот мир – этот хам, этот вор,
Триумфатор на белой коляске,
Морфинист,
покоритель Аляски –
Эта слава и этот позор.

За окном задувает апрель
Високосного страшного года.
Только руку к щеке – и тепло! –
От руки, от горячей щеки.
За окном колесит карусель,
И трещат паруса небосвода.
Только высшая наша свобода
Существует всему вопреки.

Не поверю ни в дом и ни в дым –
Только высшая эта свобода! –
Не поверю ни в дом и ни в дым –
Только эта щека на щеке,
Только эта живая –
в руке! –
Шелестящая кровью страница:
Протопопица, спутница, птица.

И прозренье –
В последней строке.

Моя Таруса

Анастасия ЦВЕТАЕВА

В этом письме на немногих страницах представлена одна из жемчужин эпистолярия Анастасии Ивановны Цветаевой – письмо к ее ближайшему другу, поэту и переводчику Евгении Филипповне Куниной. Оно написано под впечатлением поездки шестьдесят седьмого года в Тарусу – обетованную страну ее безоблачного детства.

Реминисценция трагедии пережитых лет и недавняя потеря близких выступают на страницах письма на фоне томительной прелести Окского пейзажа.

Свежесть ясного осеннего утра сменяется приглушенной тональностью вечерних сумерек и проецируется на вереницу незамутненных временем воспоминаний. При этом, строки полные красок, звуков и даже запахов, создают такое ощущение полноты и целостности картины, какое можно сравнить, разве что, с целостностью литургического богослужения.

Глеб ВАСИЛЬЕВ

МУХА

*Внучке Рите Трухачевой,
правнучке Оле Мещерской,
правнукам Андрею и Грише Потерилло*

Когда муха жужжит – мне всегда вспоминается детство,
За кустом бузины – ослепительно жаркий июль,
И замшелая кадка с водою, с жасминным кустом
по соседству,
А за ветками – Окская тишь, неподвижный на ялике руль...
Сколько мух отжужжало с тех пор, сколько солнечных
дней отгорело, –
Всё я вижу широких, шуршащих, шершавых орешников тень.
Свищут птицы. Как птице, легко моему шестилетнему телу,
Как ступням от песка горячо, как уютно поникнул плетень...
Жизнь пройдёт, как тот час, и ко внукам моим
по наследству
Перейдут и жара, и июль, и замшелый, как я, плетень...
– Отчего, когда муха жужжит, так всегда вспоминается
детство? –
Скажут внуки в какой-нибудь будущий – мне уж небывший
день.

Письмо Анастасии Ивановны своему близкому другу Евгении Куниной из Тарусы

Что же сказать тебе, Женечка, друг мой, обо мне и Тарусе? Станным образом прославленный внегородской воздух – да еще осень – мне – он качает меня, что ли: ощущение слабости – перед мощью.

Грусть в самих костях (притворилась подагрой). Иду, прислушиваясь к себе как тяжело-больной (там – к

телу, тут – к душе). Изучаю пристально, через рассеянность, ее остатки. Проверяю какие-то градусы одинокости, увяданья – безразличья? (а почему же так вижу все, так отмечаю и называю?). Я ступаю по клавишам – подумайте, поют еще! – боли. Иду царством детства – тропинками меж косогоров, холмов, тот же родник течет,



пересекая разливом дорогу, – тут с мамой, идя от Добро-творских домой в свое лесное гнездо, пили воду, источнику подставив ладонь, искали камни – с кристаллами. Нет, не старчески-медленным, замедленно-призрачным шагом. С того света! Легко иду – призраки легко ходят. А в старинной шарманке груди – ноктюрн? похоронный марш? В летний полдень! Лунные сонаты воспомина-ний, слившихся в волчий вой, беззвучный. Совершенно неслышно вою. Ибо – кому повем? Не найду глазом Му-сатовскую могилу со знаменитым каменным телом раз-будившегося отрока руки Матвеева – *его* аллегория яс-ней ясного.

Борисов-Мусатов был мал ростом и болен. Алле-гория рук природы нежней и таинственней, приняв на свой плавный горб – горбатость тут положенного ху-дожника.

Редкие встречные. Праздник зрения – безоблач-ность речной глади под плавно спускающимися холма-ми. Отражение бурых кустов того берега, сладко оку-нувшееся в опаловое купанье круглого облака с сияю-щим краем. Сладость.

Этим словом мгновенно вчера окрестила виденье, мелькнувшее за поворотом, в беге автомобиля, Оки. *Так* ощущалось все детство, зрелище знакомого с первых дней пейзажа, дневная и предвечерняя гладь текущей, словно вечно стоящей реки, отражающей берег.

Почему я иду *здесь*? Я ведь пошла на почту – отсы-лать гомеопатические лекарства Петникову*, Волоши-ной** и Багаевой в Павлодар. Но с хребта горы, даже не остановясь, чтоб дать голове подумать, ноги поверну-лись вправо, привычной дорогой к даче – лесному гнез-ду детства и юности, дому, которого уже нет – как и их... Иду – и двойная боль: что я здесь в семьдесят три, где бежала в семь, в тринадцать, в пятнадцать – зацветая! (Все – процвело). И что иду – без Тебя! *Эта* боль *поч-ти* той же силы: негодование, нетерпенье, возмутитель-ность зависеть от – жизни, обстоятельств, людей, слож-ности Твоих и моих дней, не иметь Тебя рядом! В мину-ту бы вспыхнуло – ради Тебя все внутри, отразилось бы как в реке – облака, нестерпимая красота осеннего дня, стала б я в ь ю – в захлебнувшемся рассказе об *этой* тропинке, *той* березе, *там* повороте реки...

*Из-за острова на стрежень,
На простор речной волны*

поплыло бы навстречу нам, как разинские челны, Мари-нино и мое отрочество, *те* годы, *те* вечера, *та* Таруса... Тебя нет, я одна иду высоко над рекой...

*К Богу плывут облака,
Лентой холмы огибая,
Тихая и голубая
Плещет Ока...
Детство верни мне! Верни
Все разноцветные бусы,
Маленькой мирной Тарусы
Ясные дни... ****

Слева – та яркая ясность слившейся с небом воды, разделенной узким изгибом пестрых кустов – и их сла-достного отражения. И – порой все это пересекая – жел-тое приведенье березы, плакучей, непомерно взнесшейся, осыпавшей в небо и реку ветви нестерпимого блеска...

Кончилось! Ниже, затмевая Оку, полупрозрачный облетает кустарник. Тает и он. И опять – гладь, бли-стая сужается к Улайскому повороту, где Ока поворачи-вается к Алексину, к местам блаженной Евфросиньи Колюпановской, некогда – княжны Вяземской. Ее ис-точнику более ста тридцати лет...**** Стою, занемев, литого золота купола – рыжая и желтая россыпь бе-рез, наклонилась над холмиком – в детстве мы звали его «бугорок». Вход в *нашу* холмистую рощу. Боль-ше – ни шагу! Н а з а д! От пустоты над руинами сне-сенного дома. Я повернула к Тарусе, я иду, перекинув горе в другое русло, называющееся – «*Почему* Тебя нет со мной!?»

Я бы уже перестала р а с с к а з ы в а т ь, мы шли бы, рука в руке, молчаливо любуясь красотой неповто-римого тарусского ландшафта – холмов, поросших бе-резами, спускающихся к Оке, плавно впадающих друг в друга, как впадают ручьи в реку, светлые дали «того бе-рега». Ока длинным ободом уходит за поворот к Поле-нову. Песчаный берег светел внизу, плетни с сохнущи-ми сетями исчезают в тени ветел, наклонившихся над водой, чье зеркало, светло протянувшееся вперед и на-зад, уходит от поленовских мест к Алексину.

Облака в реке, мусатовские облака, к которым взгляд не поднят – опущен, претворенные волшебством воды как претворяются кистью художника – и все это в еще холоде прозрачного осеннего утра в легкой пляске янтар-

* Петников Григорий Николаевич (1894–1971) – последний футурист в Старом Крыму.

** Волошина Мария Степановна (1887–1976) – вдова поэта Волошина М. А. (Коктебель).

*** Из стихотворения Марины Цветаевой «Ах, золотые деньки!...» (последние строфы второго стихотворения цикла «Ока»).

**** Анастасия Ивановна многожды совершала паломнический путь к Св. Источнику бл. Старицы Евфросиньи (1735–1855). См. Анастасия Цветаева. «Грабители» в сб. «О чудесах и чудесном». – М.:БУТО-ПРЕСС, 1991. С. 31.



ных листьев, падающих сегодня отвесно, как порой летят снежинки, избавленные от ветра серебряной тишиной дня. Лето, осень. Не тем ли они разны, что лучи лета – солнечны, к осени поседев, льются серебром, как луна?

Шаг – как музыка: удаление от оставляемого позади, приближение к сверканью пестрых в осеннем полдне плавающих садов и в тот миг, как спина сквозь свитер, пиджак и пальто вдруг ощущает солнечную жару, взгляд нацело повернут ко вдруг вспыхнувшему высоко над водой солнечно-золотому горению? *Что* это? Цвет – почти как купол и крест погасшего храма Спасителя: неужели это деревья бульвара *так* горят в солнце?

Глаза и верить отказываются, и *пьют* невероятность цвета, прорезанного, как камня, на ослепительной голубизне.

Я стою, не замечая, что стала, и рядом со мной тоже остановясь, призрак Жени, ждущей в Москве – и не дождется пока не приеду, моего некончающегося письма.

И снова смотрю: облака в воде опрокинулись тяжестью легкой, почти невесомой – и словно пыль на зеркале неподвижность. Но дальше – мелкая рябь – след лодки переехавшей реку, и уже наплывает на неподвижное облако первый серебристый круг... А дальше – а дальше – и нет слов! И Левитан опустил бы кисть. Встал бы на косогоре – вздохнул бы – вздохнул, развел руки – в торжестве человеческого бессилия!..

Я дошла до почты, сняла свитер, пиджак, выстояла очередь, отправила бандероли, написала письмо сыну с невесткой и, когда оглянув, полужнакомую (измененную, но и ту же) с отрочества почтовую комнату, где была почта и в мои тринадцать-пятнадцать лет, вышла – солнца нет, в небе белый сумрак, в нем и речка и все, что над ней стало тусклым пепельным перламутром. Медленен путь все теми же детскими улочками, где ходили к Добротворским и к Тью больше полвека назад – те же камни и те же ворота, разросшиеся деревья, новые люди, и, невидимые, во мне тени исчезнувших. Лёрин сад на холмах, и рядом длинненький – Алин. Осень убрала кусты, березы, липы, рябины в красные и ржавые цвета... Поздние мелкие лиловые астры звездочками на высоких сухих кустах, такие мне корешками прислала пятнадцать лет назад в Сибирь Лёра, и они цвели возле моей избушки тогда пожизненной ссылки. Все прошло и проходит как сон.

Вхожу в старую – вязь прутьев, дощечек, железок – калитку, скоро наследница Лёры, вдова брата нашего, Евгения Михайловна сменит ее на новую, в ее руках оживет некогда ухоженное владение, старости ради уже десятилетия запущенное. Слева – овраг. В него падают и падают желтые листья. У края оврага – на столбике умывальник; окна в низкий дом; у входа в беседку

качает ветер длинные ветви крупно-шелестящего дикого винограда, розовый и малиновый пурпур. Белый с тигровым кот Лёрин, в морозе вынесший зиму, хозяйственный уют, сковорода котлет из свежей рыбы, керосинка, электроплитка, запах яблок, силуэт новой хозяйки в солнечных бликах террасы...

Сажу на лавочке на самом краю Лёриного сада, высоко над Окой. Одна. Вправо – изгиб голубой, бледней и туманясь. Этуд – пастелью, но всей пушистости, хрупкой нежности ее средств не хватило бы – догнать эту даль. Влево – свинцовая синева. Этуд маслом. Жирным мазком – рыжие пески крутых спусков далекого берега, светлая песчаность мели, яркий излом парома – все до предела воплощено.

Шла я сюда краями оврагов, обнесенных плетнем, их глубь темнела бездонностью мощи близоруким глазам, и из тьмы дна высились тонкие стебли берез, облетевшие привиденья рябин с темно-красными гроздьями. Трепет более близкой, мощной березы плакучей соткан из темного золота и солнечного света.

Рядом другая пониже, моложе, пестрит желтизной и зеленью. За ними – укором – совсем зеленая, кое-где лишь обрызгана реденькой позолотой и робкой рябью – как рисунок ребенка. А над ними всех выше по косогору – береза плещет ветви литые из золота, только чуть окропленные зеленым, редко и робко, той же детской рукой.

Небо за темной позолотой березы и меж ее веток – лилово, а за светло-зеленой – синева. Листья в кадках с черной водой лежали совсем воздушно, едва касаясь поверхности, но была в них недвижимость столетий, так тих был день...

В этом доме, без Лёры и Сергея Иасоновича, я гощу...

Душевно пишу тут двойным пером – то окуная его в необразимую обиду их исчезновения, в незабывность их жизни здесь, то – в некое подобие уюта еще жить тут, в их запахах, яблоках, в холмах и оврагах их уже двадцатый раз без них облетающего сада; в тепле их печек, вкуса их печеных и душистых сырых яблоков ...

Три дня и три ночи стояла в задней холодной комнате – тут он не раз меня с внучками моими укладывал – урна Сергея Иасоновича, которую я, получив ее наконец от его племянника (похож как родной сын), везла на коленях в кожаной хозяйственной сумке. Я хотела урну поставить на комод в жилую комнату, новая владелица, Евгения Михайловна, не согласилась держать ее в жилой комнате на комод, схватила и унесла сюда.

В комнатке было темно. Я украдкой от неверующего глаза Евгении Михайловны входила, крестила и целовала урну старого доброго хозяина дома, еще раз его посетившего один год девять месяцев спустя смерти.



Сегодня мы втроем – Евгения Михайловна, сосед-работник и я похоронили ее в могиле Лёры. Евгения Михайловна несла лопату и сумку с корнями цветов, работник – выкопанные ростки розы – рогозы с землей и воду в лейке, я – урну. Я подержала ее, обняв ладонями, на коленях, пока рыли яму – белая, формы как цветочный горшок, обведенная серым по круглому краю – печать непроницаемости, вечность...

Высокий, плотный, русо-рыжеватый в молодости, веселый сквозь застенчивость и до крайности деликатный – и согнувшийся, серебряный, тихий в старости, все с тою же сдержанной деликатностью встречавший каждого к ним входившего – к нему и к той, ему с юности непререкаемой – ни в одном желании и сдержанно-бурной, неоспоримой ни в одном своем, своенравной и волевой, как в юности жене. Ласково изменив ее имя, он звал ее *Le roi** и она так подписалась в последнем письме к нему из больницы в день отправки и его в *другую* больницу, которое он едва ли смог – и по мозговым изменениям своим и по ее дрожащей руке, прочесть. Пятьдесят семь лет вместе! Срок золотой свадьбы – и еще семилетний библейский срок. И простясь с ней в январе шестьдесят шестого, он сходит в этой урне на землю, покрывшую ее гроб.

Мой спор глубже копать – не пятьдесят сантиметров, а семьдесят – сводит его все ближе к крышке, покрывшей ее голову. На семь месяцев переживший ее... Передаю урну. Наклоняюсь, крещусь и крещу горсть земли в ладони и маленький крестик нателный, моей внучкой Ритой, вставлен в землю, скрывшую урну...

Шли назад мимо кладбищенской рощи, неподвижной в безветрии, золотой, в бледной лазури вечера она казалась червонной. Над Окой стоит невероятная глазу, почти итальянская – как помню молодую Лёру в Италии! – синева. Лёрин дом, некогда ею из утиля собранный. И ушли сюда все драгоценности ее любования, кроме одного золотого браслетика с сапфирами, ею подаренного Инне, дочке нашего брата Андрея и Евгении Михайловны в день защиты ею диссертации по охране растений; и камеи, украденной, вероятно, в день смерти Лёры – сторожем. Дом перешел по ее завещанию к матери этой Инны, Евгении Михайловне – что верно, так как Инна бы его – продала. В этом доме я гощу и прогощу до отъезда Евгении Михайловны (гласно – по ее приглашению, негласно – *п<отому> ч<то>* ей вечерами и ночью сумно одной далеко от дороги).

Душевно пишу тут двойным пером – то окуная его в невообразимую обиду их исчезновения, в незабывность

их жизни здесь, то – в некое подобие уюта еще жить тут, в их запахах, *яблоках*, в холмах и оврагах их, уж второй раз без них облетающего сада, в тепле их печек, вкуса их печеных и душистых сырых яблоков, в боли класть вишенку и ложку на клеенку, Лёрой по всем четырем сторонам разрисованную – букеты в кругах, кропотливый труд писать – и сушить масло, отходя любоваться, ментать...

Край этой клеенки Евгения Михайловна вчера – пережила скорбью это и Аля со мной – дернула, отдирая от нее парадную, сверху положенную, не кручинясь – а какая бережливая хозяйка! – без единого оха! на другое – бережливая! – отодрала длинный узкий кусок жилой клеенчатой ткани, к счастью не задев Лёрой писанный! Попросить *себе* эту клеенку я не решилась – от ложного, может быть, стыда быть заподозренной в жадности к *вещи*... Попросила *сменить* Лёрин синий с розовым чайничек на мой красный с белым, случайный. Увезу. Дала дамскую сумку Лёрину, темно-синюю с неявным мерцанием серебристости – Евгения Михайловна не стала бы ее носить.

Но есть еще, Женечка, две вещи, жалобные вне мер. Аля, соседка Евгении Михайловны, Маринина дочь, мечтает о расширении – хоть немного – участка, эта мечта в руках Евгении Михайловны. Это дало бы ей «выход к Оке» – выход на холм, на нем лавочку «над вечным – Левитановским – покоем». Эту мечту *ей* Евгения Михайловна *не* исполнит. Отказала в березе у входа – отвела ее забором – себе: «У меня дочери, они *тоже* любят березы!» – Но, ведь, не *ствол* же – на дрова же не срубите! А ветви – они же в небе, Божье дело, ничья красота! И если ей *так* хочется... – «Оставь, не отдам!».

И еще – Лёрин кот! С собой не берет, хоть Инна просила кошку. Оставляет. Но кот – герой. От соседей, куда отдавали – ушел! (из Москвы бы ушел тоже!). Зимовал у соседей на сеновале, ел, где давали. Зиму выжил. Весною встретил Евгению Михайловну – у двери: кот – домовый. Остается в осеннем саду и – скоро запрется – дома, у остывших печей, отданных морозу цветов... Вещи сложены. Сегодня был дождь.

Женечка, один зов, сердечный: никогда более не приехать в Тарусу. Увезти ее в сердце – с собой...

А. Ц.

...Внезапно, в сорок первый год – дар к живописи, удивленье друзей-художников, – цвет! свет!.. Споры: один – «Бросьте все, начинайте учиться!». Другой –

* *Le roi* – король (*фр.*).



«Ни за что не учитесь: академизм все задушит – идите *своим* путем!»

Взволнованное одобрение Марины – на посланные ей миниатюрные пейзажи Тарусы, Оки, нашей старой дачи (по памяти!) «я дала окантовать их и повесила на стене» и неповторимые ее слова о какой-то особенностях моей в цвете, ее восхитившей, и что-то маме, о глазе любви в памяти моей к местам детства. И я помню, как я, дрожа при расставании, вкладываю *самый* любимый рисунок Песочного, лестница, столбы балкона (там писал

свою осень Борисов-Мусатов), кусты сирени, крыша и тополя и лиловатость теней и блеклое золото солнца...

Первый набросок акварелью – кучка грибов, и стог сена – и горячее надо мной как солнечный луч, пораженный шок от друга-женщины:

– Асенька! Но как? Откуда? Ведь, это уже мастерство...

Друг-искусствовед – над тетрадкой моих пейзажей – «какое чувство цвета! свет... удивительно!..»

Таруса... Таруса...

ЧУЖБИНА

Тарусе, вдали от нее

Здесь поезда кричат как пароходы,
Песчаной мели раскалённый крик.
Мне чудятся Оки серебряные воды,
Лесов берёзовых серебряный язык.

В сиреновой тени, ромашкой зацветая,
Таруса спит смолы янтарным сном.
Игнатовской горы за тётиным сараем
Рыже-зелёный виден мне излом.

А бубенцы звенят, балует пристыжная,
Ореховый овраг до боли мне знаком.
За старым садом, древней елью рая,
Грибом замшелым притаился гном.
...Заслыша нас, ворота раскрывают,
И самоварным понесло дымком...

Меж ив и тополей, в сирени утопая,
В сиреновом ветру купая окон жар,
Нас дача старая встречает добрым чаем,
Как год назад. Всё тот же самовар,

И блюдо творога, предчувствуя корицу,
Сметаны ждёт. Биток холодный – мне.
Величине яиц крутых мой глаз дивится
И куст сирени дышит в кувшине.

Ведь год прошёл?... А комнаты всё те же
В распахнутые окна нам распахнут сад,

И в нём деревья, в оторопи нежной,
Всё так же, как года назад, стоят...

Но вот – он спал?... Чуть странен звук рояля,
Пусть руки мамы оживят его...
И – клавишами – пальцы пробежали,
Чтоб музыки родилось торжество...

И, птичий щебет с веток подымая,
С реки ленивый пароходный крик.
И дремлющий петух крыло
приподнимает:
Куккареку-у... – Мам, это что – пикник? ..

И взрослые идут, а мы опять: – Скорее,
А то пропустим волны! – И с горы
По лопухам речным, мечту лелея,
В косые волны, в воду от жары...

Промчался поезд, пробудив бывшее,
Тоска чужбины мне сжимает грудь.
Идут, идут этапные обозы,
О старой вольной жизни позабудь...

Чужбина. Мимо – годы, годы, годы
Передо мной проносятся, и в миг...
Здесь поезда кричат, как пароходы
Песчаной мели безысходный крик*.

*Дальневосточный край
Амурлаг, 1938.*

* Это стихотворение Анастасии Цветаевой исполнялось артистом Ильей Граковским по Нью-Йоркскому телевидению в его постоянной литературной программе на русском языке «Поэты Серебряного века» в августе 2000 г.



Комментарии

Лёра – Валерия Ивановна Цветаева (1883–1966) – старшая сводная сестра Анастасии Цветаевой от первого брака Ивана Владимировича Цветаева с Варварой Дмитриевной Иловойской (1858–1890).

Евгения Михайловна Цветаева (ур. Пищцкая, 1895–1987). Во втором браке (1934) жена Андрея Ивановича Цветаева – сводного брата Анастасии Цветаевой и родного брата Лёры. Кандидат биологических наук.

Инна Андреевна Цветаева (1931–1985), агроном. Дочь Евгении Михайловны и Андрея Ивановича Цветаевых.

Сергей Исаонович Шевлягин (1882–1966), муж Лёры, преподаватель латинского и греческого языков.

Евгения Филипповна Кунина (1898–1997), друг Анастасии Ивановны Цветаевой с 1962 г. Е. Ф. закончила в 1924 г. этнографо-лингвистическое отд. Моск. Университета. Автор поэтического сборника «Самое дорогое», посвященный памяти А. Адалис – ее друга и наставницы по Брюсовскому Институту Слова с предисловием Анастасии Цветаевой. Четверть века была неизменным спутником Анастасии Ивановны в ее летних поездках в Эстонию и Дома творчества.

Из архива А.И. Цветаевой.
Публикация Ольги Трухачевой

Тарусские воспоминания: неизвестный фрагмент

Цветаевская проза не только талантлива. Она по-своему художественно хроникальна. Из мглы времени она выхватывает лица, которые оживают, встают со страниц, входят в наши дни... Такое ощущение особенно возникает, когда перечитываешь ранние варианты машинописи «Воспоминаний» Анастасии Цветаевой.

В крупном московском издательстве «Вагриус» подготовлен и издан большой двухтомник этой семейной хроники, в которой речь далеко не только о знаменитой цветаевской семье, здесь – и об известных личностях эпохи – о А.Белом, В. Брюсове, М. Волошине, Эллисе, здесь же – о неизвестных спутниках, друзьях, приятелях сестер Марины и Анастасии Цветаевых.

С начала двухтомника и по всему полю текста – как звенящие капли росы на приокском лугу, посверкивает, звенит заветное слово – Таруса... О ней у Анастасии Ивановны есть тысячекратно известная фраза – «Полноценнее, счастливее детства, чем наше в Тарусе, я не знаю и не могу вообразить...» Не только детство, но и ранняя юность с ее «первыми пробами сердца», с первыми зарницами увлечений, любви – все это импрессионистически тонко воссоздано пером младшей Цветаевой. Обратите внимание – об увлечении Сережи Успенского Асей – не было упоминания в опубликованной версии текста... Да и не только об этом. Цензура не пропускала текст о священнике, отце Сережи. Никогда не публиковалось свидетельство о поздних встречах и беседах с тарусским жителем Ал. Успенским.

В расширенный текст «Воспоминаний» попало немало неизданных, в том числе и ранее сокращенных

«тарусских страниц». Мы имеем возможность познакомиться читателей с избранными из них.

Кланы давно говорила о братьях Успенских, сыновьях отца Николая с Воскресенской горы – Саше и Сереже, чья мать, матушка Надежда Даниловна, с симпатией обо мне отзывалась и иначе не звала меня, как «атаман».

Отец Николай был еще средних лет, не стар и красавец, хорошо плясал, любил выпить – рассказывали о нем. Но службу его прихожане любили, и жаден он не был. Хорошо пел.

Кажется, первым пришел с мальчиками к нам под гору Сережа, младший, светлоглазый и русый, на год моложе меня. Походил на отца. Держался свободно, просто, был дружелюбен и весел. Ребята его любили. О старшем брате он сказал, что тот «стесняется». Однако шел слух, что Саша не из последних задир, когда «нападает» на него, даже и безрассудно смел.

Сейчас вспомнилось мне, будто за почти год до того зимой, на тарусском катке, на Оке, я впервые увидела Сашу, кто-то из старших нас познакомил, и мы даже покатались с ним вместе.

После осени девятого года этого быть не могло, так как я на Рождество в Тарусу не приезжала, а он еще не был «Шурой», как я стала звать его в это лето, в отличие от его обычного имени. Значит, мы уже были знакомы.

Но он жив, мы недавно свиделись с ним в Тарусе. Двадцать пять лет не виделись (а до того не виделись семнадцать лет, с двадцать первого года, в тридцать седьмом встретились дружески, вспомнили свою



всну... Была эта встреча за несколько дней до беды, на меня пришедшей. Теперешняя встреча, после нее, когда, спустя двадцать два года вдали от Москвы и отдав еще три дня «на устройство дел», я вновь приехала в Тарусу. Я увижу его и спрошу, пусть он поможет мне вспомнить дни наших золотых волос, когда мы оба седы).

«Я звала их, – сказала Кланы, – придем, говорят». И вот медленно идет к нам по холму старший. Его звали Саша (а мне нравилось его звать Шура). Смушенная улыбка, рукопожатие. Смотрит, говорит мало.

Шура темней брата, глаза серо-зеленоватые. Он смугл, черты – тонкие, ядовито нежная улыбка и такая же речь. Сережа обещает стать сложения богатырского, Шура же пока выше брата (старше его года на три-четыре), строен, худ, лицо узенькое. Что-то совсем взрослое и печальное во взгляде.

Вижу его изредка, узнаю по сердцебиению: я еще не знаю, он ли, близорукость не дает реальности. Я думаю, что выражение «земля уходит из-под ног» – надо понимать как некое ощущение себя вдруг – в пустоте, выхваченность из того, куда идешь, с кем. Какая-то ошпаренность страхом, испытываемая при встрече, в начале любви. Колдовство вековое, чуждой души, вдруг приблизившееся колдовство близорукости (я стала часто снимать очки), от чего «ухажение земли из-под ног» было еще страннее – совсем туман! Шура приходил с кем-то из сверстников, тоже смущаясь – может, и ему «холм обрывался куда-то». Будто летишь с Воскресенской горы в пустоту, и упорство дня «идти, как до встречи» (все: люди, обед, дорога, лодка, пейзаж Оки с берегами) – тлеет, трещит, как сырая ветка, бесплодно сопротивляясь костру.

... Как можно было во всем этом искать – нащупывать – какой-то, уж не говоря «верный», путь к общению? Что могло ждать впереди, как не так называемые ошибки? И как от них было спастись?

Ока текла, и плыло серебро облаков, и надо было найти – слова...

Меж берез нашей горы он стоит, обняв ствол березы, щекой о нее, и смотрит на меня, и молчит, печальный – вот-вот улыбнется испытующе-недоверчиво, скажет что-то непохожее на других! Он человеку не верит, мне тоже, – себе? Его наблюдающий глаз уж привык к страданию, хоть ему еще – да не больше семнадцати лет! Иногда он приходит с гитарой. Предательски-нежный. Не отвести глаз.

Что я помню еще? Едем на лодке. Они оба с нами, «Санька», «Серёнка», когда я, набрав на книжку в лавке

Позднякова в Тарусе баранок, мятных пряников, конфет, собрала всю нашу шайку (раз меня в Тарусе прозвали – Атаман, – значит, шайка), и мы едем вверх по Оке, к холмам Велегожа, к Улаю* – там, на другом берегу, далеко, будем пить чай.

Август. Первые желтые листики, первый, невзначай, свежий ветерок. По глади реки – сизая хмури, огоньки. Пир – позади, теперь – песни, мальчишески-девический хор. Он хрустел по воде, а горит, как костер. Навстречу – перебивают! – с тарусского бульвара – звуки духовой музыки...

Плоты плывут, плотогонцы зажгли огоньки, они отражаются в струях – столбиками. Луна подымает, незаметно, все выше, свой шар, а полушар неба, незаметно темнея, обнимает землю. Шура встал, бросил весла. Сережа садится грести, гребет и Дубец. Шура и я смущенно глядим друг на друга. Горя, страдаешь? нет? Кто же вас знает – мальчишки, юноши, такие же сложные и изменчивые как я, так же мало знающие себя, так же мечущиеся от тоски – к отваге, от отваги – к тоске... Была тина, и Шура меня перенес с лодки – иначе нельзя было. Это был всего один миг, я скользнула из его рук, как ртуть.

Сказал ли мне Шура, что меня любит? Написал ли? Помню, что я долго хранила письмо его и письмо Сережи – из Калуги, где они учились, куда они скоро должны были ехать...

И я помню, был день, когда я узнала, что меня любит Сережа, милый, еще мальчик совсем – с этими ясными широкими глазами, на меня смотревшими.

Дни шли, мы виделись ежедневно. Шура становился мне все ближе и все пленительней, и понятней, все нужней. А отъезд приближался. Кланы, всегда все знавшая Кланы, чувшая своим девочкиным сердечком, наблюдающим девочкиным глазком, чуть дразнящим, знала все о Шуре, как об Алесе, и о Гаре, – но не говорила никому – умница Кланы!

Как последние дни тяжелы! Как жгут последние встречи! Как не можешь понять, почему раньше не встретились? Жили рядом – не виделись, друг друга боялись! Тех боялись (он – меня, я – его), которые не хотят расставаться! И не знали этого – месяц назад! Ночью я писала Марине. За распахнутым окном шелестели деревья. Луна несколько часов назад желтая, большая, низко над землей висевшая, стояла в синеве маленьким белым шаром и все ветви и кусты сада были выточены из серебра.

* Легендарный Окский богатырь. (Примеч. АЦ)



(...)

На улице ночь. Из клуба замедленные звуки вальса. Входим. Яркое освещение, много народу. Ищу глазами Шуру Успенского. Его нет. Мы кружим по зале, как все, в ожидании начала. Вдруг кто-то пересекает нам путь: Гаря. Он принаряжен, черные пряди гладко причесаны. Глаза светятся радостью. Он подходит вплотную и тихо: «Ася, можно вас на минуту?» Я отхожу с Гарей, и толпа сразу отделяет нас.

– Ты, Гаря, что?

Отводя золотые глаза и очень волнуясь:

– Я хочу с вами поговорить. Может, выйдем?

Мы выходим на лестницу, и по ней – вниз. Холодно, я дрожу, но слова Гари удивительны:

– Ася, – говорит он, – я давно хотел... Я так долго ждал вас! Вы не поймите неверно (он ужасно волнуется, голос дрожит). И за вас я готов... Я всю жизнь...

Мы стоим у выходной двери. Гаря понимает, что мне холодно, и, может быть, от этого, от страха, что я простужусь, он торопится, сбивается. Я люблюсь им. И мне жаль его.

– Я готов служить вам всю жизнь, Ася! Я вас люблю! Вы мне тогда писали, что...

Он опускает глаза, они полыхают. Он испуган тем, что сказал. Мне очень холодно, я побарываю дрожь.

– Гаря, – говорю я, – да, я писала тебе, что очень люблю тебя, что ты – особенный. Но ты не понял меня. Так как ты любишь меня, вот этой любовью я люблю Шуру – я не хочу лгать тебе. А тебя – тебя я тоже люблю, но иначе: как любят (я ищу слова) героев книг, детей, цветы, воспоминания...

Чем я больше длю перечислениями мой ответ, тем скорее хочет прекратить наш разговор Гаря. Он стоит передо мной, весь потухнув, тоненький, выросший с лета, почти юноша. Его смуглое узкое лицо больше не освещено глазами – их опустил, и очень тихо – так отплывает от берега лодка:

– Я понял!.. (Как он это сказал!) Сейчас я эти слова слышу.

Он мне уступает дорогу, как бы торопя меня отсюда (где мне холодно, а ему тяжело) – туда, наверх, где мне будет тепло, где музыка, Шура... Я жму его руку – слабую, узенькую. Крепко жму. Затем избегаю по ступенькам. Я иду полкруга одна и вдруг сердце начинает так биться, что я останавливаюсь: в зале сидит Шура Успенский рядом с Марусей Н. и глядит ей в глаза.

В это время ко мне подходит Кланыя.

– Видела? Значит, правда... я слышала, что Санька влюбился в Маруську – но не верила... И чего он в ней

нашел? Прилизанная, неинтересная... Разве ее с тобой сравнишь? А воображает из себя...

Наш путь лежал мимо них. Когда мы прошли мимо Шуры, он мне поклонился. Я помню как упало сердце. Помню себя несчастной. Но что было дальше я не помню, и то, что было, мне – пятьдесят три года спустя! – рассказал все с той же язвительной усмешкой шестидесятилетний Шура.

– Не помните? А я отлично помню... Вы были очень взволнованы. Мы стояли с вами в сторонке и вы мне сказали: «Как вы могли променять меня на это ничтожество?» Вы едва помнили, что говорили, может быть; вы были очень бледная, также такая зеленка в лице!

Как странно, что я это забыла! Но сейчас мне кажется, что... да, вспоминаю...

Почему ничтожество? Она была очень хорошая девушка из благовоспитанной семьи. И веселая и умница. (Сказала ли я Шуру, что я встретила Марусю Н. в тяжелые годы, в невеселых местах, вдали от родины?. И мы узнали друг друга, общались. Она ни словом не напомнила мне своей надо мной победы, шестнадцатилетней. Очень деликатно. Нам было лет пятьдесят с чем-нибудь, ей и мне.)

Невеселое, думаю, было мое возвращение к тете в тот вечер. Верно, девочки проводили меня.

Знал ли Гаря о моем поражении и о моем объяснении с Шурой? Стараюсь вспомнить. То, должно быть, была моя последняя встреча с Гарей, потому что на следующее лето мы не попали в Тарусу. И еще на следующее – тоже. С Кланей я увиделась – она гостила в Трехпрудном, уже будучи замужем. Она стала математиком. Потом встретила ее еще раз, лет восемь-девять спустя, когда у нее была дочка. Затем от Виноградовых услышала, что она умерла. С Михайловыми я встретилась четыре года назад в Тарусе, не видевшись пятьдесят лет. Обоих можно было узнать. Меня помнили. Сережу более не видела.

Из позднейших – в двенадцатом и двадцать втором годах – встреч с Шурой Успенским знаю, что – «Тогда, в Тарусе, в юности я был без ума от вас. Когда я переносил Асю из завязшей лодки на берег, я точно огонь нес. Обжигался, терял голову...» Чистые, счастливые времена... (Привожу не дословно, по смыслу).

В шестьдесят втором году, пятьдесят два года спустя после описанных дней Шура с улыбкой, освещавшей старое его лицо, вспоминал: «Не забыл, конечно! Помню, как вы прыгали через костры не хуже мальчишек... Как венки васильковые в Оку бросали... Вы были озорная девочка, вас звали «атаман»...



Я слушала с грустью. О Гаре (и от него и от других): О вас писал дневник в толстой книжке. Играл под Горького. Поздней в революцию был матрос, револьверы за поясом, скандалил, пьянствовал, срывал иконы. Шумел в Тарусе очень. Умер в больнице, в палате у вашей кухни Людмилы Ивановны Добротворской от тифа.

Нет, я забыла еще: Гаря приходил ко мне в первый год моего замужества раза два. Чуть пополнел. Был скромн. Где-то учился. О прошлой дружбе не вспоминали. Было

это лет за шесть-семь до его появления матросом. А Мишка Дубец, когда еще позже узнал о постигшем меня семейном несчастье, писал мне с фронта трогательные солдатские письма, где сообщал, что (будет?) произведен в офицеры и будет мне присылать из офицерского оклада деньги, чтобы мои дети не нуждались – только просил сообщать перемену адреса. Я ответила благодарностью, сказала, что уезжаю, устраюсь, но адреса не сообщила. Помнится так. Подписывался Мишка Дубец словами «пламенный защитник ваш навсегда М. Филиппов».

Комментарии

Кланя Макаренко – Макаренко Клавдия, – ей посвящено стихотворение «В сумерках» МЦ СС т. 1, с. 54. (МЦ СС т. 1, (2), с. 279 – в комментариях к Собр. Соч. МЦ ошибочно указано – «по-видимому гимназическая подруга Цветаевой»). См. упоминание о ней: Цветаева А. «Таруса». – Газ. «Культура», 1993, 11 сентября, стр. 12. Возможно, она родственница тарусского агента Союза драматических писателей Макаренко Павла Ивановича, а может быть, и Городского головы – потомственного почетного гражданина Макаренко Ивана Дмитриевича.

...о братьях Успенских с Воскресенской горы – Саше и Сереже – Успенский Александр Николаевич (р. 1893) и Успенский Сергей Николаевич (р. 1896). Восприимчивым Александра Успенского был И. З. Добротворский (указ. Е. Климовой).

...отец Николая с Воскресенской горы – протоиерей Успенский Николай Михайлович (1863/64 – конец 1930-х гг. указ Е. Климовой), настоятель Воскресенской церкви, законоучитель высшего начального училища, казначей детского сиротского приюта; входил в местный (тарусский) комитет Российского общества Красного креста.

Саше и Сереже, чья мать, матушка Надежда Даниловна – Успенская Надежда Даниловна (урожд. Яхонтова, р. 1861?). Брак с Н.М. Успенским с 1886 г. Указ Е. Климовой).

Улай – Легендарный Окский богатырь. (Примеч. авт.) см. Лидия Анискович «Край бузины и край рябины. Цветаевы в Тарусе» М., «Вече», 2004 – имеется в виду легендарный «...разбойник Улай лишенный за свои грехи смерти и предлагающий заблудившимся путникам поменяться с ним судьбой...» (с. 115).

Мишка по прозвищу Дубец (Филиппов, сын рыбака, с отцом рыбачит) – Филиппов Михаил Матвеевич (р. 1890 Указ. Е. Климовой) Дочь М. Цветаевой, Ариадна Эфрон в

письме к Н. И. Ильиной 29 марта 1969 г. приводит несколько иное свидетельство тарусянина Розмахова Ефима Ивановича: «...за Настей один ухаживал, Мишкой звали, а прозвище у него было Дубец, красивый был, капитаном на пароходе. Уж как мы, бывало, смеялись над ним – ну куда, мол, ты лезешь – профессорская дочка и сын сапожника!» – в кн. А. Эфрон «Марина Цветаева. Воспоминания дочери. Письма», Калининград, ГИПП «Янтарный сказ», 1999, с. 356.

Алес – Александр Карлович Закржевский (1886–1916) литературный критик, корреспондент АЦ. Сестры М. и А. Цветаевы встречали его в Тарусе и издали увлекались его романтическим обликом.

Гаря – Устинов Гавриил Иванович (1893?–1919 указ. Е. Климовой) мичман флота, после ранения и возвращения в Тарусу – следователь.

...в лавке Позднякова в Тарусе – лавка купца Якова Лаврентьевича Позднякова. В доме, где она помещалась, ныне – Тарусский краеведческий музей (ул. Энгельса, д. 4; указ. Е. Климовой).

Добротворская Людмила Ивановна (1885–1953 указ. Е. Климовой) врач в Тарусе, дочь двоюродной сестры И. В. Цветаева, Е. А. Добротворской (1857–1939?)

Виноградовы – семья Анатолия Корнелиевича Виноградова (1888–1946), писателя, литературоведа; его родители Корнелий Никитич и Надежда Николаевна имели дом в Тарусе, Анатолий и Нина, его сестра, дружили с А. и М. Цветаевыми.

Публикация, вступительное слово и комментарии
Станислава АЙДИНЯНА,
литературного секретаря А.И.Цветаевой 1984–1993 гг.,
научного сотрудника Литературно-художественного
музея М. и А. Цветаевых.

Сестры Цветаевы

Владимир ЛАЗАРЕВ

Мы пришли к Анастасии Ивановне Цветаевой в гости в декабре, зимним вечером. Она только что получила однокомнатную квартиру в новом доме. В холодной пустоватой комнате стоял большой старинный рояль. Несколько ветхих стульев. Боком к окну – маленький письменный стол, на котором – рукописи. Впритык к столу – ободранный низкий шкаф. На задней стенке шкафа – фотографии: Марина Цветаева, Борис Пастернак, Максимилиан Волошин. И над ними – портрет Лермонтова. На стенах – тоже фотографии. Вот Марина и Анастасия, которую близкие называли Асей. Вот Иван Владимирович Цветаев, профессор Московского университета, директор Румянцевского музея, которому Москва и все мы обязаны музеем Изящных искусств. Он был его основателем.

В этой необжитой комнате ощущается какое-то доброе отношение вещей друг к другу, особый лад вещей. В углу подле кровати стоит божница, узкий стекольный шкаф с иконами. Перед нами – старая-престарая женщина – Анастасия Ивановна Цветаева. Она в темном, шерстяном джемпере, маленькая, вся в морщинах. Сквозь поблекшие черты смутно проступает ее молодое лицо и лицо Марины. И возникают, поют давние молодые строки:

*Мировое началось во мгле кочевья:
Это бродят по ночной земле – деревья,
Это бродят золотым вином – грозди,
Это странствуют из дома в дом – звёзды...*

И еще более ранние:

*Моим стихам, как драгоценным винам,
Настанет свой черёд.*

И более поздние:

*Отказываюсь – быть
В бедламe людей,
Отказываюсь – жить
С волками площадей.*

На часах вечности мелькнуло лишь мгновение. Марины уж давно нет, ее могила осталась в сорок первом году в Елабуге. Ася, Анастасия, сильно изменилась,

высохла, старческие пальцы искажены, искривлены временем.

Мой товарищ принес ей в подарок пожелтевший листок, на котором написано: «Анастасии Ивановне Цветаевой сердечно. М. Горький, 17.VIII.27 г. Сорренто».

Листок этот сохранился в коллекции старого букиниста, которого тоже уже нет в живых.

– Эта надпись сделана Алексеем Максимовичем на одной из книг «Жизни Клима Самгина». Но мне почему-то помнится, что он подписался – Пешков, а не Горький, – говорит Анастасия Ивановна. Было суровое время. Книги теряли своих хозяев. Люди теряли друг друга из виду. Но ничто не забылось.

Заговорили о Тарусе, куда цветаевская семья выезжала в летние месяцы.

Я вспомнил, как в начале шестидесятых годов впервые приехал в Тарусу и как молодые люди в светлую июньскую ночь над быстротечной, серебрищейся Окой читали стихи Марины Цветаевой, с благоговением произносили ее имя.

Когда беседа зашла о Ясной Поляне, Анастасия Ивановна рассказала, как в тысяча девятьсот десятом году они с Мариной, юные, поехали туда на похороны Льва Толстого. Они уехали без спросу, второпях Ася забыла сменить летние туфли.

Стоял ноябрь, было холодно. Они с великим трудом сели в поезд на Курском вокзале. Ехали всю ночь и на рассвете сошли на станции, неподалеку от Ясной, в засеке.

В смутном, сером, стылом воздухе шевелилась, колыхалась огромная, темная, неясно очерченная толпа народу. Жгли костры. Студенты пели революционные песни. Песни, казалось, дымились над кострами. Тревожные светлые идеалы витали в рассветном воздухе.

Ася едва передвигала окоченевшие ноги. То там, то здесь слышалось одно и то же: «Лев Николаевич...».

Она его увидела в яснополянском доме – неподвижным, в черной рубашке, как показалось ей, и с очень желтым старческим лицом. (На самом деле, на нем сверху была темная суконная блуза, как сообщает Маковицкий). Этот человек написал Наташу Ростову, князя Андрея, Анну Каренину...

Одно Время кончилось.

Начиналось новое, неведомое...

В поисках Анастасии Цветаевой.

Литературное эссе Аллы Страшной



Анастасия Цветаева и Евгения Кунина (стоят в центре) с друзьями. Эстония. Кясму.

Предыстория

Как-то в одном из писем Александр Ханаков обмолвился, что неплохо бы изучить местечко Кясму на предмет наличия оставшихся там воспоминаний об Анастасии Цветаевой. Анастасия по возвращении из сибирских лагерей и поселения на протяжении двадцати пяти лет была верной летней постоялицей-дачницей в Кясму.

Летом две тысячи третьего года, путешествуя в поисках интересного по нашим провинциям, добрались и до северного побережья. Увидев дорожные указатели, снова споткнулась о слово «Кясму», вспомнила обмолвку Ханакова и уговорила своего спутника вернуться туда на полчаса. Небольшой дачный поселок, рыбацкая деревушка (потом узнала, что не столь ры-

бацкая, сколь капитанская), совсем безлюдные улочки – куда ткнуться, к кому постучаться со своими вопросами? И тут – деревянная табличка со стрелкой-указателем «Muuseum». Вот и решение. Куда еще, как не в очаг культуры, а там уж как повезет.

Частный музей, что закономерно для такого места, оказался морским. Расположен он на берегу моря в здании бывшего царского пограничного кордона. И в советское время там обитали пограничники. После их ухода в конце девяносто второго года – бесхозность, которую попросил и получил в девяносто третьем в аренду на пятнадцать лет Аарне Вайк. Вот он-то нас и встретил.

Разговор тогда почему-то никак не хотел складываться, Аарне был колюч и нелюдим, не желал проникнуться тем, что я ему говорила и о чем просила. Кажется, даже не слушал. Или не слышал.



Но я усиленно изображала овечку и настойчиво продолжала блять, после чего мне милостиво даны были ссылки на опубликованные в «Ученых записках Кясмуского морского музея» воспоминания Дагмар Нормет об Анастасии и опубликованные в журнале «Радуга» в девяносто первом году записки Анастасии Ивановны Цветаевой «Моя Эстония». Все старательно записала, но упрямо томила Аарне невнятными расспросами. Он отвечал резко, отрывисто, бубнил под нос, не глядя на меня, мастерил что-то деревянное на верстаке, ожесточенно елозя рубанком. И не давая никаких надежд на диалог. Я тупо, по-бараньи замолчала. И так же, упрямо не двигалась с места.

Аарне неожиданно бросил работу и исчез где-то в глубинах своих владений. Через несколько минут столь же внезапно появился уже из другой двери и сердито, без единого слова швырнул на верстак несколько потрепанных черно-белых фотографий. На них была Анастасия. А на обороте двух из снимков – ее автографы. Не датировано, но, видимо, семидесятые годы XX столетия.

Оказалось, после того, как по прошествии поющей революции и пришествии независимости был успешно разорен санаторий Вызу и его библиотека, где неоднократно выступала Анастасия Ивановна Цветаева, все непонятное (в том числе редкие книги с автографами на негосударственном языке и фотографии) было с легкостью выброшено «победителями» на местную свалку, где Аарне Вайк все это непонятное подобрал и бережно сохранил.

Надо ли говорить, что я просто онемела, увидев такое. Крутила, как дурочка, эти фотографии в руках и не могла вымолвить ни слова. Этим, похоже, еще больше разозлила сурового музейщика и получила строгий выговор, что не умею читать по-русски и что надо учить русский язык (дело в том, что мы вели беседу на эстонском). Затем была названа «столичной штучкой», «пигалицей», «вертихвосткой» и кем-то еще. Но все это уже было пустяком по сравнению с богатством приобретенного мною знания.

Из-за неистребимой лени добралась до библиотеки, чтобы найти тот номер «Ученых записок» и сделать ксерокопию, лишь глубокой осенью. Перевела на русский. Написала и отправила Аарне в Кязму письмо, чтобы согласовать свой перевод. Также попросила указать возможности как-то организовать копирование фотографий, изъявила согласие практически на все его условия. Но... не смогла удержаться от нескольких колких замечаний в отношении содержания текста воспоминаний Дагмар Нормет, от парочки хоть и вежливых, но все же шпилек в адрес летних высказываний Аарне и от своего мнения, что оригиналы фотографий должны храниться в Доме Марины Цветаевой в Москве.

Ответа не дождалась.

Поэтому без всяких согласований отправила Александру Ханакону для передачи в Дом-Музей Цветаевой воспоминания Дагмар Нормет об Анастасии Ивановне (копию на эстонском языке), свой перевод на русский, копии рассказа Анастасии Цветаевой «Моя Эстония» из трех номеров журнала «Радуга». А также почтовые координаты Аарне Вайка.

Александр Васильевич написал ему, но и он ответа не получил. Расстроился, но списал отсутствие ответа на невнятность современного почтового сообщения между двумя не сильно дружественными суверенными соседями. На том все и успокоилось. Но только внешне. Внутри у меня этот червячок незавершенности, не доведения дела до победного конца продолжал ныть и мешал спокойному течению сытой мещанской жизни.

Продолжение

В день памяти Анастасии Цветаевой, пятого сентября две тысячи шестого года оказалась я нежданно (по приглашению своих цветаевских знакомцев «старичков» Бориса Мансурова и Александра Ханаконна) на Ваганьковском. Там по традиции собралась помянуть бабушку одна из ее внучек – Ольга Трухачева, а также самые близкие друзья последних лет жизни Анастасии Ивановны и просто ее почитатели.

По традиции же к этому дню «Глебы» подготовили очередной рукописный экземпляр книжечки, посвященной памяти Анастасии Ивановны. В этот раз книжечка называлась «Освящение Дома Марины Цветаевой».

«Глебы» – это супружеская пара: Глеб Казимирович Васильев и Галина Яковлевна Никитина, которых с «Анастасиюшкой» связывали двадцать лет дружбы, а теперь и находящийся в их распоряжении и обработке ее уникальный архив. Вот эти «Глебы», начиная с девяносто третьего года, издают в память об Анастасии Ивановны ручным способом, в виде распечатки на принтере и в ручном переплете, в количестве всего десять-пятнадцать экземпляров уникальные маленькие книжки с уникальными воспоминаниями.

В этот раз на кладбище была лишь Галина Яковлевна. Глеб Казимирович прийти не смог, был нездоров (оба они, к слову сказать, люди немолодые и немало на своем веку пережившие).

Меня представили Галине Яковлевне. Как посланца из Эстонии вообще и из Кязму, в частности, и как переводчика и «передатчика» в Москву воспоминаний Дагмар Нормет. Мы познакомились, разговорились. Мне



ТАРУССКИЕ СТРАНИЦЫ

тоже подарили рукописную книжечку с автографом авторини. А также экземпляр для передачи Дагмар Нормет, с которой, как оказалось, Галина Яковлевна знакома и о которой вспоминала с нежностью и уважением.

Снова зашел разговор о кясмуских фотографиях, о гробовом молчании музейщика Аарне Вайка, о моей невозможности пересилить страх, чтобы опять поехать к нему с просьбой о хотя бы копировании фотографий. И о том, что это непременно нужно сделать.

И тут Галина Яковлевна оживилась, хитро мне подмигнула:

– А вот Вам, деточка, и отличный повод в руки. Отвезите туда нашу с Глебом книжку, познакомьтесь с Дагмар, возможно, эта славная женщина как-то и уговорит Аарне. Она должна нас с Глебом помнить.

На том и расстались.

Когда я вернулась из России, дома завертнулись всякие отложенные и важные дела, банальный быт, рутина, да и лень – как водится.

Потом завертелось предчувствие беды, потом и сама беда, которая закончилась горем...

В общем, было совсем не по поездок в Кясму, не до тамошних старых и новых знакомств, не до фотографий. И вообще ни до чего, кроме элементарного трепыхания во имя выживания.

Так и прошло время. До нынешнего лета. До самого конца июня. Одно время прошло. Другое пришло.

Видимо, не зря говорят в народе, что всему свое время.

Частичный итог

Итак, пришло время, ушла нерешительность и я, сдерживая мелкую дрожь от своих давнишних страхов, позвонила в Кясму. Кажется, путанные объяснения и попытки напомнить, кто я и чего мне надобно, не особенно заинтересовали. Но хотя бы узнала, что в определенный день и в примерный час музейщик будет на месте и готов меня выслушать.

За прошедшие годы здание музея заметно похорошело.

Разрослись кусты и цветочные клумбы. Но прежней осталась традиция дверей настежь – входите и смотри-

те совершенно безнадзорно, только собачки рядышком прогуливаются. Люди так и делали, заходили, бродили по комнатам, гладили собак, записывали что-то в книгу посетителей, бросали денежки в ящик для пожертвований (билетов и установленной платы за вход по-прежнему нет, гости могут добровольно опустить в ящичек денежку – если и сколько считают нужным).

Стены фасада украсились маринистическими полотнами юных кясмуских живописцев.

Хозяина дома не было. С полчаса мы его подождали. Под пристальными взглядами симпатичных музейных собак. Поскольку опыт взбрыкиваний Аарне у меня уже имелся, решила позвонить, узнать, где его искать. Аарне оказался поблизости, извинился, просил дождаться. Вскоре мы встретились, наскоро снова познакомились. Отправили моих мамочку с папенькой осматривать экспозицию музея, а сами уединились на застекленной веранде по своим делам.

В этот раз я приехала подготовленно-основательная, с книгами, фотографиями, документами по теме. Аарне наспех, но внимательно рассматривал, расспрашивал, переспрашивал, проявил заинтересованность, был тих, чуть грустен и почти не суров. Совсем другой человек.

Снова неожиданно потерялся в соседней комнате и... стал метать на огромный обеденный стол прекрасной веранды свои богатства. Ах, как много интересного!

Но у меня был очень узкий вопрос. Да-да, вот и вожажденные фотографии появились. Кроме одной, увы, самой главной. Ее он так в итоге и не нашел, оправдываясь, что где-то она лежит, но так как в этом музее нет никакой системы и нет помощника, который бы систему разработал и поддерживал, то поистине могут занять неопределенное время. Так как Дагмар Нормет в Кясму не оказалось, она как раз успела уехать по делам в столицу, то и предназначенную для нее книжицу из Москвы оставила Аарне.

В общем, фотографии были мне выданы для копирования. Под честное слово. И даже с разрешением не привозить их обратно собственноручно и -ножно, а оставить в Таллине в условном месте знакомому человеку для дальнейшей передачи по месту хранения.

После Тарусы



Марина Цветаева 1911 г. Коктебель.

Зимой девяносто третьего года в Москве на Большой Спасской в квартире Анастасии Цветаевой Останкинская телестудия снимала сюжет, названный «Поэтический дневник». В кадре были двое: почти столетняя Анастасия Ивановна Цветаева и я, бывший в ту пору директором коктебельского музея Максимилиана Волошина (вспоминаю слова, не раз сказанные мне Анастасией Цветаевой в начале нашей многолетней дружбы: «человек не то, что он есть сейчас, а то, чем он становится»).

«Для моей сестры Марины и для меня, – говорит с экрана, закрывая глаза и погружаясь в дни своей молодости Анастасия Цветаева, – Коктебель начался не на берегу моря, а в Трехпрудном переулке в Москве, в доме моего отца, когда после выхода Мариной первой кни-

Борис ГАВРИЛОВ

Таруса, Коктебель, да чешские деревни –
вот места моей души...

Марина Цветаева

ги, – ей было восемнадцать лет тогда, мне – шестнадцать, – книга называлась «Вечерний альбом», – пришел к нам Максимилиан Волошин поздравить ее с успехом этой книги, ее талантом. <...> Пришел не человек, а пришло ожившее изображение Зевса, причем еще более пышноволосое и пышнобородое, чем Зевс.

С первого же вечера, когда он пришел к нам в дом по поводу Марининого сборника, и рассказал нам о Коктебеле, мы поняли, что именно Коктебель – это то место, где мы должны жить. И так странно случилось, – поворачивает голову ко мне Цветаева, – вот, может быть вы, Боря, не знаете, что как раз в десятом году обманом мы лишились Тарусы, где мы всегда с самого рождения препроводили лето, и в это время пришел к нам Макс и рассказал о Коктебеле.

И тогда мы поняли, что не нужно нам грустить о Тарусе, что Таруса сыграла свою роль и кончилась, что теперь начинается новая эра в нашей жизни, и я думаю, что одновременно с нами – у некоторых раньше, у других позднее, – началась именно коктебельская эра, целая эпоха поездок туда и зимой тоски по Коктебелю».

В словах Анастасии Цветаевой о Тарусе, «сыгравшей свою роль и кончившейся», которую сменила «коктебельская эра», видится мне цикличность их с Мариной личных историй, или, как говорят, со вздохом, американцы: «And this is the story of my life...».

Есть циклизация мировой истории, вроде «Письма о конце Всемирной Истории» из «Трех разговоров» Вл. Соловьева, и шпенглеровских циклов «Заката Европы». Есть историософия: «Нам ли весить замысел Господний?» по-гоголевски вопрошает Волошин несущуюся неведомо куда Русь и безнадежно вздыхает: «Темны и неисповедимы / Твои последние пути».

Есть Gesteschichte – история духа (Вильгельм Дильтей и неокантианцы, столь любезные Андрею Белому). Но есть и напряженный поиск смысла собственного пути у поэта, с его лирическими циклами, роковая



причинно-следственная вязь (именно *вязь* – плетение, поскольку – поэты, арабеска), с периодизацией жизненного пространства, сопряжением его с именами, датами, встречами, разрывами, странами etc.

Известно, какое значение этому придавали поэты-символисты. Андрей Белый, один из наиболее неистовых искателей смысла трансмиграций души и схематизаторов пути – чего только стоят его многочисленные антропологические схемы, третьего января четырнадцатого года прошался с прошлым на могиле Фридриха Ницше.

«Мы – писатели, живем не своей только жизнью. Рассеянные по странам и временам, мы имеем некую сверх-личную биографию. События чужих жизней мы иногда вспоминаем, как события нашей собственной», – писал Владислав Ходасевич.

В разговоре с Вероникой Лосской, в начале семидесятых, Анастасия Цветаева так же, как о Тарусе, говорила и о «феодосийской эпохе»: «В одиннадцатом году, после Феодосии, мы с Мариной, каждая со своим женихом, уезжали в разные города». В этом *после* не только цикличность-завершенность, но и *последовательность* завершенностей: вспомним цветаевский сборник «После России» или ее строки о Волошине – «После России, где меньше он / Был, чем последний смазчик»; вспомним берлинский песенник Андрея Белого «После разлуки», даже толстовское «После бала» *последование* «сквозь строй», и оставим пока в стороне все построения вроде «*после* Освенцима» и прочие пост-измы.

По словам Ариадны Эфрон, дошедшей с матерью от Тарусы до Парижа и обратно... и далее, увы, *последовавшей* в «поэтапной» *последовательности*, – Крым был последним ее счастьем, и Цветаева искала потом этот Крым везде и всюду всю жизнь.

В нашем телеразговоре Анастасия Цветаева сдержанно полемизирует: «О Марине говорят, как о трагической фигуре, и никогда не помнят ее счастливых лет. <...> Она была очень меланхолична и пессимистична всю свою юность; в то время, как я носилась на коньках на беговых и так далее, у меня были подруги, она сидела в своей комнате, читала немецкую литературу, французскую литературу, никуда не ходила. Очень пессимистично чувствовала, что она не создана для жизни и в семнадцать лет пробовала самоубийством покончить. Ей дали, видимо, незаряженный револьвер, у нее ничего не получилось. Так вот, ее встреча в Коктебеле с Сережей ее возродила к жизни».

По возвращении Марины Цветаевой из эмиграции в одной из прогулок с Марией Белкиной состоялся такой их разговор:

«...я обронила, что была в Крыму, и Марина Ивановна тут же заговорила о своем Крыме, о Крыме

одиннадцатого-двенадцатого годов и о Коктебеле, конечно... И были там – и мягкая белая дорога через степь, которая пылила, как старый тюфяк, и каменные толстозадые столбы в криволинах, ими был отмечен путь Екатерины в Таврию, и пролетка, тарантас, арба, запряженная волами, и египтянка Таиах, и Пра, и гора с профилем Макса, и, конечно, сам Макс Волошин... И небывалая легкость, беззаботность, безоблачность тех лет, и небывалая синь моря, небывалое ясное небо <...> Она говорила, что единственное место *ее* – был Коктебель, дом Макса, там она была своя, а потом везде и всюду, всегда – не своя! И в той страшной Москве двадцатых годов, из которой она уехала, – не своя, и в эмиграции – не своя, и здесь теперь – не своя... Если бы ей попасть в Коктебель хотя бы ненадолго, на день, на час... но Макса нет – значит и Коктебеля нет!..».

«Мне без него не нужен Коктебель!», будто бы эхо, вторит Цветаевой Георгий Шенгели в стихотворении «Максимилиан Волошин» (1936). «Царство поэта да будет мир, втиснутый в средоточие его времени» – говорил Новалис о месте, вернее, об извечной неуместности и несвоевременности поэта.

В онтологическом одиночестве Марина Цветаева не одинока. У одного из ценимых Волошиным авторов, Лео-на Блуа, есть признание: «Я совсем не современник, и я





никогда не был у себя дома». Да и только ли Леон Блуа бездомен: не физически, конечно, метафизически? А сам «странник и прохожий» («Мы прохожие, нам на роду написано проходить» – Рене Шар), «близкий всем, всему чужой» Максимилиан Волошин, по одному из определений Осипа Мандельштама – «местный помещик», а в основном – гений *места* – нашел ли он *место*, где бы голову преклонить с его астральной бездомностью.

За год до встречи с Мариной Цветаевой он евангельски изрек: *«Изгнанники, скитальцы и поэты, – / Кто жаждал быть, но стать ничем не смог... / У птиц – гнездо, у зверя – темный лог, / А посох – нам и нищенства заветы»*.

«Таруса, Коктебель, да чешские деревни – вот места моей души» – в таком усеченном виде, размноженная в необозримом количестве текстов эта цитата имеет хождение до сих пор, как некий триединый топос цветаевской души.

Приведу ее целиком из опубликованных «Сводных тетрадей»: «Что же касается деревни и города – Дольные Мокропсы поныне предпочитают Парижу. Там были гуси – и ручьи – и вдоль ручьев дороги – и красная глина, из которой Адам, красная глина как на Кубани, где я никогда не была – и тот мой можжевелевый кипарис (<фраза не окончена>. Таруса – Langackern – Коктебель – Мокропсы (Вшеноры) – вот места моей души. *По ним – соберете*. (курсив мой. – Б. Г.) В Париже (живу восемь лет) и тени моей не останется. Разве что на Villette (канал, первый Париж...). 1933 г.»

Помимо антиурбанизма, в полном цветаевском тексте явлена существенная к местам ее души путеводная инструктивность: *«По ним – соберете»*. Инструктивность, указующая и на деструктивность. Дихотомия – «конструкция – деструкция», одной из составляющих которой является суицидальность.

К слову, урбанизм и суицид тесно связаны: по статистике давно ставшей наукой суицидологии, большинство случаев суицида происходит именно в мегаполисах. *«По ним – соберете»* предполагает собирание цветаевских земель – разодранной усобицей земли русской, с ее рассеянием, диаспорой и метрополией, собирание в единый поток заводов русской литературы, с ее набоковскими «другими берегами».

«Поэт – собиратель и нанизыватель слов» – по Осипу Мандельштаму, но культура, в ее потаенно – архаическом основании, вообще собирательна. Это помимо принятого в культурной антропологии деления на «собирательную» и «охотничью» – в концепции «пралогического» у Люсьена Леви-Брюля, «мифологического» у Клода Леви-Строса или «архаического» у М. Элиаде.

Для русской культуры («В России нет сыновнего преемства» – М. Волошин) собирание – это еще обетование и спасение, да простит меня Господь за сравнение, как собирание в чашу крови из ран Христа: *«Грала скорбей несём по миру мы – / Изгнанники, скитальцы и поэты!»* (М. Волошин).

В начале девяностых философ Григорий Померанц прислал мне в Коктебель свою книгу «Собирание себя», в которой он реконструирует горение-сгорание, в цветаевской «триаде»: огонь ал, огонь синь и огонь бел, из приведенного там письма Марины Цветаевой к Пастернаку, где она пишет: «То – что сгорает без пепла – Бог. А от моих – в пространстве огромные лоскутья пепла». *«Мой пыльный пурпур был в лоскутьях, / Мой дух горел»* (М. Волошин).

Alter Ego юной Цветаевой, Мария Башкирцева, уподобляла себя разрубленной на четыре части свече, горящей со всех сторон. «Мое семнадцатилетие во всей чистоте его самосожжения» – говорила о себе «дококтебельской» Цветаева. Беспепельная чистота сгорания есть горение духа, литургию красоты уже отслужившего: какой здесь Бальмонт, какой Белый и какой ... увы, Волошин, когда он употребляет малое, а не большое «Т»: *«тобою, в тебе молиться, / Излиться в небытие, / Исчезнуть, угаснуть, слиться, / Сгореть во имя твое...»?*

Это все еще «обстоятельства жизни, сложившиеся» поэта, как охарактеризовал свою «Охранную грамоту» Борис Пастернак, это – «ранний разрыв», «по юности», где человек – некое «пустое собрание висков и губ и глаз, ладоней, плеч и щек», это, как говорит Волошин, – малое «я». Другое дело – лоскутная ткань дискретного духа, разделенного, как говорили гностики, со своей плеромой.

*Так, высвобождаясь
От власти малого, беспамятного «я»,
Увидишь ты, что все явленья –
Знаки,
По которым ты вспоминаешь самого себя,
И волокно за волокном собираешь
Ткань духа своего, разодранного миром.*

Максимилиан Волошин

У не очень известного в России Нобелевского лауреата Элиаса Канетти – по крайней мере не столь известного, как последовавший за ним лауреат – Габриэль Маркес и даже предшествовавший ему лауреат – Чеслав Милош – есть книга «Масса и власть», где он рассуждает о спонтанном росте буквально на голом месте толпы, которая может достигать гигантских размеров, и столь же внезапном ее исчезновении, распаде.

Но то – распад толпы, с Пушкина реакция поэта на толпу – *procul este, profani* (прочь, непосвященные), а что



есть распад «посвященных», поэтов? Впрочем, от распада ядра атома до распада атомных станций и самих империй, их возводящих, распадается все.

*Свидетели великого распада,
Мы видели безумья целых рас,
Крушенья царств, косматые светила,
Прообразы Последнего Суда:
Мы пережили Илиады войн
И Апокалипсисы революций.*

Максимилиан Волошин

«А может – лучшая потеха / Перстом Себастиана Баха / Органного не тронуть эха? / Распасться. Не оставив праха / На урну...» (М. Цветаева).

Не ставший юристом, Волошин написал об этом «Демоны разрушения и закона» и «Пути Каина», об этом, казалось бы трюизме, что «люди неразумны» etc. Но – к толпе. В стихотворении «Поэту» Волошин назидательно пробуждает: *«Будь один против всех: молчаливый, тихий и твердый.<...>Толпы не уважай и не бойся// В каждом разбойнике чти распятого в безднах Бога»*.

Последний императив – реминисценция из Леона Блуа. Бесноватость толпы Волошин, со ссылкой на Достоевского, описал еще в первую русскую революцию в статье «Пророки и мстители». Там, цитируя трактат Святого Киприана о приближающемся распаде мира, Волошин приводит его слова: «Жизнь не кончается старостью, она начинается усталостью», что выдает в этом распаде *декаданс*, благо это слово сейчас не коррелирует с затасканным присяжной советской критикой словом *декадентство*.

Андрей Белый в «Начале века» вспоминает первую встречу на собрании будущих теософов с Маргаритой Сабашниковой: «сидела протонченная семнадцатилетняя бледноснежная девушка <...> Вид прелестный, но слабый, извечно надломленный: жизнью до... жизни».

Семнадцатилетие Цветаевой, с ее меланхолией и «надломленной до жизни жизнью» (оставлю исследователям шанс расследовать случай с револьвером, схожий с повешением в Евпатории летом девятьсот шестого года семнадцатилетней Анны Ахматовой, которую «гвоздь в известковой стенке не выдержал») в ее «дококтебельскую эпоху», – предмет возрастной психологии, то есть становления, роста, с учетом, как тогда говорили, обставшей ее действительности, а не патографии, как бы не был велик соблазн привлечь к случаю Цветаевой ученика знаменитого Чезаре Ломброзо, авто-

ра очень известной в начале века книги «Вырождение» Макса Норда, вместо Макса Волошина.

«Неврастения вовсе не болезнь, вовсе не признак вырождения, – писал Волошин, – это мучительное состояние духа, беременного новыми силами. Как только эти силы находят себе исход – неврастения прекращается и мнимая болезнь превращается в новое здоровье. Наш век болен неврастенией. Новые условия жизни, в которых оказался человек в теперешних городах, страшная интенсивность переживаний, постоянное напряжение ума и воли, острота современной чувственности создали то ненормальное состояние духа, которое выражается эпидемией самоубийств <...>».

В год знакомства Цветаевой и Волошина Зигмунд Фрейд организовал симпозиум по самоубийству и подтолкнул его к этому серийный подростковый суицид...

Знакомство Цветаевой с Волошиным биографы датируют первым декабря девятьсот десятого года. В одном из писем того времени Аделаида Герцык писала: «Макс <...> утонул с головой в «Мусагете» – новое молодое издательство в Москве с Андреем Белым во главе – бывает у них на академических вечерах. Где изучаются все тонкости стихосложения, на диспутах и т. д.». В письме Герцык есть прямое свидетельство об их совместном с Волошиным посещении издательства: «Когда мы были в «Мусагете», – писала она Волошину, – я забыла там сверток <...>».

Самого Андрея Белого, организовавшего в «Мусагете» в апреле десятого года ритмический кружок, который он вел до конфликта с фактическим руководителем издательства Метнером, в тот день Москве не было: он с Асей Тургеневой путешествовал.

Посвященное сестрам Тургеневым цветаевское стихотворение «Осужденные», написанное осенью десятого года, говорит о ее уже к тому времени начавшейся дружбе со спутницей Андрея Белого.

Об участии Марины Цветаевой в кружковой жизни «Мусагета» оставил свидетельство Петр Никанорович Зайцев: «Кружок работал под общим руководством Андрея Белого над теорией стиха, занимался исследованиями ритма русских поэтов и вел правильную кружковую работу, собираясь еженедельно для сообщений и докладов о работе членов. Кружком велась также работа по изучению творчества французских символистов, а отдельные члены кружка занимались переводами стихов из изучаемых поэтов. Эта работа велась под руководством Эллина, прочитавшим в кружке целый курс по Бодлеру.

Кружок работал также над теорией символизма и ставил общие вопросы искусства. В этот кружок вхо-



дили: Ю. Анисимов, Н. Асеев, С. Бобров, С. Дурылин, П. Зайцев, С. Клычков, Б. Пастернак, Дм. Рем, С. Рубанович, А. Сидоров, В. Станевич, М. Цветаева, С. Шенрок и др. Из более известных тогда поэтов там бывали: Борис Садовской (*не там ли М. Волошин написал Садовскому в «дар возникающей дружбы» первого декабря десятого года свой первый сборник, что ставит под сомнение, в некоторой степени, тогда же написанный сборник еще и Марине Цветаевой.* – Б. Г.), С. Соловьев и В. Ходасевич. Кружок существовал до тринадцатого года».

Марина Цветаева упоминает также и студию скульптора Крахта, где собиралась молодежь «Мусагета». По субботам в «Мусагете» вел теософский курс Эллис, который, скорее всего, и привел Марину Цветаеву в издательство, выпустившее ее «Вечерний альбом», сама она в этой связи упоминает еще и Нилендера.

Думается, что на первых порах Максимилиан Волошин в восприятии Цветаевой стоял в ряду старших ее товарищей по «Мусагету». Говоря об их отношениях, пишущие считают непременно подчеркнуть разницу в возрасте, якобы это уже само по себе говорит о чем-либо... О чем? О притягательности. Не имевшая подруг среди сверстниц Марина делает шаг навстречу самой взрослой из гимназисток Радугиной после урока, темой были Нибелунги. На встрече та изрекла, что в тридцать лет Кримхильда «ist schon ganz alt geworden» (состарилась). За этим эпизодом – тень Шиллеровского дон Карлоса: «Двадцать три года! И ничего не сделано для бессмертия...».

Кого выбирала гимназистка Марина Цветаева? Нилендер был старше ее почти на десять лет, Эллис – на тринадцать, Волошин – на пятнадцать, Аделаида Герцык – на восемнадцать, Тамбурер – на двадцать два.

А порыв сестер Цветаевых четырнадцатого года навстречу Розанову: «Милый, милый Василий Васильевич <...> Сейчас мы с Асей шли по главной улице Феодосии – Итальянской – и возмущались, почему Вы не с нами. Было бы так просто и так чудно идти втроем и говорить, говорить без конца. <...> Ах, как я Вас люблю и как дрожу от восторга, думая о нашей первой встрече в жизни – может быть неловкой, может быть нелепой, но настоящей. Какое счастье, что Вы не родились двадцатью годами раньше, а я – не двадцатью позже! Послушайте, Вы сказали о Марии Башкирцевой то, чего не сказал никто. А Марию Башкирцеву я люблю безумно, с безумной болью. Я целые два года жила тоской о ней. Она для меня так же жива, как я сама. О чем Вам писать. Хочется все сказать сразу. Ведь мы не делились двадцать один год – мой возраст. А я помню себя с двух?»

Не таким ли был порыв самого гимназиста Розанова к Аполлинарии Сусловой, что было далее – хорошо известно. «Люди ошибаются, – писала в письме к Людмиле Чириковой в двадцать втором году Марина Цветаева, – когда что-либо в человеке объясняют возрастом: человек рождается ВЕСЬ! Заметьте, до чего мы в самом раннем возрасте и – через года и года! – одинаковы, любим все то же. Какая-то непреходящая невинность. Но люди замутняют, любовь замутняет, в двадцать лет думаешь: новая душа проснулась! – нет, просто старая праматерина Евина плоть. А потом это проходит, и в шестьдесят лет ты под небом все тот же – все та же – что в шесть лет. (Мне сейчас – шестьсот!)». Анна Минцлова, характеризуя в разговоре с Максимилианом Волошиным Рудольфа Штейнера, обронила как-то: «ему, может быть, двадцать пять лет, а может, и двести пятьдесят... он все знает».

«Шестисотлетняя» Цветаева просто гимназистка, утро жизни, и как далеко ей до «нездешнего вечера»... «Когда видишь Кузмина в первый раз, – писал Максимилиан Волошин об античном возрасте Кузмина, – то хочется спросить его: «Скажите откровенно, сколько вам лет?», но не решаешься, боясь получить в ответ: «Две тысячи».

«Безумная боль» Марины Цветаевой, как она назвала в письме к Василию Розанову свою любовь к Марии Башкирцевой, «живой» для нее так же, как сама Цветаева, – это боль «безумной души», которая «металась и кипела, развитием спеша», свершившей «свой подвиг прежде тела» (Е. Боратынский). Истинный возраст души «шестисотлетней» Цветаевой «знающий», по ее утверждению, Максимилиан Волошин определил точно и сразу – от его «всевидающего ока» не скроешь, иначе не было бы волошинской рецензии на первую ее книгу, посвященную, как известно, Марии Башкирцевой.

Образ героини «Вечернего альбома», с его инфантильно-инфернальной (Inferno – по Данту, не по Гоголю) образностью, с мольбой о смерти «в семнадцать лет» – собирательный, в том смысле, что он вобрал в себя черты как самого автора, так и того, кому он посвящен. В имеющемся у меня восьмьсотстраничном англоязычном издании книги Симоны де Бовуар «Второй пол», на обложке которого значится: «классический манифест освобожденной женщины», двенадцать страниц со ссылками на Марию Башкирцеву, чаще упоминается только Колетт – «феминистская икона» и организатор (с З. Фрейдом) психо-аналитического общества – Вильгельм Штекель.

«Каждая встреча начинается с ошущи, – писала Цветаева в воспоминаниях о Волошине, – люди идут сле-



пую, и нет, по мне, худших времен – любви, дружбы, брака – чем пресловутых первых времен. Не худших времен, а более трудных времен, более смутных времен».

Ощупь есть функция руки. Волошин научил Цветаеву «открытому» рукопожатию (интерперсональность). «О, почему за дарами / К Вам потянулась рука?» (М. Цветаева). Рука судьбы: «Чьи прохладно-ласковые пальцы / В темноте мне трогают виски?» Рука и судьба: «И раздвоенье линий воли / Сказало мне, что ты как я, / Что мы в кольце одной неволи – / В двойном потоке бытия. / И если суждены нам встречи: / (Быть может, топоты погонь?) / Я полюблю не взгляд, не речи, / А только бледную ладонь» – из первых волошинских посланий – Цветаевой.

«Все знают, что Макс был убежденным “хиромантом”. И большинство друзей Макса настойчиво просили его посмотреть линии их ладоней, “погадать”. Но Макс очень редко соглашался. И я тоже как-то обратился к нему с той же просьбой. Но Макс молчаливо уклонился. И я больше не надоедал ему. Однако несколько раз я был свидетелем, как Макс, согласившись на просьбу, у кого-нибудь “смотрел ладонь”. И у меня создалось впечатление, что это для него не так просто, что такое “гадание” для Макса связано со своего рода «медитативным напряжением», – вспоминал Лев Фейнберг.

Что увидел в линиях цветаевской ладони Волошин? – ВСЕ, как на ладони. Как и в лице жены, все-таки обретенной им в «зрящем сумраке» после ухода Маргариты Сабашниковой: «Весь жемчужный окоём / Облаков, воды и света / Ясновиденьем поэта / Я прочёл в лице твоём».

Физиогномику, хиромантию, френологию (Волошин «срывает» «чепчик черный», чтоб увидеть форму черепа М. Цветаевой) «знающий» Волошин знал из Первых Рук: «В пещере Твоих ладоней / Маленький огонёк – / Я буду пылать иконней... / Не Ты ли меня зажжёшь?»; смиренней бедного титулярного советника Акакия Акакиевича, не для того, чтобы остаться в столетиях Фомой Опискиным, позволил я себе заменить здесь строчные буквы – на заглавные, а с одной лишь целью – показать, что эти строки «Оттуда», как сказано в волошинском послании о первой книге Цветаевой.

В развитие цветаевской метафоры о Волошине – «последнем смазчике», не потому, что он в качестве инженера на стыке столетий в год его «духовного рождения» участвовал в изысканиях по прокладке железнодорожной линии Оренбург – Ташкент, и не потому, что было высечено зубилом в сознании советских читателей (псевдоним Юрия Олеши в «Гудке» – Зубило):

писатели – «инженеры человеческих душ», скажу: Волошин не просто инженер, а линейный инженер. Линия для него – знак идеографический (Павел Флоренский).

Я не сторонник демифологизации «мифотворчества» как Максимилиана Волошина, так и Марины Цветаевой, с позиций обывательского здравого смысла, не признающего затемненного «авгурского» (Юрий Тынянов) языка, понять и принять который, как общепотребительный, простонародный, не просто.

Сергей Аверинцев в исследовании о Вячеславе Иванове делает такое замечание: «Что касается тайн биографии поэта, связанных с его метафизическими интуициями, то они входят в компетенцию историка литературы лишь в качестве топики текстов самого Вяч. Иванова, и притом на равных правах со всякой иной топикой. Не попусти Господь исследователю вообразить себя духовидцем; не может быть ничего конфузнее».

Не менее конфузны и позиция «очевидца»-исследователя, когда он пишет о духовидце-писателе и тайное представляет, как явное, очевидное.

С учетом литературных особенностей того времени, видимо, есть смысл принять и его разделение: на *эзотерическое* и *экзотерическое*. Волошин однажды употребил понятие *денигрирование* – скорее всего произведенное им от французского – *denigreur* – принижать: «Денигрирование. Переведение высших понятий на площадной язык» – в тексте у Волошина.

Общеизвестна, например, Афродита площадная, и у себя в Коктебеле Волошин мог позволить себе травестию, вроде «На берегах Эгейских вод / Белье стирала Навзикая...» с ее упоминанием. Но то с заведомо игровой целью, отличить которую в подтекстах и двусмысленностях волошинского двоемирия от всех остальных, далеко не бурлескных, все-таки можно. Что искал Волошин в линиях цветаевской ладони? Ответ стал очевидным к зиме тринадцатого года:

Но не чужую, а свою
Судьбу искал я в снах бездомных
И жадно тил от токов тёмных,
Не причащаясь бытию.
И средь ладоней неисчётных
Не находил ещё такой,
Узор которой в знаках чётных
С мой бы совпадал рукой.

В день, когда возникли эти строки, Майя Кудашева писала Волошину: «Правда, что Вы любите меня больше Марины?» О Кудашевой у Волошина сказано ясно: «мираж, иллюзия, обманность...» – одним словом –



маи, но и Марина, его «несвершенная надежда», никогда не ставшая «Она».

В начертанном волошинской рукой плане цикла «Блуждания» очевидность ненахождения, несвершения проступает уже из композиционной последовательности, линейности несовпадения (*«В мирах любви, – неверные кометы, – / Закрыт нам путь проверенных орбит»*) и было бы лукавством умолчать, что Маринин черед наступил вслед за Черубиной, что встреча с Цветаевой произошла через год после дуэли с Гумилевым, кстати, закончилась она гибелью, один из дуэлянтов взял бы на себя грех убийства, а другой – самоубийства. Успевший покаяться и причаститься перед смертью бретер Пушкин не осознавал этого, когда писал: *«Всё, всё, что гибелью грозит, / Для сердца смертного таит / Неизъяснимы наслажденья»*.

Та же воля к смерти, ницшеанская *amor fati*, вела и Лермонтова, не предполагавшего вернуться живым с Кавказа. *«Неисповедимый рок ведёт / Пушкина под дуло пистолета, / Достоевского на эшафот»* (М. Волошин).

«Ведь до того Коктебеля, который Вы знаете, – поверяла Марине Цветаевой Аделаида Герцык, – был другой, с Анной Рудольфовной Минцловой, Маргаритой Васильевной Сабашниковой, Черубиной. И мне кажется – Макс сейчас живет в нем гораздо сильнее, чем в этом». Называя три известных русским антропософам имени, Герцык отнюдь не стремилась предостеречь юную подругу от горького опыта. Волошин сам бережно охранял Цветаеву от «штейнеризации» и в ее видении, до того, как, уже в Праге, она собиралась на лекцию Штейнера («не услышать, так хоть увидеть»), он оставался лицом, похожим на Бодлера, то есть, по ее словам, «дьявола»; на такое восприятие могло оказать влияние бодлерианство и, до известного момента, штейнерианство Эллиса.

«Макс принадлежал другому закону, чем человеческому, и мы, попадая в его орбиту, неизменно попадали в его закон».

Макс сам был планета. И мы, крутившиеся вокруг него, в каком-то другом, большом круге, крутились совместно с ним вокруг светила, которого мы не знали. Макс был знающий. У него была тайна, которой он не говорил. Это знали все, этой тайны не узнал никто. <...> Не знаю, сумел ли бы он сам ее назвать <...>

Объяснять эту тайну принадлежностью к антропософии или занятиями магией – не глубоко. Я много штейнерианцев и несколько магов знала, и всегда впечатление: человек – и то, что он знает; здесь же было единство. Макс сам был эта тайна, как сам Рудольф Штейнер – своя собственная тайна (тайна собственной силы), не оставшаяся у Штейнера ни в писаниях, ни в

учениках, у Макса Волошина, – ни в стихах, ни в друзьях, – самотайна, унесенная каждым в землю», – писала Марина Цветаева.

В объемном исследовании Николая Богомолова «Русская литература начала XX века и оккультизм» имя Цветаевой не упомянуто ни разу.

До встречи с Цветаевой Волошин не измышлял в любви «темные восторги расставанья» вместо «радости встреч» – это его горький опыт, или, по названию посвященного Маргарите Сабашниковой цикла, *amori amarae sacrum*, – хотя вымысел в любви у Волошина, как и у Цветаевой, провиденциален. «Макс в жизни женщин и поэтов был *providentiel*», – говорит Цветаева.

Биограф Цветаевой Анна Саакянц писала, что «Жизнью Марины Цветаевой, с детства и до кончины, правил воображение. Воображение, взросшее на книгах».

Думаю, что вела Цветаеву все-таки судьба, а «книжное» воображение, действительно, ее влекло. По словам Елены Блаватской, «воображение не следует смешивать с фантазией, так как она является одной из послушных сил высшей Души и памятью о предшествовавших воплощениях». Книжница Марина Цветаева, напротив флоровских строк о том, что любовь питается воображением и не зависит от своего объекта, сделала на полях помету: «Paroles de M. A. W – n, Le 20 Dec. 1910», «слова М. А. Волошина, 20 декабря 1910». В этот день, предположительно, Волошин был у Цветаевых и познакомился с Мариной сестрой Асей.

Роковым вымыслом в цветаевской судьбе стал Сергей Эфрон, обретенная Мариной земная тень: *«О, почему не у тени / Я попросила мечты?»*

*И опять пред Тобой я склоняю колени,
В отдаленье завидев Твой звёздный венец.
Дай понять мне, Христос, что не все только тени,
Дай не тень мне обнять, наконец!*

Осень 1910, Москва

История Марины Цветаевой в линейной последовательности от Тарусы до Коктебеля обозначена ею в письме к Волошину: «Слушай мою историю: если бы Драконочка не сделалась зубным врачом, она бы не познакомилась с одной дамой, которая познакомила ее с папой; я бы не познакомилась с ней, не узнала бы Эллиса, через него не узнала бы Нилендера, не напечатала бы из-за него сборника, не познакомилась бы из-за сборника с тобой, не приехала бы в Коктебель, не встретила бы с Сережей».

В Коктебель они приехали в один день: пятого мая одиннадцатого года...

«Дорога на Паршино, дале – к Тарусе...»

Белла АХМАДУЛИНА

ТАРУСА

Марине Цветаевой

I

Какая зелень глаз вам свойственна, однако...
И тьмы подошв – такой травы не изомнут.
С откоса на Оку вы глянули когда-то:
на дне Оки лежит и смотрит изумруд.

Какая зелень глаз вам свойственна, однако...
Давно из-под ресниц обронен изумруд.
Или у вас – ронять в Оку и в глушь оврага
есть что-то зеленой, не знаю, как зовут?

Какая зелень глаз вам свойственна, однако...
Чтобы навек вселить в пространство изумруд,
вам стоило взглянуть и отвернуться: надо
спешить, уже темно и ужинать зовут.

II

Здесь дом стоял. Столетие назад
был день: рояль в гостиной водворили,
ввели детей, открыли окна в сад,
где ныне лют ревнитель викторины.

Ты победил. Виктория – твоя.
Вот здесь был дом, где ныне танцплощадка,
площадка-танц, иль как её... Видна
звезда небес, как бред и опечатка

в твоём дикоязычном букваре.
Ура, ты победил, недаром злился
и морщил лоб при этих – в серебре,
безумных и недремляющих из гипса.

Дом отдыха – и отдыхай, старик.
Прости меня. Ты не виновен вовсе,
что вижу я, как дом в саду стоит
и музыка витает окон возле.

III

Морская – так иди в свои моря!
Оставь меня, скитайся вольной птицей!
Умри во мне, как в мире умерла,
темно и тесно быть твоей темницей.

Мне негде быть, хоть всё это – моё.
Я узнаю твою неблагоприятность
к тому, что спёрто, замкнуто, мало.
Ты – рвущийся из душной кожи лотос.

Ступай в моря! Но коль уйдёшь с земли,
я без тебя не уцелею. Разве –
как чешуя, в которой нет змеи:
лишь стройный воздух, выющийся
в пространстве.

IV

Молчали той, зато хвалима эта.
И то сказать – иные времена:
не вняли крику, но целуют эхо,
к ней опоздав, благословив меня.

Зато, её любившие, брезгливы
ко мне чернила, и тетрадь гола.
Рак на безрыбье или на безглыбье
пригорок – вот вам рыба и гора.

Людской хвале внимая, разум слепнет.
Пред той потупясь, коротаю дни
и слышу вдруг: не осуждай за лепет
живых людей – ты хуже, чем они.

Коль нужно им, возглыбься над низиной
их бедных бед, а рыба немота
не есть ли крик, неслышимый, но зримый,
оранжево запекшийся у рта.

Пейзажи Тарусы художника Бориса Мессерера.
Акварель







V

Растает снег. Я в зоопарк схожу.
С почтением и холодком по коже
увиджу льва и: – Это лев! – скажу.
Словечко и предметище не схожи.

А той со львами только веселей!
Ей незачем заискивать при встрече
с тем, о котором вымолвит: – Се лев. –
Какая львиность норова и речи!

Я целовала крутолобье волн,
просила море: – Притворись водою!
Страшусь тебя, словно изгнали вон
в зыбь вечности с невнятной звездой.

Та любит твердь за тернии пути,
пыланью брызг предпочитает пыльность
и скажет: – Прочь! Мне надобно пройти.
И вот проходит – море расступилось.

VI

Как знать, вдруг – мало, а не много:
невхожести в уют, в приют
такой, что даже и острога
столь бесприютным не дают;

мгновения: завидев Блока,
гордыней скул порозоветь,
как больно смотрит он, как блёкло,
огромную приема весть
из детской ручки;

ручки этой,
в страданье о которой спишь,
безумием твоим одетой
в рассеянные грёзы спиц;

расчёта: властью никакою
немыслимо пресечь твою
гортань и можно лишь рукою
твоею, –

мало, говорю,
всего, чтоб заплатить за чудный
снег, осыпавший дом Трёхпрудный,

и пруд, и труд коньков нетрудный,
а гений глаза изумрудный
всё знал и всё имел в виду.

Две барышни, слетев из детской
светёлки, шли на мост Кузнецкий
с копейкой удалой купечкой:
Сочельник, нужно наконец-то
для ёлки приобрести звезду.

Влекла их толчея людская,
пред строгим Пушкиным сникая,
от Елисеева таская
кульки и свёртки, вся Тверская –
в мигании, во мгле, в огне.

Всё время важно и вельможно
шёл снег, себя даря и множа.
Серёжа, поздно же, темно же!
Раз так пройти, а дальше – можно
стать прахом неизвестно где.

ВОЗВРАЩЕНИЕ В ТАРУСУ

Пред Окой преклонённость земли
и к Тарусе томительный подступ.
Медлил в этой глубокой пыли
стольких странников горестный посох.

Нынче май, и растёт желтизна
из открытой земли и расщелин.
Грустным знаньем душа стеснена:
этот миг бытия совершенен.

К церкви Бёховской ластится глаз.
Раз ещё оглянусь – и довольно.
Я б сказала, что жизнь – удалась,
всё сбылось и нисколько не больно.

Просьбы нет у пресыщенных уст
к благолепию цветущей равнины.
О, как сир этот рай и как пуст,
если правда, что нет в нём Марины.



ЛАДЫЖИНО

Владимиру Войновичу

Я этих мест не видела давно.
Душа во сне глядит в чужие края
на тех, моих, кого люблю,
кого у этих мест и у меня – украли.

Душе во сне в Баварию глядеть
досуга нет – но и вчера глядела.
Я думала, когда проснулась здесь:
душе не внове будет взмыв из тела.

Так вот на что я променяла вас,
друзья души, обобранной разбоем.
К вам солнце шло. Мой день вчерашний гас.
Вы – за Окой, вон там, за тёмным бором.

И ваши слёзы видели в ночи
меня в Тарусе, что одно и то же.
Нашли меня и долго прочь не шли.
Чем сон нежней, тем пробужденье строже.

Вот новый день, который вам пошлю –
оповестить о сердца разрыванье,
когда иду по снегу и по льду
сквозь бор и бездну между мной и вами.

Так я вхожу в Ладыжино. Просты
черты красы и бедствия родного.
О, тётя Маня, смилуйся, прости
меня за всё, за слово и не-слово.

Прогорк твой лик, твой малый дом убог.
Моих друзей и у тебя отняли.
Всё слышу: «Не печалься, голубок».
Да мочи в сердце меньше, чем печали.

Окно во снег, икона, стол, скамья.
Ад глаз моих за рукавом я прячу.
«Ах, ангел мой, желанная моя,
не плачь, не сетуй».
Сетую и плачу.

ДРУГ СТОЛБ

Георгию Владимову

В апреля неделю худую, вторую,
такую тоскою с Оки задувает.
Пойду-ка я через Пачёво в Тарусу.
Там нынче субботу народ затекает.

Вот столб, возглавляющий путь на Пачёво.
Балетным двуножеством упершийся в поле,
он стройно стоит, помышляя о чём-то,
что выше столбам уготованной роли.

Воспет не однажды избранник мой давний,
хождений моих соглядатай заядлый.
Моих со столбом мимолётных свиданий
довольно для денных и ночных занятий.

Все вёрсты мои сосчитал он и звёзды
вдоль этой дороги, то выюжной, то пыльной.
Друг столб, половина изъята из вёрстки
метелей моих при тебе и теплыней.

О том не кручинюсь. Я просто кручинюсь.
И коль не в Тарусу – куда себя дену?
Какой-то я новой тоске научилась
в худую вторую апреля неделю.

И что это – вёрстка? В печальной округе
нелепа обмолвка заумных угодий.
Друг столб, погляди, мои прочие друзья –
вон в той стороне, куда солнце уходит.

Последнего вскоре, при аэродроме,
в объёме на миг у судьбы уворую.
Все силы устали, все жилы продрогли.
Под клики субботы вступаю в Тарусу.

Всё это, что жадно вспомню я после,
заране известно столбу-конфиденту.
Сквозь слёзы смотрю на пачёвское поле,
на жизнь, что продлилась ещё на неделю.

Уж Сириус возголубел над долиной.
Друг столб о моём возвращенье печётся.
Я, в радости тайной и неодолимой,
иду из Тарусы, минуя Пачёво.



БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Всё началось далёкою порой,
в младенчестве, в его начальном классе,
с игры в многозначительную роль: быть Мусею,
любимой меньше Аси.

Бегом, в Тарусе, босиком, в росе,
без промаха – непоправимо мимо,
чтоб стать любимой менее, чем все,
чем всё, что в этом мире не любимо.

Да и за что любить её, кому?
Полюбит ли мышинный сброд умишек
то чудище, несущее во тьму
всеведенья уродливый излишек?
И гот изящный звездочёт искусств
и счетовод безумств витиеватых
не зря не любит излученье уст,
пока ещё ни в чем не виноватых.

Мила ль ему незваная звезда,
чей голосок, нечаянно, могучий,
его освобождает от труда
старательно содеянных созвучий?

В приют её – меж грязью и меж льдом!
Но в граде чернокаменном, голодном,
что делать с этим неуместным лбом?
Где быть ему, как не на месте лобном?
Добывшая двугорбием ума
тоску и непомерность превосходства,
она насквозь минует терема
всемирного бездомья и сиротства.

Любая милосердная сестра
жестокосердно примирится с горем,
с избытком рокового мастерства –
во что бы то ни стало быть изгоем.

Ты перед ней не виноват, Берлин!
Ты гнал её, как принято, как надо,
но мрак твоих обоев и белил
ещё не ад, а лишь предместье ада.

Не обессудь, божественный Париж,
с надменностью ты целовал ей руки,
но всё же был лишь захолустьем крыш,
провинцией её державной муки.

Тягаться ль вам, селения беды,
с непревзойдённым бедствием столицы,
где рыщет Марс над плесенью воды,
тревожа тень кавалерист-девицы?

Затмивший золотые города,
чернеет двор последнего страдания,
где так она нища и голодна,
как в высшем средоточье мироздания.

Хвала и предпочтение молвы
Елабуге, пред прочею землёю.
Кунсткамерное чудо головы
изловлено и схвачено петлёю.

Всего-то было – горло и рука,
в пути меж ними станет звук строкою,
и смертный час – не больше, чем строка:
всё тот же труд меж горлом и рукою.

Но ждать так долго! Отгибая прядь,
поглядывать зрачком – красна ль рябина,
и целый август вытерпеть?
О, впрямь ты – сильное чудовище, Марина.

* * *

В.Е. Борисову-Мусатову

Воздух августа: плавность усад и услуг.
Положенье души в убывающем лете
схоже с каменным мальчиком¹, тем, что уснул
грациозней, чем камни, и крепче, чем дети.

Так ли спит, как сказала? Пойду и взгляну.
Это близко. Но трудно колени и локти
провести сквозь дрожащую в листьях луну,
сквозь густые, как пруд, сквозь холодные флоксы.

Имя слабо, но воля цветка такова,
что навяжет мотив и нанижет подробность.
Не забыть бы, куда я иду и когда,
вперив нюх в самовластно взрослеющий образ.

Сквозь растения, сквозь хлесткую чашу воды,
принимая их в жабры, трудясь плавниками,
продираюсь. Следы мои возле звезд
на поверхности ночи взошли пузырьками.

¹ «Каменный мальчик» – надгробие на могиле художника Борисова-Мусатова – *Ред.*



* * *

Однажды, покачнувшись на краю
всего, что есть, я ощутила в теле
присутствие непоправимой тени,
куда-то прочь теснившей жизнь мою.

Никто не знал, лишь белая тетрадь
заметила, что я задула свечи,
зажжённые для сотворенья речи, —
без них я не желала умирать.

Так мучилась! Так близко подошла
к скончанью мук! Не молвила ни слова.
А это просто возраста иного
искала неокрепшая душа.

Я стала жить и долго проживу.
Но с той поры я мукою земною
зову лишь то, что не воспето мною,
всё прочее — блаженством я зову.



* * *

Борису Мессереру

Как никогда, беспечно и добра,
я выпила в снег арбатского двора,
а там такое было: там светало!
Свет расцветал сиреневым кустом,
и во дворе, недавно столь пустом,
вдруг от детей светло и тесно стало.

Ирландский сеттер, резвый, как огонь,
затылок свой вложил в мою ладонь,
щенки и дети радовались снегу,
в глаза и губы мне попал снежок,
и этот малый случай был смешон,
и всё смеялось и склоняло к смеху.

Как в этот миг любила я Москву
и думала: чем дольше я живу,
тем проще разум, тем душа свежее.
Вот снег, вот дворник, вот дитя бежит —
всё есть и воспеванью подлежит,
что может быть разумней и священней?

День жизни, как живое существо,
стоит и ждёт участия моего,
и воздух дня мне кажется целебным.
Ах, мало той удачи, что — жила,
я совершенно счастлива была
в том переулке, что зовётся Хлебным.



НОВАЯ ТЕТРАДЬ



Смущаюсь и робею пред листом
бумаги чистой.
Так стоит паломник
у входа в храм.
Пред девичьим лицом
так опытный потупится поклонник.

Как будто школьник, новую тетрадь
я озираю алчно и любовно,
чтобы потом пером её терзать,
марая ради замысла любого.

Чистописанья сладостный урок
недолог. Перевёрнута страница.
Бумаге белой нанесён урон,
бесчинствует мой почерк и срамится.

Так в глубь тетради, словно в глубь лесов,
я безрассудно и навечно кану,
одна среди сияющих листов
неся свою ликующую кару.

Дорога на Паршино, дале – к Тарусе,
но я возвращаюсь вспять ветра и звёзд.
Движенье моё прижилось в этом русле
длиною – туда и обратно – в шесть вёрст.

Шесть множим на столько, что ровно несметность
получим. И этот туманный итог
вернём очертаньям, составившим местность
в канун её паводков и поволок.

Мой ход непрерывен, я – словно течение,
чей долг – подневозльно влачиться вперёд.
Небес близлежащих ночное значенье
мою протяжённость питает и пьёт.

Я – свойство дороги, черта и подробность.
Зачем сочинитель её жития
всё гонит и гонит мой робкий прообраз
в сюжет, что прочней и пространней, чем я?

Близ Паршина и поворота к Тарусе
откуда мне знать, сколько минуло лет?
Текущее вверх, в изначальное устье,
всё странствие длится, а странника – нет.



Быть посему: оставьте мне
закат вот этот за-калужский,
и этот лютик золотушный,
и этот город захолустный
пучины схлынувшей на дне.

Нам преподносит известняк,
придавший местности осанки,
стихии внятные останки,
и как бы у её изнанки
мы все нечаянно в гостях.

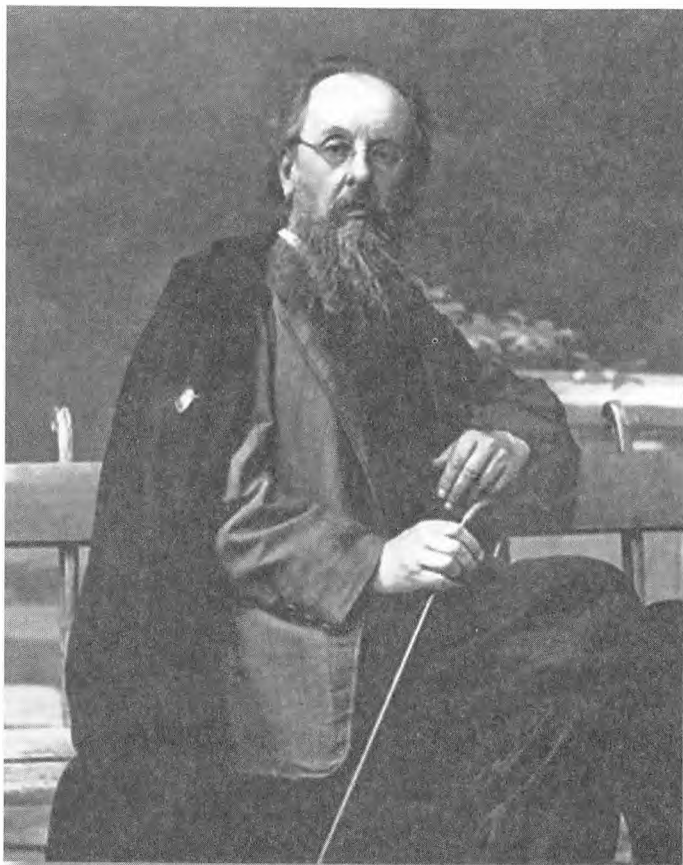
В блеск перламутровых корост
тысячелетия рядились,
и жабы жадные трудились,
и обитала нелюдимость
вот здесь, где площадь и киоск.

Не потому ли на Оке
иные бытия расценки,
что все мы сведущи в рецепте:
как, коротая век в райцентре,
быть с вечностью накоротке.

Мы одиноки меж людьми.
Надменно наше захуданье.
Вы – в этом времени, мы – дале.
Мы утонули в мирозданье
давно, до Ноевой ладьи.

«Т.С.» ПРЕДСТАВЛЯЕТ

«Мы с ним повстречались в далёком "когда-то" ...»



Лидия КАННИНГ

«Мы с ним повстречались в далёком «когда-то»,
как будто влекло нас тропкою единой,
как будто свидетелем и секундантом
я был приглашён на его поединок.

Булат Окуджава.

Из посвящения

К.Э. Циолковскому

подружилась с Некрасовыми. В это же самое время к ним приходила в гости Лидия Георгиевна Каннинг, которая тоже вернулась из ссылки и вечерами читала воспоминания о своем муже и его дружбе с Циолковским.

«Мой муж, Павел Павлович Каннинг, познакомился с Константином Эдуардовичем совершенно неожиданно.

Он рано лишился отца и его чуткой и заботливой воспитательницей стала мать Елизавета Семеновна. Знакомые устроили ее на службу в управление Сызрано-Вяземской железной дороги. В то время она была единственной женщиной, которая служила в учреждении.

Мальчик учился в Калужской Николаевской гимназии. В пятом классе на уроке физики он узнал от преподавателя, что в Калуге, на окраине города живет учитель физики и математики Константин Эдуардович Циолковский, который занимается изобретением дирижаблей. Сам он самоучка, интересуется воздухоплаванием. Много работает. Но его не признают, и мало о нем кто знает.

Маленький гимназист решил лично познакомиться с ним, так как воздухоплавание интересовало его.

После уроков он отправился прямо на квартиру Константина Эдуардовича. Долго ходил около дома, не решаясь позвонить. Наконец, собрался с духом и дернул ручку звонка.

Вышел симпатичный, статный человек и, отворяя дверь, спросил:

— В чем дело, молодой человек?

Павел смущенно объяснил, что привело его сюда.

Эти записки передала мне Вера Петровна Некрасова — бывшая учительница французского языка, «старая калужанка», как она себя называла. Она жила вместе с сестрой Варварой Петровной в маленьком домике с палисадником, где росли метиолы. Варвара Петровна давала уроки музыки детям. Каждый вечер их навещал брат Александр Петрович, который жил отдельно. Соседи ласково называли их «петушок и курочки». Они были совестью для всех знакомых. Всегда помогали, чем могли, постоянно кого-то опекали и хлопотали то о водопроводе, то о ремонте музея, то о постройках, чтобы не портили вид города.

В шестидесятые годы в Калуге после возвращения из ссылки часто жила моя мама, художница Ева Павловна Левина-Розенгольц. Она сблизилась и



Тогда Константин Эдуардович предложил пройти к нему наверх. Там он радушно усадил гостя в кресло, стал расспрашивать его, рассказывать о себе, о том, как много работает в одиночестве, как любит свою профессию и детей, с которыми занимается.

Время шло незаметно. Вдруг мальчик вспомнил, что дома его ждут.

Пожимая на прощание руку, Константин Эдуардович сказал:

– Я рад, что вы с таким интересом и вниманием слушали меня, не задавая праздных вопросов. Заходите ко мне почаще, я вам еще многое расскажу о своих исканиях – воздухоплавание меня интересовало с детства. Вижу, что вы серьезный юноша и это радует. Не извиняйтесь, пожалуйста, хорошо, что вы преодолели робость и зашли. Быть может, мы будем и большими друзьями. До свиданья.

И дверь закрылась.

Павел долго не мог опомниться. Такой большой человек и так просто, приветливо встретил его, юнца.

Домой он летел как на крыльях.

Вот так состоялась первая встреча Павла Каннинга с Циолковским. Это было в 1893 году.

И мальчик, и учитель скоро подружились, несмотря на большую разницу лет.

Циолковскому требовались большие денежные средства, а их не было. Павел же мечтал помочь своему другу.

По совету друзей матери он экстерном сдал экзамен на звание провизора при Московском университете. Получив диплом, вернулся в Калугу и открыл аптекарский магазин.

В фондах музея Циолковского хранится визитная карточка Каннинга, отпечатанная тем же шрифтом, что и карточка ученого. На ней значится: «Павел Павлович Каннинг. Ассистент К. Э. Циолковского».

Мама рассказывала, что Павел Павлович был потомком настоящего английского лорда, влюбившегося в местную барышню и навсегда оставшегося в Калуге. К сожалению, я не помню подробностей этой истории, но по всему видно, что Каннинги были большими романтиками.

Надеюсь, что эти записки – память о времени и людях – будут интересны читателю.

Елена ЛЕВИНА

От автора воспоминаний

В 1957 году я познакомилась с С. И. Самойловичем, начавшим тогда тщательно собирать биографические сведения о Константине Эдуардовиче Циолковском.

Он сам разыскал меня, чтобы выяснить многие обстоятельства из жизни Циолковского, близко связанного с нашей семьей в тяжелые для ученого годы.

Между нами установилась длительная переписка, в процессе которой писатель задавал мне ряд вопросов по мере розыска им архивных документов; я же старалась возможно точнее на них ответить.

Стала вспоминать о днях давно минувших, и в результате удалось восстановить в памяти некоторые факты из жизни Константина Эдуардовича.

Эти краткие воспоминания и представляют собой материал из многих моих писем к С. И. Самойловичу, что и обусловило характер их изложения. Они касаются тех лет жизни Циолковского, которые менее всего освещены в биографической литературе.

Я знала Константина Эдуардовича с 1906 года по 1928 год (включительно), в дореволюционные и по революционные годы, и видела, что признанный и понятый лишь немногими близкими ему людьми, он все же никогда не терял веры в будущее своего народа,

веры в конечное торжество справедливости и человеческого разума. И понимал, что признание его научно-технических идей по воздухоплаванию и межпланетным сообщениям, как вклада в достижение общечеловеческой цели, становится уже реальностью.

Мой муж Павел Павлович Каннинг – один из многих самых близких его друзей, преклонялся перед гениальностью ученого и был одним из тех, кто понимал и разделял идеи и стремления Циолковского и вкладывал все свои силы и средства для популяризации и осуществления их.

Константин Эдуардович был постоянным гостем в нашей семье. Сейчас, оглядываясь через призму времени назад, я с благодарностью и теплом вспоминаю часы и дни, проведенные в обществе ученого и надеюсь этими записками внести свою долю труда в увековечение памяти дорогих моему сердцу имен: Константина Эдуардовича Циолковского и Павла Павловича Каннинга.

17 сентября 1961 г.

г. Калуга, ул. Суворова,
д. 118, кв. 61



Прогулка по Оке до Угорского моста

У Павла Павловича был необычный пароходик, он сам его сконструировал и о плаваниях на котором мне много рассказывал при наших свиданиях на Кавказе. Было это в девятьсот пятом – девятьсот шестом годах.

На двух больших яликах, скрепленных толстой, скрученной железной проволокой, посередине помещалась каюта с четырьмя окнами и дверью.

Двигатель-мотор, достаточно мощный, устанавливал механик Илья Петрович Доброхотов, прозванный Циолковским «Голубком» за кротость¹.

На пароходике было уютно. В каюте, сверху до пола обитой красивым линолеумом, стоял походный складной стол, а вокруг него – четыре широких фанерных диванчика, прикрепленных к стенкам. Вокруг каюты можно было свободно ходить и даже сидеть на складных стульчиках.

Каюта и машинное отделение были покрыты толстым брезентом, окрашенным в приятный зеленый цвет.

Пароходик ходил вниз по Оке, до самого городка Касимова, что многих удивляло, потому что это было довольно далеко.

Константин Эдуардович очень любил на нем плавать. Вечерами, при возвращении с речной прогулки, по его просьбе Павел Павлович запускал фейерверк собственного изготовления, который доставлял Константину Эдуардовичу и всем присутствующим большое удовольствие.

В восторге по-детски хлопал Циолковский в ладоши, любовался фейерверком: ему нравилась красота и эффективность этого зрелища. Думаю, что, глядя на взлет игрушечных световых ракет, он уже много-много раз примерялся к тому, как путем уточненных вычислений можно будет определить величину заряда, необходимого для полного отрыва от земли уже не световой ракеты, а целого снаряда для межпланетных сообщений.

Во время плавания Константин Эдуардович закусывал и пил чай. Для этой цели имелся маленький, пузатенький медный самоварчик, с оригинальной трубкой, с белой костяной ручкой. Мешочек с углями стоял в машинном отделении. Разжиганием самоварчика занимался всегда «Голубок».

Пароходик стоял у Ципулинской пристани и его караулил ночной сторож, такой симпатичный старичок.

Осенью тысяча девятьсот шестого года, уезжая на Кавказ, Павел Павлович поручил своим двум приятелям – инженерам – Валентину Лалетину и Геннадию

Федосову вытащить пароходик из воды на берег и перевезти его к дому, где он должен был стоять до весны. Вовремя они этого не сделали, пароходик был затерт льдом и погиб. Однажды ночью кто-то вырезал весь линолеум со стен и полов каюты и унес диванчики.

Когда Павел Павлович вернулся домой, уже после нашей свадьбы вместе со мной, то был крайне огорчен разорением своего пароходика, о поездках на котором с Циолковским он так много мне рассказывал. Мечтал покатасть и меня.

Когда же пришла весна и кончился ледоход, Павел Павлович пригласил Илью Петровича и еще одного железнодорожного рабочего, симпатичного, скромного, толкового в работе, помочь перевезти пароходик с берега к дому.

Взяли двух ломовиков, погрузили все и благополучно доставили оба ящика и каюту во двор дома на Никитском переулке.

Двор был большой, чистый, весь заросший зеленой бархатной травкой-муравкой.

Во дворе, с правой стороны, около колодца поставили искалеченный пароходик так, чтобы он никому не мешал. Павел Павлович решил весной один из яликов привести в полный порядок для спуска на реку.

И когда подошло время, выкрасили ялик в голубой, приятный для глаз цвет, весла в красный. Скоро все высохло, ялик свезли на берег и поручили тому же сторожу Ципулинской пристани.

Для этого ялика Павел Павлович приготовил хорошую мачту, выкрасил ее белой краской и собственноручно сшил большой парус.

Все делалось по большому секрету от Константина Эдуардовича.

В один из солнечных дней Павел Павлович на велосипеде поехал к Константину Эдуардовичу и предложил, что если тот будет свободен, то в пять часов дня мы заедем за ним, чтобы обновить новый ялик приятной поездкой вверх по Оке, к Угорскому мосту; в этом месте особенно хороша Угра и красивые берега.

– А какой я приготовил «Буран»*! Вы будете довольны.

Константин Эдуардович был рад неожиданному предложению: такие путешествия он любил.

Быстро вернувшись домой, Павел Павлович сообщил нам о согласии Циолковского ехать с нами. Мы ста-

¹ А брата его, Николая Петровича Доброхотова, Константин Эдуардович прозвал за его большую серьезность «Философом» – Л. К.

* Особый вид фейерверка. – Л. К.



ли готовиться к этой прогулке. Как всегда, напекли любимых пирожков, отварили крутых яиц, спекли печенье, которое Константин Эдуардович называл «мечтой» за его воздушность, а Павел Павлович отправился закупать конфет и взять в лучшей колбасной «Барут» разных сортов колбас, ветчины, сливочного масла, сыру.

Когда все было готово, мы бережно сложили продукты в бумажные пакеты, кулечки и дорожные корзинки. Собрав необходимую посуду, оделись и спустились по Воробьевке к реке.

В поездку с нами отправлялись мои мама, папа и сестра Валентина, тетя Павла Павловича – Варвара Семеновна Парцевская, Лидия Васильевна Авилова, большой друг нашего дома – сестра Бориса Васильевича Авилова; Николай Петрович Доброхотов, Валентин Митрофанович Лалетин, жена его Аделаида Ивановна и Геннадий Васильевич Федосов.

К общему удовольствию, дул попутный ветер. Павел Павлович поставил парус, которым правил сам. «Философ» сел за руль.

Мы быстро доплыли по воде до того места, где стоял домик Константина Эдуардовича и увидели, что тот уже ждет на берегу, приветствуя нас снятой шляпой. Он сразу вошел в ялик и мы отправились дальше.

Воздух был чистый, как будто прозрачный. Константин Эдуардович все время восхищался красивыми пейзажами, был в хорошем настроении, много шутил.

Временами изумительная тишина вдали от города заставляла нас даже хранить глубокое молчание.

В одном месте, по левому берегу Оки, гнали стадо коров и эта картина, на фоне прекрасного приокского пейзажа, напоминала живописные картины известного французского художника Ватто.

Но вот мы пристали к удобному месту у Угорского моста и начали вылезать из ялика, вытаскивать корзинки, кулечки с припасами.

Константин Эдуардович взялся нести печенье и пирожки. Но на одном месте споткнулся и чуть не упал: балансируя руками, в которых были кулечки с печеньем и пирожками, он уронил свою ношу. Однако при помощи «Философа», шедшего рядом с ним, – удержался от падения. Зато «Философ» сам чуть не выронил самоварчик, который всегда во всех прогулках поручался ему.

Конечно, кулечки, падая, разорвались.

Константин Эдуардович растерянно смотрел на нас и на это «крушение». Он так смешно виновато озирался по сторонам и сердился на себя:

– Вот какой я медведь! И как это я так неудачно споткнулся! За это я сам себя накажу, останусь без пи-

рожков, которые так люблю. Уж вы, пожалуйста, простите меня...

Мы все стали его успокаивать: это не беда – пирожки лишь форму потеряли, а вкусными все равно остались.

Видя его большое огорчение, моя мамочка говорила: «Константин Эдуардович, ведь со всяким так может случиться. Ради бога, успокойтесь! Сейчас мы все разложим и с удовольствием и большим аппетитом будем их уничтожать. Посмотрите, как хорошо вокруг!...»

В это время «Голубок», привязывая ялик к большому кусту ивы, поскользнулся и полетел в воду. Это всех рассмешило. Рассмешило потому, что, падая, он так забавно выругался от всего сердца: «Вот черт побрал! Я весь вымок, придется от Вас уйти и посушиться на благодатном солнышке, пока оно еще не ушло».

А Константин Эдуардович, уже успокоившись, сочувственно ему кричал: «Мы оба пострадали. Значит, мы с «Голубком» из всей компании самые грешные. Ну, не досадуйте! Сейчас высохните и будем разжигать самоварчик. И вкусный же будет чай! А потом, когда стемнеет, Павел Павлович нам вызовет соловья. Да, Павел Павлович?».

Дамы стали устраивать импровизированный закусочный стол, развешивать кулечки, пакеты и расставлять посуду.

«Философ» занялся самоварчиком. «Голубок», купавшийся и высохнувший, подошел к брату и стал ему помогать.

А Константин Эдуардович и Павел Павлович пошли в горку, оживленно о чем-то разговаривая.

Когда у нас все было закончено, неожиданно на велосипедах подъехали запоздавшие Лалетин и Федосов с большими чудесными букетами полевых цветов и пакетом разных булочек.

Все были в хорошем, веселом настроении, пели, шутили друг над другом.

Цветы поставили в банки от варенья и наш стол выглядел даже парадно.

Убедившись, что все в порядке, позвали Константина Эдуардовича и Павла Павловича.

Увидев приехавших, стал уже со смехом рассказывать, как он испортил чудесные пирожки.

– Все их смял и сам чуть не упал, но к счастью не в воду, как наш «Голубок». Хорош же был бы я! Поведение мое заслуживает двойки.

Подойдя ближе, Константин Эдуардович ахнул, глядя на стол:

– Посмотрите, как все красиво! И даже цветы поставлены, совсем как в городской квартире. Право, пре-



лестно! Люблю на воздухе, около реки пить чай, он здесь какой-то особенный!

Заходило солнце и вода, озаренная им, была необыкновенно красива со своими перламутровыми перегибами и отраженными в ней причудливыми облаками. Ученый восторгался:

— Какая изумительная картина! Нет, вы взгляните только, какая красота кругом! Какие необыкновенные белоснежные облака, при заходящем солнце, с розовато-желтыми краями! Не хочется расставаться с таким волшебным зрелищем...

Между тем повеяло сыростью. Не успев дойти к ближайшему лесу, где Павел Павлович надеялся вызвать соловья, мы решили отказаться от этого удовольствия. И все стали, с большим сожалением, собираться в обратный путь.

Было грустно, что этот день кончается.

Павел Павлович с «Философом» и «Голубком» пошли вперед, чтобы подготовить фейерверк, а мы, собрав посуду в корзиночки, вошли в ялик последними.

Удобно разместились, и ялик медленно поплыл вниз по реке.

Начало смеркаться, и Павел Павлович стал пускать фейерверк.

Было так красиво, когда высоко в небе разрывались «Римские свечи» и «Бураки» и рассыпались всевозможными яркими цветами лопнувшие шарики. Особенно эффектно было освещение среди сумерек от «Бриллиантового Фонтана» с огненными звездочками, отражавшимися в воде.

Восхищались все, но Константин Эдуардович особенно.

Он громко возбужденно выражал свой восторг и восклицал: «Замечательно! Нет, вы посмотрите, как чудесно лопаются шарики и как долго они держатся в воздухе! Это прелестно! А как сильно стреляет «Бурак»! Какая мощь! Ну, Павел Павлович, какой Вы молодец! Право, все скажут, что Вами сделанный фейерверк куда интереснее покупного, москов-

ского. И как хорошо, красиво, все это Вы придумали, мой друг!..»

Возвращались поздно. Высадили Константина Эдуардовича около его дома и сами поспешили вниз по реке, к пристани. Надо было на месте застать сторожа и сдать ему ялик.

Парус и мачту унесли домой, уже наученные горьким опытом.

Расстались тепло, все были довольны удачным днем.

Павел Павлович особенно радовался, что доставил действительно большое удовольствие своему любимому учителю.

Такая разрядка при его работе ему была просто необходима.

Уже дома Павел Павлович говорил мне:

— Вот настоящий человек! Гений! Великий изобретатель. И в то же время наивен, как ребенок. Его смех такой чистый, совершенно детский. А как трогательно, когда, сильно сконфузившись, он закрывал свое лицо обеими руками... Больно, больно, что не хотят признавать его работы. Ведь это только из-за зависти. Нет, нет поддержки среди тех людей, кто может много сделать для него. Ведь у Константина Эдуардовича в его работах все много раз проверено и рассчитано, так что сомнений никаких быть не может.

Столько надо сил, столько средств, чтобы продвинуть его идею о воздухоплавании! Так обидно и грустно, что нет у нас достаточно денег... Но выход из этого положения надо искать. И мы добьемся положительных результатов. Я верю в это! Счастье, счастье, что Константин Эдуардович работает с таким подъемом, с такой большой верой. Неутомимый ум! Дай бог ему здоровья крепкого и моральных сил. Сегодня я так рад, что все были к нему внимательны и так трогательно утешали, когда случилась «авария» с пирожками. И все остались довольны этой прогулкой. Да, средства, средства нужны! Спокойной ночи, дорогая! Ты сегодня устала.

К. Э. Циолковский и его среда

Константин Эдуардович Циолковский всегда жил общественными интересами и искал соответствующую среду. Ее он нашел в семье Парцевских у Каннингов, где группировалась прогрессивная молодежь.

У Павла Павловича было много знакомых среди инженеров, врачей и социал-демократически настроенных

людей. То были: Асонов Василий Иванович, Олимпиев Николай Николаевич, Лалетин Валентин Митрофанович, Разломалин Дмитрий Васильевич, Устрялов Василий Иванович, Земблинов Владимир Иванович, Гейер Павел Александрович, Шахмагонов Федор Мефодьевич, Успенский Александр Иванович и другие.



Все они уважали Константина Эдуардовича и ценили его как великого ученого, искренне любили и подбадривали, некоторые давали деньги на материалы для изготовления моделей.

В числе прогрессивных людей, внимательно относящихся к Циолковскому, выделялся Василий Иванович Асонов. Помню его хорошо – симпатичный видный мужчина, с умным лицом и большой шевелюрой. Циолковский ценил Асонова, как серьезного и умного человека и всегда с большим удовольствием рассказывал ему о своей работе. Все это я знаю от самого Константина Эдуардовича.

Внимательно относился к ученому и доктор Владимир Иванович Земблинов. Циолковский любил и уважал своего доктора, который много лет его лечил. Вместе с Павлом Павловичем, когда ездили в бор на своих велосипедах, то непременно ездили к Земблинову на дачу. И отдыхали, и вели постоянно разговоры о дирижабле, небесных светилах и о будущем космической науки. При этом Константин Эдуардович садился на один из любимых своих пней и мечтал.

– Вот Вы, Владимир Иванович, верите, а многие, еще многие, считают меня большим фантазером. А я знаю твердо, что люди покорят небо. Конечно, это будет не так скоро.

Земблинов всегда говорил, что с большим удовольствием беседует с Константином Эдуардовичем и с Павлом Павловичем. Даже в юные годы мой будущий муж умел поддерживать взрослые умные разговоры.

Был ученый и в хороших отношениях со скромной и дружной семьей Доброхотовых, дружил со всеми братьями и их сестрой Верой.

Сам глава семьи – Илья Петрович Доброхотов был хороший слесарь и механик, да и добродушный человек.

Вспоминаю и симпатичную семью Чугуновых, весьма культурную по тому времени.

Сам Григорий Петрович Чугунов – рабочий на железной дороге, по профессии слесарь. Если что-либо надо было спешно сделать для Константина Эдуардовича или для себя, Павел Павлович ездил к мастеру и тот все выполнял, и часто не хотел брать денег за свою работу. Семья у него была большая: три сына и дочка. Старший сын Володя и второй Костя учились в железнодорожном училище. Они тоже интересовались изобретениями ученого. Это было в тринадцатом-шестнадцатом годах. Чугуновы жили в своем маленьком домике около вокзала на Привокзальной улице.

Еще были братья Медведевы, тоже железнодорожные служащие: Иван Иванович и Александр Иванович. Иван Иванович – механик, был машинистом. Он часто помогал Константину Эдуардовичу своими практиче-

скими знаниями и трудом. Денег никогда не брал. Медведевы жили в своем домике, недалеко от бывшего рабочего дома за кладбищем.

Были еще железнодорожные рабочие: Петр Суханов, Павел Баташев, Александр Дмитриевич Иванов – все эти простые люди тянулись к знаниям. Услышав от Каннинга об изобретателе, они просили познакомиться их с трудами Циолковского.

Павел Павлович глубоко уважал и ценил Михаила Петровича Доброхотова, который, приезжая в Калугу, заходил к нему с какими-то свертками.

Он, как и Борис Васильевич Авилов, часто спасался от преследований полиции на квартире Каннинга и скрывался там целыми неделями. Прятали у него и нелегальную литературу. И Павел Павлович не только спокойно на это смотрел, но и сам распространял эту литературу и оказывал материальную помощь нуждающимся студентам – социал-демократам. Елизавета Семеновна – мать Павла Павловича от всего этого в ужас приходила – ведь он был у нее единственный сын!

Бывало, придет к Павлу Павловичу Любовь Константиновна – старшая дочь Константина Эдуардовича и просит выручить какого-нибудь студента революционера, попавшего в «беду». «Ему надо скрыться, а денег нет». И Каннинг, не задумываясь, давал необходимые деньги.

Для таких людей он никогда ничего не жалел. Это был чуткий человек с доброй душой. Много помогал и кружку социал-демократического союза, организованного в Калуге Доброхотовым в конце девяностых годов.

В девятьсот третьем году членам этого социал-демократического союза Калужское жандармское управление предъявило обвинение в соучастии в подготовке убийства фон Плеве, министра внутренних дел, как об этом вспоминал сам Павел Павлович. Арестовали Доброхотовых – Веру Петровну, Николая Петровича, Илью Петровича, Дмитрия Васильевича Разломалина и других активных деятелей союза; арестовали и Каннинга, всех посадили в тюрьму.

После освобождения их из тюрьмы, Циолковский проникся к ним уважением и еще теснее сблизился с ними.

Павел Павлович Каннинг был далеким от практической жизни человеком, а тем более от всяких коммерческих представлений и сделок и, при своей доверчивости к людям, часто попадал в неловкое положение.

Вспоминается один случай. Это было в тысяча девятьсот двенадцатом году, когда мы собирались ехать за границу по просьбе Константина Эдуардовича. У нас не хватало семидесятипяти рублей. Муж решил обратиться за этими деньгами к калужскому миллионеру Нико-



лаю Ивановичу Кадмину. Кадмин согласился дать эту сумму под вексель.

Павел Павлович дал вексель и мы уехали.

По приезде он возвратил с благодарностью свой долг и, отдавая долг, счел неудобным спросить и взять обратно вексель, а Кадмин не напомнил.

Через несколько дней миллионер пришел и попросил его вернуть деньги. Каннинг удивился:

– Я же вам отдал свой долг.

А Кадмин на это отвечает:

– Где же доказательство этому? Почему вексель не взяли обратно? Потрудитесь уплатить. Это для Вашей же пользы. Милый Павел Павлович, надо быть в таких случаях не простачком. Оплачивая по векселю, надо его брать обратно, не считаясь, что давший Вам деньги родственник или близкий знакомый.

Каннинг был просто ошеломлен таким оборотом дела. И пришлось ему вторично уплатить деньги. Действительно: хороший урок на всю жизнь. Когда я рассказывала при свидании Константину Эдуардовичу о поступке Кадмина, таком мерзком, он был страшно возмущен и долго не мог успокоиться:

– Вот вам и миллионер! Какая подлость! Кто же так поступает? Ведь семьдесят пять рублей такие большие деньги! Ай, ай!

Музыкальные вечера

В нашем доме часто собирались любители музыки и пения.

В один из августовских вечеров в семь часов пришли к нам гости: пианистка – Мария Николаевна Фадеева, ее муж; художник; виолончелисты; невропатолог – Иосифов, инженер-строитель Кирьянов; скрипач и свободный художник Радищев, инженер Фрейберг. Павел Павлович всегда аккомпанировал им на органе.

Все расселись по своим обычным местам и стали настраивать инструменты. Начался концерт.

Исполнялись вещи всеми любимых композиторов: Глинки, Чайковского, Шопена, Грига и других. Играли с большим подъемом и приятно было слушать их исполнение.

И вдруг – неожиданный звонок в дверь. Докладывают, что пришел Константин Эдуардович.

Павел Павлович сейчас же вскочил с места, извинился перед гостями и побежал его встречать со сло-

Циолковский нуждался в переписке с границей, а иностранных языков он не знал. Всю переписку на французском языке, по просьбе Константина Эдуардовича, вела моя сестра Валентина Иванова. Она окончила в девятьсот седьмом году Тифлисский институт, а в пятнадцатом Московский Археологический. Оба института на отлично.

Это была серьезная девушка, интересная, умная и Константин Эдуардович любил с ней вести беседы на различные темы.

Дом, в котором жил Павел Павлович Каннинг, принадлежал Парцевским – Елизавете Семеновне, его матери, и ее сестре, Варваре Семеновне.

Аптекарский магазин был открыт по совету близких друзей – главным образом, доктора Земблинова.

Когда умерла Елизавета Семеновна – ее половина двухэтажного дома перешла к сыну.

В заключение хочется сказать: тяжело жилось Циолковскому, а еще тяжелее было работать без признания его трудов и без просвета.

Горсточка друзей в Калуге поддерживала его морально и материально по мере своих сил и во имя его величайшей идеи. То были подлинные его друзья.

вами: «очевидно, что-нибудь интересное произошло и ему, как всегда, захотелось со мной поделиться».

Затем из передней послышался громкий разговор.

Павел Павлович горячо на чем-то настаивал. Оказалось, что Константин Эдуардович, узнав, что у нас гости, по своей большой застенчивости хотел убежать, а тот его не отпускал и уговаривал остаться, мотивируя тем, что все ему хорошо знакомы и любят его.

– Вы устали, вот и посидите, отдохните, послушайте интересный концерт. Я Вас через коридор проведу прямо в кабинет и оттуда вы будете слушать любимые Вами мелодии. Сегодня хорошо все сыгрались. Ну, снимайте же, снимайте Вашу шляпу и накидку! Вот, как удачно вы зашли. А у меня есть интересное письмо от Перельмана, в перерыве я Вам покажу. Милый он человек! Книжечки получил и благодарит.

Через полчаса концерт возобновился.

Дверь в гостиную была открыта и между портьерами мы наблюдали за Циолковским. По обыкновению,



он сидел на любимом им диване и слушал музыку с закрытыми глазами, со спущенными очками на одно ухо и со скрещенными на груди руками – любимая им поза. Выражение лица – благодушное. Временами вставал, подходил к письменному столу и, взяв большой красный карандаш, что-то в раскрытой книжке помечал.

Павел Павлович несколько раз нарушал его одиночество и входил во время перерывов между музыкальными номерами. Константин Эдуардович был рад ему:

– Я Вам благодарен за то, что Вы меня задержали. Какое огромное удовольствие получил! Действительно, прекрасно играют. С утра много работал и успешно, но порядочно устал и решил к Вам зайти, отдохнуть и поговорить. Ну, идите, Вас там ждут...

После окончания концерта мамочка позвала всех к чаю.

Валентина Георгиевна и Павел Павлович пошли за Константином Эдуардовичем и еле его уговорили выйти в столовую выпить стакан чая.

– Ну, идите же!

– Нет, я лучше пойду домой. Мне неловко, много народа!..

– Да все свои, Вы их давно знаете, идите, идите, а то без Вас никто не садится, – говорил Павел Павлович.

Тут подошли все, поздоровались и стали расспрашивать про его дела.

Сначала Константин Эдуардович конфузился, потом стал говорить о том, что в последние ночи так красиво небо и он выходит на крышу со своего чердака, наблюдает Марс в подзорную трубу.

– Будем изучать все небесные светила и на Луну полетим! Не сомневайтесь, господа. Это будет! Правда, не скоро, но наши внуки будут летать. А как дешево будут воздушные путешествия, когда построим дирижабли! Какие волшебные картины откроются перед нашими глазами! И все это станет доступно простому чело-

веку. Павел Павлович, сегодня я хочу Вам предложить взять свою трубу, и мы вместе понаблюдаем Сатурн.

У Павла Павловича была хорошая подзорная труба с тремя большими окулярами Цейса, и мы, домашние, с его помощью изучали небесный свод. Наблюдали со двора, устанавливая прочно штатив. Между прочим, у него было много прекрасных цветных снимков Луны, Марса, Венеры и других светил, которые он показывал железно-дорожным рабочим и всем интересующимся лицам при чтении своих лекций в Народном доме у бывших Московских ворот. Диапозитивы были им самим хорошо сделаны. Картины показывались с волшебным фонарем.

...Гости разъехались в двенадцать часов ночи, а Павел Павлович, взяв трубу и штатив, простился со всеми и ушел с Константином Эдуардовичем. Мы, еще под впечатлением фантастических рассказов ученого, долго делились впечатлениями вечера и только через час разошлись по своим комнатам.

Муж вернулся поздно. На вопрос, почему так поздно, ответил, что они с Циолковским долго простояли на Каменном мосту.

– Уж так красив с него вид, особенно в такую лунную ночь.

Каменный мост был одним из любимейших мест Константина Эдуардовича, где он часто и подолгу простаивал, любуясь видом на глубокий овраг, Оку и небесный свод.

Тут, вероятно, его осенял взлет необыкновенных фантазий. И когда после таких прогулок он увлекательно и вдохновенно рассказывал нам о будущих воздушных перелетах с планеты на планету, о необычных видах, которые откроются глазам первых его последователей, о благоустройстве человеком далеких планет, о разведении там в оранжереях земных плодов и овощей, о доступности всего этого в сроки не такие уж далекие, – мы сидели, слушали его, замирая, и вместе с ним пламенно верили, что сбудется его мечта о покорении неба человеком.

Знакомство с артистами

В тот театральный сезон десятого года в Калуге гастролировала драматическая труппа Батманова.

Мы любили театр и, взяв абонемент на весь сезон, часто ходили на спектакли.

И там вскоре познакомились с двумя главными героями – Степной Евгенией Александровной (инженю комик) и Мравиной Табой Петровной (инженю драматик).

Познакомились и подружились.

Обе были молодые, интересные, живые, эффектные и культурные. Они часто стали у нас бывать, потому что любили музыку и у нас могли петь и декламировать под аккомпанемент игры на рояле Павла Павловича. Обычно приезжали поздно, после спектаклей, вместе с нами.



О Константине Эдуардовиче много слышали от нас, но встречаться не приходилось из-за позднего времени.

Однажды были свободны и приехали днем, жизнерадостные и веселые.

Таба Петровна – красивая брюнетка со жгучими черными глазами с поволокой, прекрасным, нежным румянцем и длинными косами.

Евгения Александровна – мы ее называли ласково «Степнаша», – блондинка, с большими синими глазами, темными бровями и тоже с длинными волнистыми волосами цвета спелого колоса, изящная, стройная. В этот день они были оживлены, много пели и декламировали.

Неожиданно, возвращаясь из Епархиального училища, зашел к нам Константин Эдуардович.

Услыхав, что у нас гости, он хотел уйти, но в это время вышла в переднюю Таба Петровна и, преградив ему путь к отступлению, сказала:

– Ну, будем знакомы! По рассказам мы давно Вас знаем. А теперь и Вы будете нас знать.

Константин Эдуардович, покрасневший, как юноша, спешно прошел в кабинет Павла Павловича.

В это время там на диване сидела моя сестра.

Наши милые гости продолжали петь. Константин Эдуардович, поздоровавшись с Валентиной Георгиевной и усаживаясь рядом, обратился к ней:

– Вот как все вышло неожиданно. Знаете, скажу вам по секрету, обе ваши артистки мне понравились. Такие симпатичные, ласковые. Можно мне в щелочку на них посмотреть?

Валентина Георгиевна, смеясь, ответила:

– Ну, конечно, можно.

В это время я из другой двери вошла в кабинет и остановившись на пороге, пригласила Константина Эдуардовича к гостям. Он, весь покрасневший, отскочил от двери и подошел ко мне со словами: «Бога ради, простите! Я веду себя, как мальчишка. Нехорошо, право, нехорошо?» – «Ничего плохого нет... Мы ведь знаем, как Вы застенчивы. Пройдемте в гостиную».

– Нет, нет, я не пойду! Я боюсь, – сказал Константин Эдуардович.

– Чего боитесь?

– Сам не знаю, но мне стыдно.

Все же я взяла его за руку и провела в гостиную.

В это самое время «Степнаша», с распущенными волосами, изображала русалку. Увитая широким газовым шарфом, цвета морской волны, она делала вид, что ныряет в воду. А Таба Петровна, сидя на полу, на расстеленном ковре с поджатыми ногами, изображала мор-

скую царицу, около которой было много вьющихся комнатных растений и различной величины раковин. У нас была их целая коллекция.

Константин Эдуардович замер.

Действительно, это все было красиво и эффектно в полумраке, среди больших декоративных растений и всей уютной обстановки.

Вначале Константин Эдуардович стеснялся, но постепенно освоился, усаживаясь на свою любимую тахту со множеством кавказских подушечек и, прикрыв глаза, весь ушел во внимание, слушая пение Табы Петровны под аккомпанемент рояля. Павел Павлович играл с большим увлечением. Временами только слышалось:

– Как хорошо, как чудесно! Валентина Георгиевна, мы с вами, как в театре. Вот, как я неожиданно познакомился с вами, Таба Петровна и Евгения Александровна. А я ведь раньше вас боялся и только из кабинета слушал ваше пение и декламацию. Жалею всегда, что плохо слышу. Как красивы задушевные стихи Апухтина! Я их так люблю!

А Таба Петровна, смеясь, лукаво спрашивала:

– Разве мы такие страшные? На ведьм не похожи?

– Что вы, что вы!

– А теперь вы нас с Евгенией Александровной не боитесь?

Константин Эдуардович в великом смущении ответил:

– Нет, нет, теперь я вас не боюсь. Вы очень милые, хорошие, веселые и с вами совсем не скучно. Ну, спойте еще что-нибудь! Что хотите, что вам самой больше нравится. Я с большим удовольствием буду слушать.

Прощаясь, Константин Эдуардович говорил смущенно:

– Вы не сердитесь и не смейтесь надо мной, я совсем не умею быть в таком обществе и навожу на всех скуку. Мне кажется, что я со своей глухотой такой смешной. Поэтому стесняюсь незнакомых. Вот к Павлу Павловичу и всем Каннингам давно привык и чувствую себя с ними хорошо. Ну, до свиданья! А Павла Павловича я уведу на часок, можно?

Мы простились и они ушли.

«Степнаша» и говорит:

– Ну какой он милый, интересный, совсем не от мира сего. А смеется – одна прелесть! Действительно, как ребенок. Мы очень довольны, что доставили ему удовольствие. И, сказать откровенно, мы тоже немного были смущены, но потом все прошло. Какой прекрасный день сегодня!

Так мы проводили тот театральный сезон...



Редкостный человек

В период моего знакомства с Константином Эдуардовичем Циолковским я видела, что он всецело был занят своим великим изобретением. Огромнейшая работоспособность ученого всегда всех удивляла. Но при своих больших знаниях до чего он был необыкновенно скромнен! Это был редкостный человек. Понимая нужду, он старался и сам каждому помочь, если не материально, то морально и советом и вниманием.

Обычно серьезен, но когда приходил к нам после напряженной работы, то становился веселым и много шутил.

Рассказывает что-нибудь курьезное из своей детской жизни и добродушно посмеивается. Правда, он редко не говорил о своем детстве и прежних знакомых, но вспоминать отдельные эпизоды любил.

Грустно и трогательно поведал он нам историю о том, как упрашивал своего брата сесту с ним рядом и послушать его рассказы: «Я за это давал ему медный пятак и радовался, что он после долгих упрашиваний соглашался». Но брат, взяв пятак и немного посидев, быстро убегал, и тот был обижен до слез. «Мне так хотелось поделиться своими мыслями, что я снова ловил его и давал монету, умоляя посидеть и послушать меня. — «Это очень интересно, поверь мне», — говорил я, — но брат не хотел. Тогда я прибежал к матери, зарывался в ее колених и плакал. А она ласково гладила меня по голове и целовала...» И, вздохнув тяжело, продолжал:

— Грустно вспоминать свое прошлое, такое оно было неуютное, часто тяжелое. Лучше поговорим о прекрасном будущем, в котором, несмотря ни на что, я глубоко уверен.

И это будущее Константин Эдуардович всегда соединял со своей идеей воздухоплавания.

Он приходил к Павлу Павловичу обязательно с какими-нибудь новыми идеями и спешил поделиться.

И с каким восторгом тот встречал Циолковского и, в особенности, когда видел удачу в его делах: вскакивал с места, быстро ходил по комнате, потирая руки, восклицая:

— Это великолепно! Подумать только, Константин Эдуардович, что за какие-то пять-шесть рублей можно будет слетать в Америку! А сколько по пути увидим городов, морей, океанов, красивых долин, гор. Это будет!

— Будет, дорогой Константин Эдуардович! Пусть не верят нам маловерные, потом раскаются.

Павел Павлович носил свои часы на золотой оригинальной цепочке (наследство отца) в жилетном кармане. И когда волновался, без дела вынимал часы и снова клал их в карман.

В более спокойном состоянии оба целыми часами сидели в кабинете и напряженно что-то высчитывали, измеряли, чертили. Проверяли какие-то чертежи. И так увлекались, что ничего не слышали и не видели. Я иногда потихоньку входила и, остановившись около них, спрашивала:

— Как же называются эти числа, у которых такое множество нолей?

Константин Эдуардович, смеясь, отвечал:

— Как Вам объяснить. Этого не понять не только Вам, милая Лидия Георгиевна, не обижайтесь, пожалуйста, но и большинству. Сейчас закончим и пойдем отдыхать. Павел Павлович за рояль, я на тахту, и вы с Валентиной Георгиевной около меня. И все вычисления от нас улетят! — Он вдруг замолк, задумался и совсем тихо закончил:

— Да, один в поле не воин...

Вот так сидим часто и беседуем, а Павел Павлович играет на рояле.

— Как хорошо! А я раньше думал, что вы, Лидия Георгиевна, будете против моего увлечения и отнимите моего большого друга. Рад, бесконечно рад, что вы так тепло, ласково ко мне относитесь...

В деле воздухоплавания Константин Эдуардович был самый настоящий патриот. Он так любил свою родину, что ни за какие деньги, даже при своей острой нужде не соглашался на самые лестные предложения англичан, американцев и немцев помочь ему, отказывался. Предлагали даже купить его изобретения, что его возмущало до глубины души.

— Я работаю для своей России, — говорил он. — Ведь когда-нибудь поймут же меня, поймут, правда, Павел Павлович?

Действительно, Константин Эдуардович был удивительно стойкий человек. В отчаяние никогда не приходил и жил надеждой, что его идеи рано или поздно восторжествуют, и небо будет покорено.

На калужском перекрестке.

Исторический очерк

Ольга ПАНЧЕНКО

Говорят, что все дороги ведут в Рим. Если перенести эту поговорку на нашу российскую почву, то все дороги вели и ведут в столичный град. В Киев ли, в Петербург, в Москву – в зависимости от того, какой город был выбран столицей своим временем.

Но есть города, без которых путь «на Рим» невозможен. Они притягивают отсутствием суетности, тем, что живя в них, не замечаешь, как идет, движется время. Они оказываются «узловыми станциями» на пути следования человека по жизни. А поэтому – точками пересечения многих судеб.

Мне повезло: выпало родиться на такой станции. Наши калужские дороги объезжены и обхожены многими. По ним ехали на извозчиках, тряслись на лошадях, ездили на велосипедах и командировочных «газиках».

И почему-то уж сложилось так, приковывают до сих пор эти места к себе людей пишущих. Кто останавливается здесь на прикол на день-два, кто – на месяцы, кто – на годы.

Речь о литературных перекрестках, о скрещении, будто бы случайных, в которых проявлена доля закономерности.

Позволю себе остановиться на калужском перекрестке и взглянуть на лица тех, кто его запомнил.

Портреты. Разные. Пожелтевшие от времени фотографии. Портреты писанные маслом. Портреты людей, судьбы которых на каких-то поворотах жизни сталкивались, перекрещивались: у кого-то во временном, у кого-то – в творческом плане.

Если смотреть на портреты долго и пристально, вспоминать вехи жизни писательской и человеческой, то глаза наполняются светом, оживают губы, руки, державшие некогда гусиное перо или авторучку. Пока жив один, помнящий о другом, жив и другой, ушедший...

Прямо на вас с портрета смотрят умные, пронительные глаза – глаза екатерининского седовласого вельможи, «певца» Фелицы. Лицо простое, плотное.

Кажется, над ним долго не трудилась природа. Блестит на груди, переливаясь, звезда.

Шел тысяча восемьсот второй год. Правительственный чиновник, точнее – министр юстиции Гаврила Романович Державин приезжает в Калугу для ревизии деятельности калужского губернатора Лопухина. Днем он ездит по делам, а вечером неизменно пролетка, запряженная четверкой лошадей, останавливается у роскошного особняка, дома городского головы.

Гаврила Романович наводит порядок в губернии, облеченный властью государя-императора Александра. Еще не знает он, что через год выйдет в отставку за то, что «слишком ревностно служит». Не знает, что уже растет новый великий поэт России, который придет на смену ему и которого он благословит под сводами Царскосельского лицея. Это будет через тринадцать лет. А пока он, Державин, – первый поэт, а Александру Пушкину, всемирно известному потом, всего три года...

Помимо отчетов и бумаг служебных, привез Державин из Калуги басню, написанную под впечатлением раскрытых беззаконий и борьбы с Лопухиным. Называлась она «Крестьянин и дуб».

О калужском деле остались следы в «Записках» Державина. Остались письма его к А.А. Лопухиной, жене А.Н. Лопухина, губернатора, к графу Воронцову. Неповоротливый, тяжелый слог – эпистолярный стиль XVIII века:

«Вчера я не получил (*не застал* – О.П.) Его Величества у себя, то и не смог доложить по калужскому делу. Сегодня приказано мне дожидаться позыву, итак сегодня не буду уже иметь чести в-го с-ва видеть; но завтра всемерно»¹.

Человек, которого литературоведы назовут классицистом, прожил интересную и сложную жизнь: поэт и придворный вельможа, сенатор и даже министр юстиции при Александре. Жизнь, избилующая, по словам самого Державина, «частыми, скорыми и неожиданными переменами фортуны».

¹ Г.Р. Державин. Соч., т. 6, СПб, 1876. Из письма от 17 апреля 1802 г., № 1005, стр. 145.



Пушкин бывал в Полотняном с невестой, позже с женой. Любил жить в Красном доме, который давно сгорел. И, быть может, мечтал о Полотняном, когда писал:

*Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит.
Летят за днями дни, и каждый час уносит
Частичку бытия, а мы с тобой вдвоём
Предполагаем жить, и глядь, как раз умрём.
На свете счастья нет, но есть покой и воля.
Давно завидная мечтается мне доля –
Давно, усталый раб, замыслил я побег
В обитель дальнюю трудов и чистых нег.*

Предполагают, что в первый раз был здесь в мае двадцать девятого года, по пути на Кавказ. Незадолго перед тем просил руки Натальи Николаевны, но получил ее неопределенный ответ.

Что потянуло его сюда? Быть может, желание посмотреть, где жила она, подышать тем воздухом, которым она дышала. Приблизиться к ней – вот так.

Был здесь женихом в тридцатом году. Жил в Красном доме. Гулял, наверное, с ней по аллеям старого парка. Но не все безоблачно. Разговоры о приданом – и просьбы, просьбы денежные со стороны Гончаровых. Пушкин вынужден обращаться к Бенкендорфу с прошением. Он – Пушкин – Бенкендорфу – просьбу!

Тридцать четвертый год. Август. Блестящая светская дама Наталья Николаевна Пушкина, мать двоих детей, уезжает в Полотняный. И к ней сюда приезжает Пушкин. Ненадолго. С трудом оторвавшись от литературной и прочей поденной работы – ради денег. Пробыл всего две недели. В кругу семьи, в «деревенской тишине», так, как мечталось в стихах и в жизни:

«... Я сплю и вижу, чтоб к тебе приехать, да кабы мог остаться в одной из ваших деревень под Москвой, так бы Богу свечку поставил», – писал Пушкин жене летом этого же года...

И снова Петербург, и снова сплетни и интриги плетутся вокруг Пушкина. Все сильнее сгущаются сумерки над его головою. И снова хочется на волю – в Болдино, Тригорское, Полотняный, где недавно гостил с женою и детьми – в деревню.

Но в следующий раз Гончаровой пришлось ехать сюда уже одной. И сколько бы не ждала она, не дождалась бы теперь Пушкина. Расстались. Навечно. Черная речка, январь тридцать седьмого года разделили их...

Дочь Н. В. Панченко Ольга*.

«Пушкин» Кипренского. Нимб курчавых волос, скрещенные на груди руки. Взгляд печально-сосредоточенный. Что в нем? Отрешенность? Углубление в себя, раздумье?

XIX век. Он без Пушкина не мыслится, а пушкинская биография не мыслится без имени Гончаровых.

Наталья Николаевна Гончарова. И сразу ассоциация: в памяти глаза ангела, мраморные плечи на портрете карандашном, что после себя оставила. И набегаёт волной воспоминание – старые въездные ворота в Полотняно-Заводскую усадьбу Гончаровых, виденные не раз, полуразрушенный дом, парк и место то, незабываемое, на котором стояла когда-то пушкинская беседка.

* (1948–1998) – Ред.



И не разлука то была. Для него – смерть человеческая, поэт жить остался и останется на века. Для нее расставание. Рассталась – и ушла из жизни потом – уже Ланской, в Лавре похороненной, в Петербурге, где блистала когда-то в свете. Вдалеке от Святогорского монастыря, от него...

Черно-белый профиль в туши на суперобложке книги «Мой Пушкин». Фотография: челка квадратная, из-под нее глаза – широко поставленные, распахнутые.

Марина. Морская. Синяя. Ведал ли Пушкин, что родится такая? И напишет о нем? Что будет жить воздухом тарусским, в десятке верст от Полотняного, тоже калужским, и его стихами, светлой памятью его:

*Пуни и полночь. Пуни и Пушкин,
Пуни – и пенковая трубка
Пышущая. Пуни – и лепет
Бальных башмачков по хриплым
Половицам. И – как призрак –
В полукруге арки – птицей –
Бабочкой ночной – Психея!*

Марина Ивановна Цветаева провела в Тарусе детство, первые годы юности, каждое лето выезжая из старого дома в Трехпрудном переулке – через дом от Натальи Гончаровой – художницы, внучатой племянницы Натальи Николаевны; сюда, в Тарусу.

Потом были Чехия, Франция, Германия. Были трудные для нее годы, а радость первая, первые стихи – все началось с Тарусы:

*Ясное утро, не жарко.
Лугом бежишь налегке.
Медленно тянется барка
Вниз по Оке.*

«Осень в Тарусе».

Любовь к Пушкину, его открытие для себя возникли гораздо раньше. Еще в Москве пяти-шестилетней познакомилась с Памятником Пушкину. Потом – знакомство с его стихами. Первое, детское. Влюбленность в пушкинских «Цыган».

Всю жизнь несла Пушкина в себе. Но воспринимала его не хрестоматийно, а как поэт – поэта:

*Прадеду – товарка:
в той же мастерской!*

И так же, как Пушкин стремился в тишину и покой в последние годы жизни, так и она, наверное, рвалась душою из Парижа в Тарусу, когда в мае тридцать четвертого года писала своих «Кирилловн».

Наконец, приехала в Россию в сорок первый год, накануне войны, а вскоре вся земля окрасилась в багряный цвет. Так и не повторилась радостно в ее жизни Таруса.

Маяковский. Ни в Калуге, ни в Тарусе не свела судьба с ним Марину Цветаеву. Зато виделись в Москве, когда и он, и она ходили в начинающих; под Парижем – в Медоне.

Губы негра, глаза – в упор, крупное лицо оттесняет фон фотографии. Маяковский четырнадцатого года, Маяковский желтой кофты, Маяковский – футурист.

«Ездили Россией. Вечера. Лекции. Губернаторство настораживалось,» – так писал Маяковский о себе той поры в своей автобиографии «Я сам».

Калуга. Большая афиша возвещающая о том, что двенадцатого и тринадцатого апреля четырнадцатого года в городском театре состоится лекция поэтов-футуристов К. Большакова и В. Маяковского.

Театр не полон и ложи, увы, не блещут. Но кое-кого привлекло это странное слово «футурист». Будто чуя, что здесь «что-то будет» собралась и принарядилась мещанская Калуга – вытащены из сундуков настоящие и поддельные бриллианты, серебрятся меховые боа, пахнущие, должно быть, нафталином.

Вдруг выхваченный прожектором отрезок сцены и на нем, в ореоле света, Маяковский.

Что-то он читает сегодня? Или бросает, как фейерверки, в разные стороны строчки «Нате», или то, над чем работает, что вначале называлось «Тринадцатый апостол», а потом «Облаком в штанах»:

*Эй!
Господа! Любители
святотатств,
преступлений,
боев, –
а самое страшное
видели –
лицо моё,
когда
я
абсолютно спокоен?*

¹ А. В. Луначарский. Воспоминания и впечатления. М., «Советская Россия». 1968.



Жил в этих местах писатель, мечтавший о том, что люди будущего насадят новый сад, лучше старого.

Тогда этот старый сад еще шелестел. Шелестел сиренью, яблонями вокруг Богимовской усадьбы, где на все лето поселился Антон Павлович Чехов – пенсне с тоненьким шнурком, мягкая улыбка прячутся в бороде.

Он работал здесь каждый день, запоем. Если у Пушкина была Болдинская осень, то у Чехова – Богимовское лето. Лето, насыщенное работой, настоящее запахом трав, старого сада.

Здесь создавалась «Дуэль», заканчивалась книга «Остров Сахалин», небольшие рассказы. «Если б еще одно такое лето, то я бы, пожалуй, роман написал...» – шутил Чехов, никогда не писавший романов.

Кончилось лето. Прошли годы. Но остался благоухожающий Богимовский парк, фруктовый сад, остался на страницах чеховского «Дома с мезонином». А дом бывшего владельца усадьбы Былим-Колосовского, в котором жил Чехов, стоит и по сию пору. Он стал больницей, на которой висит мемориальная доска в память о писателе Чехове, докторе Чехове, когда-то проводившем свое творческое лето в маленьком селце Тарусского уезда – Богимове.

Голова склонилась над рукописью. Лоб большой. Сросшиеся брови, задумчивые, не сердитые. Паустовский работает.

Если Чехов прожил в Богимове всего одно лето, то Константин Георгиевич Паустовский отдал Тарусе шестнадцать лет. И не только летами, но и бывало – зимами, осенями, веснами приезжал сюда. Около него всегда были люди. Читатели, писатели, начинающие поэты, прозаики. Люди любили быть с Паустовским. Казалось, от него исходил мягкий и добрый свет.

И сейчас они приходят на поклон к нему сюда – в Тарусу – к бревенчатому дому на высоком холме Таруски, где жил он, к зеленому холмику, поросшему мягкой травой. Да и все в Тарусе помнит его – перевозчик на пароме, старый бакен и рыбаки, застывшие с удочками в руках. Помнят его люди, травы, поленовские и тарусские дали...

Чеховские рассказы, созданные в Богимове, можно перечитать. Все, что написано здесь Паустовским, не перечтешь, не перечислишь. И нет, наверное, ни одной вещи Паустовского, начиная с пятидесяти четвертого года (когда он поселился в Тарусе), которая хоть краешком не коснулась бы ее. Начиная писать в Москве – заканчивал в Тарусе, уезжал из Тарусы – и вез ее с собой, на бумаге – в Крым.

Прозаик, подобный мастеру, создавшему из песчинок Золотую розу. Сказ у него особенный. Ровный, спокойный и прекрасный. Кажется, так можно писать только в Тарусе, которая имела тот же характер, ту же душу, что и он.

Время превращает молодых в стариков, начинающих – в маститых, больших писателей – в классиков. Одни имена стираются, другие как бы впечатываются в память, третьи, вроде бы исчезнув, превратившись в слабый лучик в сознании читателя, возвращаются из временного забвения. Люди умирают, и рукописи все-таки горят.

Но ничто не исчезает, не оставив следа. Потому что все эти люди с разными лицами пишут в одну Книгу человеческого бытия.

Повторение мотивов, тем, сюжетов, наверное, явление того же порядка, что и повторение маршрутов – реальной географии в биографии писателя. Борис Эйхенбаум мог бы отнести такие повторы к сфере «литературного быта», прочно взаимосвязанного с областью творческого сознания.

Маленький город и его пригороды стали своеобразной литературной реминисценцией географического происхождения.

Есть какая-то несформулированная закономерность в том, что одна точка пространства влечет к себе в разное время русских литераторов. И еще далеко не все вспомнились здесь. Их больше, по крайней мере раз в пять, чем оказалось сейчас в памяти.

Передо мною на столе – книга Циолковского «Грезы о земле». Научно-фантастические произведения великого человека, который не был писателем. Вот его лицо: близорукие глаза, на многих фотографических снимках чуть приподнятые вверх, сосредоточенные. Лицо, напряженно слушающее, воспринимающее этот мир каждой лицевой мышцей, каждым мускулом.

«Вы разговариваете с ангелами?» – спросил он молодого Виктора Шкловского, командированного в Калугу «Мосфильмом» в первые послеоктябрьские годы. – «А я постоянно разговариваю. Они постоянно не соглашаются... тяжелый характер у фактов, уходят, не договорив», – ответил сам на свой вопрос Циолковский слегка удивленному молодому литератору, привыкшему не удивляться, а удивлять.

Циолковский удивил, рванувшись с калужского перекрестка сразу в космос. Отгалкиваясь от поэтических символов, он материалистически обосновал идею бесконечного движения и бессмертия человеческой мысли.

«...Пепел родины живой»

Надежда МАЛЬЦЕВА

МОСКОВСКАЯ ЛИСТВА

Памяти Даниила Андреева

Пожар способствовал ей
много к украшенью...
А. С. Грибоедов о Москве

Перелистни листву московскую –
о, где дубов столетних пни?
А дни летят во тьму бесовскую,
как отгоревшие огни.

Костры былого – не от дыма ли
стволы остались без коры?
До сей поры помост не вымыли,
лишь сверху бросили ковры.

Не зреть уму дерев за всходами,
и, видно, надо самому,
давась в дыму, влачить за годами
и крест, и посох, и суму.

Впотьмах снабдят вином, бараниной –
молчи, палёным сам пропах.
Ах, не любовь к отчизне раненой,
за шкуру собственную страх.

Грязна рубашечка исподняя,
и сквозь пожарища видна
Москва иная, старогонная,
и там, внутри, ещё одна –

за рубежом переходящая
в рубеж, этаж за этажом,
боржом сосущая, галдящая,
с похмелья бьющая ножом, –

где сват и сват уже фамилия,
где вор – притон, а двор – посад,
но в ад нисходят без Вергилия,
как в свой, до слёз знакомый град.

Идёт, гудёт Москвой распутица,
а пепел родины живой
с листвою в лицо летит, и чудится –
огонь гудит под мостовой.

УСПЕНЬЕ

В окруженьи ангельского чина
снятая с незримого креста,
горькая, прямая, как лучина,
Ты замкнула кроткие уста.

Но и в этих теремных хоромех
Божье око светит с высоты,
чтобы Ты забыла о погромах,
чтобы нас за всё простила Ты.

Сквозь решётки от высоких окон
тянет вечным синим сквозняком.
Ты сейчас как лёгкий белый кокон,
брошенный взлетевшим мотыльком.

Спит звезда на ободке веночка,
жест ладоней выстрадан и тих,
и хранит пустая оболочка
отпечаток крыльев золотых.

Прорастут ли столь же легкокрыло
зёрна слёз, скатившиеся в грязь?
Благодати Божьей испросила,
а людской любви не дождалась.

Разбрелись блажные да калеки,
вифлеемски блещет снежный наст.
Стынет паперть. Ты одна навеки.
Матерь Бога, кто тебе подаст?



ПАМЯТИ ЮНКЕРОВ

И гордые львы над чугунной решёткой,
и чахлое, в жёлтых слезах, деревцо,
и мраморный Бог, равнодушный и кроткий,
и мальчик, прижавший к решётке лицо, —

и вечность, наверное, всё это длилось, —
и голубь топтался по снежной крупе,
и синее-синее небо кружилось,
и алая шляпка мелькала в толпе.

Под «яблочко» дробное в ритме чечётки
надменные львы не снесли головы,
витые узоры фигурной решётки
пошли на чугун в переплавке Москвы.

В подвал от обстрела засунули Бога,
потом откопали, и с места в карьер
пустить с молотка порешили — и много
давал нам за Бога буржуй-суевер.

По крышам хватало ещё голубятен,
но турман однажды домой не попал —
был вкус у жаркого не слишком приятен,
да голод — не тётка, а голубь — не мал.

Сгодилося и деревце — всё для растопки
годилося при молоте да при серпе,
и вот — в крепдешин обрядились холопки,
и алая шляпка пропала в толпе.

А мальчик не вырос, хоть шляпку на ужин
уже под закрытие успел повести,
стрелял и сидел, а теперь и недужен,
и годы не те, чтоб куда-то расти.

Он помнит, как прятался с Богом в подвале,
как пойманный голубь сидел на окне,
как сняли решётку, как львов расстреляли,
как деревце руки ломало в огне.

Глядит он на время, но видит немного —
незрело-тоскующим взором глядит,
не знает, что выгодно продали Бога,
что шляпка под старость о нём городит,

что сам он за пайку осклизлого хлеба
убил и убит, не за хлеб — за словцо...
И кружится, кружится синее небо
над мальчиком, вжавшим в решётку лицо.

ВСЕЛЕТЬЕ*

От Георгия до Покрова
хороводы, и птицы, и реки,
столько песен насущных в сусеке,
что душа и без хлеба жива.
И лазурь в небесах такова,
что не вспомнишь о смерти вовеки,
вплоть до снега, пока в человеке,
пламенея, лепечет листва.

Пламенея, леса шелестят,
плещет в озере алая рыба.
Золотая, тяжёлая глыба,
погружаясь лениво в закат,
разольётся, и ангел у врат
в небе высадит звёзд, что опять
в том лесочке голубеньком, либо
застит лунным крылом небоскат.

Всю подлунную лунным крылом
застит месяц пресветлый и чудный,
блики в чаще зажжёт изумрудной,
водит в плавнях зелёным веслом.
Лишь дерев еженощный псалом
слышен в этой глуши беспробудной,
словно кто-то, несчастный и блудный,
говорит там с Господним послем.

Что же шепчет, что плачет листва?
Что даруют дающие руки?
Столько в шёпоте страсти и муки,
столько святости и колдовства.
Как дыханье, взлетают слова
к облакам, распадаясь на звуки...
Вязы, ивы, берёзы и буки
от Георгия до Покрова.

* Вселетье — все теплое время года, от рекосплава до рекостава — Н. М.



МОЛИТВА МЫТАРЯ

Дождалась всего, о чём сби́лла
толковала – глядя в купола,
мужа в баньке топором заби́ла,
сыновьям свинец поберегла.

Пугало поставив у штурвала,
подалась куда глаза глядят,
райский рай и славу обеща́ла
вожакам, ведущим прямо в ад.

И скрипит корабль мечты зыбучей,
мачта – крест, а на кресте – она,
над венцом из проволоки в туче
лагерная катится луна.

Кто-то рядом склянки бьёт покуда,
кто-то срочно мерит глубину.
Всё погибнет. Не случится чуда.
В трюмах течь. Корабль идёт ко дну.

Гвозди в дланях – больше полувека,
не стихает драка на корме.
Чем она жива ещё, калека,
на кресте забытая во тьме?

Помолись же за живую душу,
что века не могут обломать,
арестантку, пьяницу, кликушу,
в жёлтом доме спасающую мать,

за лишённых русской колыбели,
но идущих в тот же крестный путь...
Помолись, чтоб вовремя успели.
За кого-нибудь. Когда-нибудь.

КОЛЫБЕЛЬНАЯ

*По улицам Лодзи, по улицам Лодзи
шагают ужасно почтенные гости...
Александр Галич. «Кадриш».*

С уроком отцовским, с крестом материнским,
свободны от мира, свободны от пут –
Алёша Романов с Андрюшей Юшинским
по Сретенке к площади Старой идут.

Идут и смеются – а там и Крещатик,
и Зимний в зелёном дымке молодом,
забыты пещера, и неба квадратик,
и пули, и тесный Ипатьевский дом.

Во тьме исторических подлых законов,
где все убиенные наперечёт,
плевать им на смерть – не хватило патронов,
ножей нехватило, и кровь не течёт.

Приметив в аллейке Бориса и Глеба,
пуляют друг в друга слежавшийся снег,
и просит отчизна пречистого хлеба
у Дмитрия, прахом поправшего век.

Но лжёт, как обычно, от срама и дури,
но жаждет одной только крови рекой –
посеявшей ветер, ей хочется бури,
как будто найдёт она в буре покой.



БЛАГОВЕСТ

Мутная, в оврагах полумгла
по кустам и яминам таится,
но уже сквозь скорлупу стучится
из-под снега рыхлого жар-птица,
именам которой несть числа.

Над поляной воздух от тепла
зыблется, дрожит комком стекла,
пузырём в щипцах у стеклодува;
речка от ударов мощных клюва
дребезжит, как старая юла;
свет же – слаб, раним и запрестолен.

Лес молчит; как траурны и хрупки
жесты веток старых, как трясёт
молодые; каждый наг и болен,
одинок... и вдруг – река пошла!

Сквозь яйца растрескавшийся лёд
хлынула вода – куда снесёт
дышащие холодом скорлупки?
Кто поднимет за погибших кубки,
кто заплачет горько у ворот?..

Не роняй же листьев! мир отмолен!
И стреляют почки из ствола,
и звонят с небесных колоколен
в ландышевые колокола!

И в толпе дерев спешит жар-птица
благодати солнца причаститься,

ветерком от ветки к ветке мчит,
возжигая лёгкий вешний пламень,
и огнём зелёным даже камень
светится и почву горячит.

Здесь и там, в любом лесном приделе
крестят всех оттаявших в купели –
чудо, глянь! – и пни зазеленели,
искупавшись! – после смертной сечи
вырубки из пепла встают, –
что за смех счастливый, что за речи!
как горят берёзовые свечи! –
сколько слёз и радости от встречи,
что и птицы гнёзд пока не вьют.

Золотое древнее светило
над землёй взлетает, как кадило,
на четыре стороны: «Воскрес!»
Каждою былинкою угадан,
воскурился чудотворный ладан,
«Вечен, вечен!» – благовестит лес.

Вон, идёт! – в простой своей фелони,
не измяв травы; Его ладони
слаще влаги и нежней лучей!
И никто вокруг не шелохнётся,
слышно лишь, как в камне сердце бьётся,
льётся свет зелёный из очей...

Вечен, вечен, вечен, как и мы!
Нет, как нет – ни смерти, ни зимы.

АЛЛЕЯ В НИКУДА

В паутинах лениво ползущих лучей
незаметно для глаз умирает аллея –
шелушатся стволы, и несносных грачей
в это время не слышно; о нас сожалея,
флигель барского дома ветшал и ветшал,
а потом побелили – там нынче больница,
на скамейке линиялый хранится журнал
и с ходячими курит тайком фельдшерица;
часто коновязь старую возле ручья,

кувыркаясь, облепят крестьянские дети
и дороги, когда-то большой, колея
прорастает травой; давно уж на свете
нет усадьбы; корова весь день у пруда
не спеша, по листочку, кусты объедает,
и аллея ведёт неизвестно куда –
мимо ямы, в овраг, где стоит лебеда,
где над речкою ласточка в глину ныряет.



ИНТЕРЛЮДИЯ

Унылая пора... Всплакнуть или зевнуть?
Безумства позади иль впереди? На запад
указывает путь – не жди от зла добра
и от добра не жди утраченного за год.

Всё уже круг забот существенных, с холма
на холм бежит багрец, и золото у входа,
где затаилась тьма. Куда тебя влечёт,
усталый раб? Беглец, на что тебе свобода?

Свобода выбирать, где проще умирать?
Свобода разлюбить? играть, бряцать на лире?..
Как хочется приврать, что за тобою рать,
и сходу застолбить участок, лучший в мире.

Виток, ещё виток... Из глубины зеркал
проглядывает ил, и длится сон бездарный,
как будто измелечал не твой кургузый срок,
но гордый ход светил и принцип календарный.

Так выпьем же за тех, кто с нами заодно!
Да здравствует оскал! Да не минует слава
массовку из кино и карнавальный цех,
а старый театрал всегда поддакнет: «Браво!..»

Но тишина в фойе, и на-попа столы
в заветном кабаке, где ты назначил ужин,
и журавли: «Курлы! Адье, мусью, адье!» –
проплыли вдалеке туда, где ты не нужен.

«Извольте выйти вон!» – шипит, свиваясь, мгла.
Наступит ли Покров? Вот-вот уже наступит.
Кому земля мала – тот светом отдалён,
кто к осени суров – тот мира не испкупит.

И в бездне голубой, и в тёмной келье дня
дожди начнут с утра святое отпеванье,
и смерть войдёт в меня и примирит с собой –
о милая пора, очей очарованье!

МОСТ

*Упала молния в ручей...
К. К. Случевский*

Нет счастья для меня и нет меня для счастья –
и формула проста, и замысел непрост.
Что мыкать счастье мне, когда могу упасть я,
как радуга в ручей – не молния, но мост

меж телом и душой, меж змием и женою,
и смертью смерть поправ, ворота распахнуть
туда, где дар любви не осквернён виною
и только в небеса ведёт Орфея путь.

Затем и бездна мне в круговороте снится,
что я гляжу в неё, склонившись над холстом,
и мой герой – лишь тот, кого со мной волчица
вскормила в темноте бесстрашным животом.

Мы чужаки в толпе, нам не нужна победа –
ни мир ценой войны, ни хлеб ценой вранья,
тюремный двор земли цветёт на грани бреда,
не принимая нас, и Бог ему судья.

Среди ещё живых теней седьмого круга
скрываясь и скользя уже в который раз,
по загнанным глазам узнаем мы друг друга,
и счастье не сразит и не удержит нас.

Вперёд, держись за ту звезду над переправой!
А бездна под стопой – всего лишь с полверсты.
Да будет твой побег увенчан вечной славой,
мой бедный брат, всегда сжигающий мосты.

«Блистательное имя её...»

Анна Ахматова

Софья ОСТРОВСКАЯ*

Судьба свела меня с Анной Ахматовой. Об этом, вероятно, нужно записывать, ибо все преходяще, человеческие тени мелькают и исчезают бесследно, слова тают быстрее и легче самого легкого дыма...

Как-то летом этого года* Татьяна Гнедич сказала мне, что в город вернулась из Ташкента Ахматова и уже была в Союзе Писателей. С Ахматовой я не была знакома. Я знала ее внешность, я помню ее с далеких дней двадцать первого года, когда она, в синем, с каким-то мехом на плечах, очень прямая, очень горделивая, читала в чудесной памяти Доме Литераторов на Бассейной свои стихи. В руках ее тогда были крохотные листочки. Она чуть склоняла над ними голову и читала – протяжно, глуховато, ровно, без интонаций. Челка. Четки. Узаконенный, почти канонический образ «Анны Ахматовой», так и прошедший где-то рядом – близко и далеко – и в тот год и во все последующие годы.

Часто встречала ее в годы НЭПа. В театрах, в Филармонии, в особенности. Если на каком-нибудь концерте ее не бывало – думала: больна... уехала...

Не спрашивала, потому что спросить было не у кого.

В Филармонии и у Поэтов на Моховой она иногда подолгу смотрела на меня – внимательно, недружелюбно, холодно. Ее изящная скульптурная голова змейки не раз поворачивалась в мою сторону.

Знакомы мы не были.

Позже, в годы ее молчания, когда блистательное имя ее считалось почти одиозным, когда она замкнулась в какие-то неведомые мне круги, я встречала ее несколько раз на улице – на Фонтанке, в Летнем Саду. Останавливалась, смотрела вслед. Можно было бы подойти, сказать какие-то слова, улыбнуться ей, женщине, чье творчество было не только ее песнью, но и моей тоже. Не подходила.

А в это лето известие о ее возвращении в Ленинград меня вдруг и неожиданно потрясло так, словно мне сказали о возвращении близкого человека, друга, родного, своего, с которым была случайная и непонятная разлука.

Знала, что в каком-то Альманахе в Доме Писателя будет участвовать и она. Пошла на этот Альманах, сидела в первом ряду с москвичкой Дружининой, которая, как и всегда, рассказывала мне какие-то юмористические вещи. Потом пришла Ксения. Села рядом. Потом начался Альманах – Прокофьев, кажется, пригласил в президиум Анну Ахматову, и мимо меня, под гул взволнованных приветственных аплодисментов, к эстраде прошла Ахматова, которую я не видела годы и годы. У нее была та же царственная и гибкая походка, она держалась так же прямо, очень прямо, ровно и горделиво. Челки не было. Перечная седина волос открывала хорошей формы лоб. Она была в черном, длинном платье.

Я себя вдруг почувствовала взволнованной и растревоженной до боли в сердце – до самой настоящей физической боли. Вот на эстраде, среди других, сидит женщина, которую я не знаю, но которая прошла со мною через всю жизнь. Не зная меня, она часто разговаривала со мною своими стихами. Не зная меня, она часто давала мне какие-то советы – никогда не прямые, а всегда каким-то образом напоминания, отстранения, мелькания. Не зная меня, она часто бывала гостем, милым, жданным, в доме – к книгам ее была любовь, любовь была и к ее строкам, она умела петь и уводить в какие-то немислимые вечера и полдни, она колдовала и заставляла забывать сегодняшнюю боль и обязательное завтрашнее горе.

Утешительно было улыбаться ей в тюремные дни, громко повторяя наизусть любимые – или случайно запомнившиеся – строфы и жалея, что в памяти не сохранилось еще и еще.

Утешительно было приглашать ее во время болезни и жить с нею среди цветов, бредовых образов и жара.

Чудесно было приносить ее книжки в столовую, когда часы уже давно пробили полночь, и слышать нежный и такой прекрасный, совсем молодой голос мамы:

– Ну, сейчас у меня будет праздник! Пришла Анна Ахматова!

И мучительно, ласково и радостно вспоминать именно теперь, что все последние годы жизни мама осо-

* Ostrovskaya. Memorks of Akhmatova. Russian Text. Из архива ж. «Грани». Запись от 28 сентября 1944 г. – Ред.



бенной любовью любила творчество Ахматовой и часто – очень часто! – просила меня:

– Побудь со мною. Осталось-то, вероятно, уже не долго...

Я приходила, садилась в свое любимое зеленое кресло. Мама, склоненная над штопками, неизменно спрашивала:

– Ты не захватила Ахматову?..

Глядя на седеющую женщину в президиуме я даже не думала об этом. Видимо, это просто жило во мне. Видимо, где-то уже раскрывались какие-то двери – а куда они вели и куда ведут, я не знаю и теперь.

Я давно не знала такого трепета волнения и боли, как в тот вечер. Плохо слушала – не помню, что читал Прокофьев и другие. Кажется говорила что-то Рывина, черненькая и кокетничающая, как обычно. За Ахматовой сидела светловолосая Берггольц. На трибуну поднимался и отвратительный Лихарев. Я запомнила, что он смачно и хорошо произнес одно слово – «пень». Из всех его стихов я запомнила только это слово:

– Пень...

Потом читала Ахматова. И я почти не помню, что она читала. О мальчике, приносившем ей травинки, которому ей не пришлось дать хлеба. О воинстве облаков над осажденным Ленинградом. О часах мужества. О какой-то ночи в среднеазиатском городе – какие-то необыкновенные слова о ночи, которые остались в моем сердце и ушли из памяти.

Берггольц говорила свои стихи о погибшем воине, и Ксения, еще не пережившая гибель Юрия под Нарвой, расплакалась и убежала. Я осталась одна. Дружинина, по-моему, продолжала сидеть рядом, – но я осталась совсем одна.

Когда чтения кончились, и распался и президиум и все ряды, занятые публикой, я вдруг решила, что подойду к Ахматовой и что-то ей скажу. Мне казалось необходимым поздороваться с нею, приветствовать ее в моем городе, сказать ей, что выжили здесь те, кто ее любит, что не все умерло, что и тени сохраняют память.

Сойдя с эстрады, она в какой-то миг осталась одна, черная, высокая, царственная женщина, за которой волочилась незримая мантия славы, горя, больших утрат, больших обид. Я подошла к ней, сказала:

– Мы не знакомы с Вами, но я решила поблагодарить Вас за то, что Вы вернулись, за то, что Вы существуете, пишете, живете.

Она улыбнулась и протянула руку.

– Ну, так будем знакомы.

Я назвала свою фамилию и коротко – но, конечно, взволнованно, конечно, прерывисто – заговорила с нею:

о том, что она была песней молодости моего поколения, что жила со мною долго и неизменно, что была со мною и с нами во время осады города и распятия его, что теперь, после ее возвращения, петербургский пейзаж завершил свое воскресение и стал прежним.

– Вы потеряли кого-нибудь из близких? – спросила она.

Я сказала о маме, о брате в далекой армии – о том, что я одна, что кругом призраки.

Подумав, она посмотрела в сторону и согласилась.

– Вы правы. В городе только призраки...

Через некоторое время в Доме Писателя был творческий вечер Ахматовой. Была уйма народу – пришли и Анта, и Ксения, и Гнедич, и подтянутый, какой-то подкрахмаленный Могилянский, похожий на переодетого священника, и Хмельницкая – и кто-то еще.

На эстраде Ахматова, средневековая, черная и прекрасная, мудро и благородно несущая в старость свою женскую прелесть и странное очарование древней статуи и змеи, сидела между Саяновым и Лихаревым:

– Они похожи на урядников! – сказала Ксения, – а женщину эту можно обожать, знаешь, совсем поинститутски!

Глядя на такое окружение, мне пришло в голову, что следовало бы написать картину и назвать ее «Арест государыни».

После чтения был перерыв, все пошли курить до начала второй части вечера: обсуждения писательской общественностью.

На площадке белой лестницы мы стояли с Ксенией и Антой. Гнедич с кем-то разговаривала. Мимо прошел Могилянский, направляясь к спуску.

– Вы остаетесь? – спросил он, – а я ухожу! Кошунством будет остаться и слушать, что будут говорить о ней. Словно кто-то может что-то сказать! Я ухожу!

Мы тоже решили уйти, кроме Гнедич. И для Ксении и для Анты имя Ахматовой значит то же, что и для меня.

– Докурим и уйдем, – сказала я, – Могилянский прав. Я не хочу слушать никаких обсуждений, даже триумфальных.

В это время Ксения меня толкнула.

– На тебя смотрит Ахматова, – шепнула она.

Я обернулась. В тени дверного проема стояла Ахматова. Поймав мой взгляд, она чуть улыбнулась и кивнула мне.

– Понравилось? – спросила она, пожимая мне руку.

Мы говорили очень кратко. Она сказала:

– Сейчас меня будут ругать...



На ее лице был легкий смугловатый румянец. Улыбка, как и всегда, казалась горькой, недоброй и презрительной.

– О, у вас такое же платье, как у меня! – вдруг воскликнула она, – испанский шелк...

– Нет, – ответила я, улыбаясь, – настоящий советский батист.

– Не может быть, – настаивала она, разглядывая синюю ткань в белые горошинки, – у меня совсем такое же из испанского шелка...

Она потрогала мое платье, улыбнулась и быстро, не прощаясь, скользнула мимо, протягивая руку какому-то милому старичку.

– Настоящая женщина! – восторженно сказала Ксения, слышавшая разговор.

Анта добродушно съязвила:

– Вы гипнотизируете ее своим очарованием!... Мне было радостно, что Ахматова меня узнала.

Со дня моей первой встречи с нею я вспоминала о ней часто и много. Я думала о ней, как думают о любимом. Идя по улице, я иногда улыбалась себе – забавно, не ожидая, я, оказывается, все время жду ее, вот на этом углу, у того вот дома, в трамвае, в Летнем Саду, на соседней улочке...

Но я ее не искала – как и прежде, как и всегда.

Гнедич как-то к Тотвенам принесла мне давно обещанную поэму Ахматовой. Я начала сразу читать вслух, пораженная и очарованная с первых же строк.

– Подождите... что же это! – иногда говорила я, прерывая чтение и проводя рукою по лбу.

Гнедич торжествовала, видя мою почти мучительную радость.

Татика, собиравшаяся куда-то уходить, села и стала слушать. Потом, когда все кончилось, сказала первая:

– Я, правда ничего не поняла, но это так страшно, что я даже не могу уйти по делам. Мне надо отдохнуть.

Татика умеренно любит Пушкина и Апухтина, холодная к стихам вообще и твердо стоит на самой реальной из всех реальнейших в мире почв.

О поэме Ахматовой я много думала и немного говорила. С Гнедич и Антой мы искали расшифровок «зеркального письма». Об этом я напишу, пожалуй, особо.

Поэма ударила меня и разбудила. Это поэма гнева и проклятия. В ней нет ни смирения, ни прощения, ни тишины. Поэма кричит – и, действительно, страшно, как бы не вырвалась тема и не стукнула кулаком в окно... А какая тема – неизвестно. Или, наоборот: каждому известна своя.

Мне, помнится, захотелось написать Ахматовой об ее поэме – о моей концепции, об отражении ее в моей жизни. Не написала, конечно, – как и следовало ожидать. Сочинила письмо в уме, прочла его в уме, отправила его в уме. Все.

Тринадцатого сентября, идя в Дом Писателя на вечер Гнедич о современной английской поэзии, наслаждалась хорошей погодой и блесками чудесного предосеннего неба. Несмотря на близорукость, еще издали узнала силуэт Уинкотта, беседующего у входа в Дом с какой-то дамой. Решила пройти мимо, не поднимая глаз. С этим человеком отношения у меня как-то странно складываются – иногда можно подумать, что мы с ним играем в прятки, но хорошо знаем, где нужно искать друг друга.

Проходя к подъезду, знала, что Уинкотт и его дама смотрят на меня и молчат. Глаз я все-таки не подняла – и вдруг услышала:

– Почему вы не хотите меня узнавать?

По голосу я узнала Анну Ахматову.

Она была без шляпы, видимо, в хорошем настроении, выглядела хорошо и немного лукаво. Дружески пожав мне руку, шутливо переспросила:

– Так почему же вы не хотите меня узнавать? Я вас несколько раз видела на улице, а вы проходили мимо.

Я сказала что-то о своей близорукости и задала вопрос о ее здоровье. Она была больна, у нее плохое сердце – и я знала об этом. Потом я сказала что-то о поэме.

– Понравилось? – задала она привычный вопрос.

– Это не то слово, – возразила я, – мне даже хотелось написать вам об этом.

– Так почему же не написали?

– Я ведь полька... и гордая! – пошутила я, – впрочем, если хотите, напишу.

Подумав мгновение, она быстро положила руку на рукав моего пальто.

– Нет, лучше не пишите, а просто приходите ко мне. Тогда и поговорим о поэме.

Я поблагодарила за приглашение и спросила, в какие часы ее можно видеть.

– Мне все равно. Я никогда не знаю, что я делаю и в какое время. Приходите в четверг.

Она сказала адрес: Фонтанка, 34, кв. 44.

– Вы опять живете в Фонтанном Доме? – спросила я, записывая адрес на каком-то конверте.

– Да. А почему вы мне все-таки не написали?

– У вас такое большое окружение, Анна Андреевна... мне кажется, и жизнь ваша отягощена людьми...

Она вдруг посмотрела в сторону и резко прервала меня.



— Вы ошибаетесь, вы очень ошибаетесь, — почти возмущалась она, — я совсем одна. Город пустой для меня. В городе же никого нет...

Двадцать первого сентября был теплый и хороший день. Я ждала часа, чтобы уйти на Фонтанку, как не ждала уже давно. На рынках и в магазинах не было цветов, кроме вялых свернутых ноготков, очень скверных. А мне так хотелось войти в дом к Ахматовой с цветами. Подумала: если бы это было до войны! Какую великолепную корзину я бы ей послала! Какие чудесные розы я заказала бы для нее — и с какой радостью мой заказ человек бы исполнил!

Видеть эту женщину мне всегда тревожно и радостно. Но радость какая-то причудливая, не совсем похожая на настоящую радость.

Еще не было сумерек, когда я вошла на громадный шереметьевский двор. Посередине были грядки с капустой. Через пустой вестибюль с почему-то растрогавшим меня трюмо я прошла в сад — и по тропинке направо попала к двери. Шумели деревья. Сушилось чье-то белье. Вид мне показался почти царскосельским.

Остановилась и поискала глазами тот самый клен, который назван ею «свидетелем всего на свете».

Но клена я не нашла.

Открыла двери мне она сама и сразу сказала:

— Я вас поджидала.

Была она в каком-то очень простеньком и бедном платье. Голова была повязана черным платочком. Это не была больше сверкающая королева из белого зала в Доме Писателя. Это была Золушка Следующего Дня — но такая, которая знает, что она царственнее всех цариц и что ей принадлежало и первое место и первый принц во всем королевстве.

В длинной и узковатой комнате почти не было мебели. Стояли полусломанные стулья, старое кресло, в которое она усадила меня, маленькая железная кровать, покрытая чем-то темно-желтым, маленький столик, шкаф с отломанной створкой. Вначале я подумала, что Ахматова принимает меня не в своей комнате, что это не может быть, что она не может так жить.

С первых же слов выяснилось: после ее отлета из Ленинграда в сентябре сорок первого в ее комнату, несмотря на всяческие брони, поселили бухгалтера из Управления по охране памятников искусства и старины. Бухгалтер в ту зиму страдал от голода и холода, как и все в Ленинграде. Он жег все, что мог. Он сжег обстановку Ахматовой. Он сжег ее книги. Он сжег ее архив. Его останавливали.

— Война... — отвечал он.

Потом он умер.

— А мне ничего не жаль, — сказала Ахматова со своей особой, свойственной только ей, полуулыбкой, — я не понимаю, как это можно — любить вещи! Я и раньше ничего не любила.

— Значит, вы давно освободились от рабства вещей?

— Я вообще не понимаю этого. Мне и освободиться не пришлось. Я не знаю этого чувства.

Какая-то девушка, которую она называет Ирина, принесла чайник, Ахматова налила чай, выложила на тарелочку печенье. Мы курили, пили чай и беседовали — о разном: о голоде той зимы, о людях, которые погибали, не умея расстаться с вещами, о безлюдии города.

— Я не знаю, как можно здесь жить, — сказала Ахматова, — здесь же никого нет! Город совсем пустой, совсем. На чем все держится — непонятно. Зато ясно видишь, что до войны все, видимо, держалось на нескольких старичках. Старички теперь умерли — и духовная жизнь прекратилась. Здесь же, действительно, ничего нет. И дышать нечем.

Где-то в разговоре я упомянула об искусстве беседы, о том, что искусство это утрачено.

— Да... causerie... — задумчиво сказала она, — этого совсем нет. Нигде. Почти нигде.

— А как было в Ташкенте? — спросила я. Она оживилась и засмеялась.

— А там все ко мне приходили, приходили... Пришла одна дама, очень милая, очень культурная, и прочла мне двухчасовую лекцию о Грибоедове. Потом посмотрела на часы, попрощалась и ушла. За нею пришел Ян — тот, лауреат за своего Чингис-Хана, — и прочел мне двухчасовую лекцию о Чингис-Хане. Потом посмотрел на часы и ушел. За ним пришел еще кто-то и прочел мне новую двухчасовую лекцию о чем-то очень интересном. И потом также посмотрел на часы и ушел. А я за все время, кажется, и полслова не сказала...

Она встала, подала пепельницу, пожала плечами.

— Они все словно сговорились не выпустить меня из Ташкента без законченного высшего образования...

О театре:

— Нет, я не бываю нигде. И совсем не тянет. Я много ходила по театрам во время НЭПа, так обстоятельства складывались... А балет теперь разве можно смотреть, они, по-моему, разучились даже руки поднимать по-балетному! Раньше это все были прелестные девочки, холеные, за ними в каретах приезжали... а теперь я посмотрела как-то на кардебалет: все это бедные, усталые женщины, тут и примус, и магазины, и жилплощадь... какие уж тут танцы! Они же устали. Корифейки танцуют прекрасно, конечно... Уланова, Дудинская. До вой-



ны меня уговорили поехать, посмотреть Дудинскую. Очень хорошо танцует, я получила удовольствие, но кардебалет...

– Я не люблю Сюлли-Прюдому...

– В Москве я люблю только арбатские переулочки. И переулки Замоскворечья. Потому что в этом месте Москва еще сохранила план деревни, там разбросанность и линии строений такие же, как в деревне...

– В Ленинграде выжили немногие... но какой ценой некоторые выжили

– Случилось ужасное за это время. О людях, которых я привыкла уважать, любить, смотреть на них, как на настоящих людей, узнаешь теперь такое... как страшно обнажились люди во время вашей великой блокады! И какой звериный лик проступал... нет, не звериный, хуже...

– Сколько же лет Гнедич? Неужели только тридцать шесть? Правда, у нее как будто нет возраста – ей можно дать и двадцать и шестьдесят.

– О Ленинграде написано много, но все не так... все какие-то «меридианы» или вроде...

Приходит какая-то «старинная» дама в шляпке-коробочке. Лица ее я не вижу в густых сумерках. Зовут ее Валерия Сергеевна. Она много говорит и делает много мелких и изящных жестов избалованной и кокетливой женщины. Она немолода и называет Ахматову на «ты».

– Аня, дай мне чашечку чаю! Чай с сахаром – это такая роскошь! Я набожно пью такой чай!

Из ее непрерывного велеречия узнаю, что она знакома с Ахматовой с пятилетнего возраста, что и она царскоселка, что они с Ахматовой никогда не ссорились...

– Представьте, у нас не было недоразумений даже из-за поклонников. Впрочем, мы разные, и поклонники были у нас разные... ..что они жили когда-то в Петербурге, что она знала Гнедичей с Фонтанки, так это были какие-то купеческие Гнедичи, совсем нестоящие внимания, что недавно финны послали в город снаряд, и он разрушил дом на Боровой...

– Не может быть... – говорит Ахматова.

– Уверю тебя...

– Это было в сорок первом, это первая бомба, – говорит Ахматова.

– Ах, оставь, пожалуйста, это было тогда, а это теперь...

Ахматовой неприятно. Дама остроумничает и мелет несусветный вздор – так говорили дамы в эпоху тридцатых–девятнадцатых годов.

– Меня приглашают в Москву... – переводит разговор Ахматова.

– А квартира? – восклицает дама.

– И квартиру дают.

– А что – для этого славословие Москве написать нужно?...этому, ну, самому главному...

– Валя! – Ахматова в ужасе.

– Перестань! Я прекрасно знаю, как это делается... Принимаю все ее высказывания в шутку и за шутку, и Ахматова, видимо, мне благодарна. Она же меня совершенно не знает, а тут такие разговорчики...

Мы еще о чем-то говорим, но сбивчиво: всем владеет словоохотливая дама. Встаю, прощаюсь. Ахматова обещает зайти ко мне во вторник или в четверг. Провожает в переднюю, выходит на совершенно темную лестницу, предупреждает:

– В саду трудно найти нужную тропинку... как же вы пойдете?

Она изысканна, вежлива и холодна, как настоящая королева. Знаю, что присматривается ко мне, что я ее интересую, что, может быть, она даже вспоминает что-то.

В саду долго плутаю по траве и невидимым дорожкам. Где-то слабо горят желтые огоньки в окнах. Потом и они потухают, и я остаюсь в полной тьме. Звезды. Под звездным сумраком начинают проступать контуры Шереметьевского дворца. С трудом нахожу дворцовую дверь в вестибюль. Сторожиha участливо высовывается из своей каморки:

– А мне уж сказали: спички кто-то жжет в саду! Я сразу и подумала, что это вы. Ничего, говорю, не бойтесь, это даже не мужчины и не чужие, это все наши писательницы ходят...

Домой иду по темным, весенним улицам. Горят китайскими фонариками сигнальные огни. Синими призраками страшных животных проходят трамваи. Слепят автомобильные фары. Город графичен: весь в контурах.

Возвращаюсь в пустой дом, где меня никто не ждет. Долго пью чай в одиночестве. Читаю стихи. Думаю о словах Ахматовой, сказанных вскользь:

– Не люблю делать неприятности людям... Может быть, она и добрая. Может быть.

Гнева в ней много и проклятия – как в ее поэме. Сдержанная. Молчаливая. Хорошо слушает. Скупа на реплики. Не только поэма – она сама, как зеркальное письмо. Одинокaя, вероятно. Очень одинокaя. Орлица.

Двадцать седьмого сижу дома с завязанным глазом, в халате, в ночной рубашке и Эдикиных туфлях. Читаю Ксении письма Николеньки и говорю о нем. Кто-то звонит, и Валерка торжественно возвещает в дверях:

– Софья Казимировна, к нам пришла Анна Ахматова...



Это не вторник и не четверг. Это среда. Я в самом ужасном виде. Мне сразу делается неприятно – я не хочу показываться Ахматовой в таком виде, но...

– Зажги свет в столовой... – кричу я и выхожу. Ахматова одета скромно и почти бедно. На голове опять какой-то темный платочек. Ксения убегает, зная, что я хочу быть одна. Говорю о разном, не сразу овладевая разговором.

– Что вы хотели мне сказать о поэме? – прерывает Ахматова и смотрит, смотрит...

Приношу рукопись, разворачиваю, говорю. Слушает. Потом начинает отрицать – нет, это не о Гумилеве, кто мог так подумать! Это просто о том, о чем и написано – о гусарском корнете и об одной актрисе.

– Причем же тогда признание автора в зеркальном письме? – думаю я, но пока не говорю ни слова.

Соглашается с интерпретацией некоторых строк.

– Это верно, – говорит коротко.

– Ваша поэма полна гнева и непростения...

– Пожалуй, вы правы... Я читала ее в Москве Пастернаку, он привел даже кулинарные сравнения. Сказал: «Раньше вы писали пассивные вещи, а здесь все кастрюли кипят, все шумит...»

– А кто Вам говорит «о двусмысленной славе»? Это Ваша Муза?

Она возмущенно поднимает руку.

– Нет, как можно! Это – романтическая поэма, такая брюлловская женщина.

Я качаю головой, не соглашаясь. Она видит это и молчит. Говорю о ее словаре, о новых словах, не «ахматовских»: скобарь, девка, дылда и прочее.

Смеется – довольная.

Потом читает несколько своих вещей: «Из перламутра и агата...», о среднеазиатской луне и что-то еще. Слушаю не вещи, а ее голос, звучащий в доме, где ее любили.

Читает прекрасные строки, где острая и злая формулировка:

*Чужих мужей вернейшая подруга
И многих безутешная вдова.*

Спрашиваю:

– Это не войдет в сборник?

– Конечно, нет.

– А я это получу?

– Нет:

– О, какая четкость!

Смеемся обе. Думаю все-таки, что рано или поздно – получу. Пьем чай с печальными бутербродами: черный хлеб и сыр. Слава Богу, что хоть сыр дома был!

– У меня какая-то грандиозная память. Я все помню.

– Некоторые свои вещи я ненавижу.

– Недавно одна моя соседка, работает она монтером на заводе, говорит мне, что моими стихами увлекается какой-то, кладовщик у них и считает стихи хорошими. Я спрашиваю, какие же стихи он читал, что ему так понравилось? Отвечает: «У тебя написано что-то производственное – о леснике!» Угадываете, о чем шла речь?

Я угадываю сразу:

– Сероглазый король.

Она так поражена, что пару раз переспрашивает:

– Но как вы могли угадать? Никто не угадывает!

– Сероглазого короля я ненавижу! Я нарочно в сборник вставила двустороннее, которое его портит: нарочно, из ненависти... Он волочится за мною, как рюкзак, мрачный и противный. Его ненавижу и – еще: «Сжала руки под темной вуалью...». Это меня преследует. Куда ни пойду – всюду и Сероглазый король и это.... Даже Вертинский поет Сероглазого... Когда я об этом узнала, поняла, что вещь кончена, что и мне конец в этой вещи...

– Не отрекайтесь от прошлого, Анна Андреевна...

– Я не отрекаюсь, я просто ненавижу то, что разлюбила.

– Как вам понравилась дама, что была у меня?

Сразу понимаю, что она будет «сглаживать».

– Очень милая.

– А что вы о ней подумали?

– Что она настоящая «петербургская дама».

– Да. Это стилизация. И неудачная.

– Она актриса? – спрашиваю я нарочно.

– Вот видите! Вам даже показалось, что она актриса. Вы ясно почувствовали игру, ненастоящее. Нет, это вдова психиатра Срезневского. Я знаю ее с детских лет. Она долго болела... психически. Спасла ее с трудом. Теперь все прошло, выжила и поправилась, но...

Ахматова заботится о своей политической чистоте. Она боится. Она хочет, чтобы о ней думали, как о благонадежнейшей. Она знает, что я знакома с Горским из Литиздата. Видимо, у писателей ей намекнули, что я «со связями». Она мне кажется сразу милой и немного забавной.

Ставлю ей шалляпинские пластинки – Сугубую Екстению, Верую, Покаяния ... Слушает замечательно. Потом говорит:

– Такой родится один раз в тысячу лет.

Потом поясняет:



– Я ведь его слышала всего один раз – в двадцать первом, перед его отъездом за границу. Ни за что прежде не хотела слушать его, считала, что ходят на него только буржуи (ударение на и!) и говорят о нем только они, когда больше говорить не о чем! А тогда меня заставили пойти, уговорил один человек, сказал, что нечего больше дурака валять. Я видела его в «Борисе». Один раз. Необыкновенно!

Несколько раз возвращаемся к поэме. Ее, кажется, очень интересуют мнения широкой публики. Ей, почти, как девочке, нравится загадочность окружающая и поэму и ее.

– Поэма вызывает резко-противоречивые толки. Одни находят ее слабой, неинтересной, непонятной, худшим из всего, что я написала. Другие, наоборот, видят в ней самое лучшее из моего творчества, предел, вершины его, любят поэму, цитируют ее, учат наизусть, пропагандируют, клянутся ею.

– Композитор Козловский уже написал музыку к поэме. Он взял три части – Вступление, между про-

чим, – и написал: для симфонического оркестра и женского голоса. Для низкого женского голоса.

– Разве так я бы написала о Коле!! Я бы говорила о нем другими словами. Разве можно сказать о нем, «гусарский корнет со стихами»... Я бы оскорбила его.

Упоминаю вскользь, и не акцентируя, имена, которые она знает, людей которых знает она и знаю я.

– Евгений Иванович...

– Всеволод Рождественский...

– Аксель...

Реакции у нее скупые и словно испуганные. О Замятине: «Я была дружна не только с ним, но и с Людмилой...»

О Всеволоде: молчание.

Об Акселе: «Вы его знали?»

Прощаемся. Зовет к себе. Собирается скоро уехать на несколько дней в Москву. Благодарит – и в благодарности снова королева, холодная, вежливая и изысканная.

Помните рассказ Владимира Набокова «Рождество»? «Над белыми крышами придавленных изб, за легким серебряным туманом деревьев, слепо сиял церковный крест».

Неистовая метель, какая бывает только в России рождественской ночью перед тем, как на высветленном ею небе зажжется звезда Вифлеема, не может заглушить свою беспредельностью «страшные, сухие рыдания» обезумевшего от горя человека. Ему «до конца понятна, до конца обнажена земная жизнь – горестная до ужаса, унизительно бесцельная, бесплодная, лишенная чудес».

И в эту самую минуту в коробке из-под английских бисквитов, из индийского кокона в коллекции сына, уже переплывшего на лодке со старцем Хароном темную реку в царство мертвых, «с тонким звуком» появляется экзотическая бабочка и темнобархатные крылья ее, «загнутые на концах», «вздохнули в порыве нежного, восхитительного, почти человеческого счастья».

...Где рождается наша душа и куда исчезает после положенного каждому срока на бренной, но такой прекрасной земле? Или томится она в коконе земного тела, как считали в древности, до той минуты, до волшебного мига, когда, подобно бабочке, выпорхнет наружу и снова исчезнет в неизведанном? Может, действительно, «изумрудная скрижаль» Гермеса Трисмигиста, которой без святотатства поклонялся писатель, изучая жизнь бабочек с раннего детства, и есть неистребимая вера человека в бессмертие души его? Ведь был же убежден Владимир Набоков, что потом, после высвобождения духа из своей физической оболочки, парит он над ней, соприкасаясь с Истиной и «наступает иной, неведомый нам отсчет времени, происходит непостижимое при жизни человека таинство».

Удивительная эта субстанция – душа человеческая! Загадочная, таинственная, не подвластная – слава Богу! – ни времени, ни пространству, ни расстояниям, ни вычислению и измерению. Ходишь, бродишь по земле, открывая ежесекундно мир красок, запахов, звуков, прорываясь с горячим лучом внезапно опалившей любви в «тончайшую ткань мировую», за пределы видимого мира, и вдруг, в одночасье, обнаруживаешь живущую

в тебе как бы от рождения генетическую память, что сродни лишь космической глубине и необъятности...

С чего это я вижу запряженных лошадей, бредущих тихо, неторопко свежим летним утром по непросохшей от вчерашнего дождя сырой дороге до усадьбы Набоковых на Выре, находящейся в семи верстах от станции Сиверской Варшавской железной дороги, что южнее Санкт-Петербурга на шестьдесят верст с гаком? И с одной и с другой стороны поля, простертые до горизонта, огромные, плывущие облака над сенокосом, «то куст ольховый, то ива», «и в колосьях лазурь васильков», и тонкая темная линия леса за ними, и кружит над нами со щелканьем и свистом беспечная птаха. Направо – ромашковый рай, чуть припыленный у обочины, и «ворона тяжело летит», и «жаворонка звон мерцает как звезда» и «колокольчики лиловые смеются», и дремлет озеро с «фарфоровым куполом цветка водяного».

Налево, где дорога как бы нехотя делает ленивый изгиб к Лужскому шоссе, «то медом повеет с соседней поляны, то тиной потянет с недалекой реки», краснеет с влажными зеленоватыми тенями мха амбар из красного кирпича. Говорят, он стоял там еще совсем недавно, каких-то три-четыре года тому назад, странным образом пережив долгие лихолетья, молчаливо хранивший в своем прохладном полумраке голоса тех, кто бродил вокруг него, дышал воздухом тенистых рощ и елового бора – сказочного ожерелья лесов и усадеб этой «русской Швейцарии». В Рождествене, Батове, Выре, Воскресенском, Изваре, Сиверской жили: декабрист Рылеев, художники Рерих, Шишкин и Крамской, а еще ранее семья Ганнибала, предков Пушкина. В деревне Кобрино до сих пор «сирень цветущая вокруг избушки серой» няни поэта Арины Родионовны...

Здесь, у амбара, «сладко дрогнет лес» и забьется сердце в предчувствии чуда. Тогда можно сойти с повозки, снять легкие сандали и, перекинув их через плечо, связанных на ремешках, ступить босыми ногами на прохладную от утренника траву. И брести бездумно-радостно до тех пор, едва касаясь ступнями ее шелковистости, пока чутким ухом не уловишь плеск от налетевшего ветерка и вздрагивающих во сне хвостом по воде



рыб реки Оредежь, в сине-зеленые прозрачные глаза которой глядятся, задумавшись, сосны.

Что за чудное название – Оредежь! Что-то древнерусское таится не только в самом имени реки, но и в красноватом крутом песчаном берегу. С него явственней и заметнее «сквозь белизну молочную черемух» солнечные блики на крыше «дома с колоннами» Набоковых, его последних хозяев, усадьбы с деревянными резными наличниками, балконами и галереями, высокими светлыми кирпичными трубами, каким сохранила, к счастью, для нас этот дом, сгоревший во время войны «при отступлении немецко-фашистских войск», по официальной версии, фотография начала века...

Там «далекий молитвенный звон», «и дом все так же тих стоит меж старых лип», «и бессмертное пламя керосиновой лампы в окне», а «на кресла, на паркет янтарный льется свет». А подле дома, в черемуховом овраге «шуршащий по голенище влажный куст» «и ромашка в теплом сене у самых губ моих»...

Там на Святках, когда «серебряной голубизной лоснятся колеи», скольжение полозьев финских саней с высокими прямыми спинками чуть касаемое в плавном беге снежного покрова, а «по снегу – скрип, скрип – в валенках кто-то идет», и «во сне приближение счастья», и «новый день – росинка рая, а прошлый день – алмаз».

...Там за круглым, «грибным» столом-одноножкой, облепленным ржавой прошлогодней хвоей и листьями, установленным в саду под старой яблоней, мать, Елена Ивановна, – такая красивая и молодая, в шелковой светлой блузе с кружевными оборками, тонкой девичьей талией, туго перехваченной поясом с перламутровой пряжкой, в плетеной из цветной соломки широкополой шляпе, опоясанной розовой лентой, сортирует грибы к обеду и на зарумянившемся прелестном лице ее блуждает улыбка. А отец, Владимир Дмитриевич, о котором сын, унаследовавший «любовь к бабочкам, шахматам, боксу, поэзии», расскажет, подчеркивая независимость суждений отца, смелость, широту и либеральность его взглядов, в английском варианте автобиографических воспоминаний «Speak, темог» («Говори, память»), стоит рядом с «грибным» столиком и что-то увлеченно говорит ей...

Владимир Дмитриевич Набоков, вернувшийся к нам из небытия.

Кем был он, кто он был, давший миру русского писателя, творчество которого еще до встречи с нами, обделенными собственными духовными ценностями, политизированными порой до фанатизма, озабоченны-

ми поисками куска хлеба насущного, принадлежало и принадлежит планете, ее масштабу и является как бы «отсаженной ветвью гипотетической литературы, проросшей сквозь культуру в цивилизацию»; творцом, оказавшимся и сегодня, почти через столетие со дня рождения «в очередной раз в тоталитарной тени, как и при жизни», по словам критика?

Только ли прирожденным аристократом, баринном, англomanом, выписывающим из Англии все дорогие и модные вещи, включая сачки для бабочек; главой богатейшего российского семейства с многомиллионным состоянием, имением в полутора тысяч десятин, привилегированной частной школой Тенишева для детей, проповедующей идеи либерализма; домашними «француженками», «англичанками», гувернантками и гувернерами?

...Листаю страницы пятого тома «Малой советской энциклопедии», вышедшем в тридцатом году и ставшем уже давно библиографической редкостью. А вот и те несколько строк, которые ищущий:

«Набоков, Владимир Дмитриевич (1869–1922), видный член к.-д. партии, юрист, один из редакторов «Речи». Член Государственной Думы. В 1917 – Управляющий делами Временного правительства. Во время гражданской войны входил в состав Крымского правительства. Один из редакторов «Руля». Убит в Берлине монархистом».

Вот и все, что мы могли знать об этом человеке за все десятилетия советской власти.

И отзывается в такую минуту боль о потерянном, и начинаешь понимать, что есть все-таки в нашей памяти, той набоковской «длинной вечерней тени истины», если, конечно, найти себе труд обратиться к ней, и даже в чудом сохранившихся архивах из спецхранов, еще данные. Скупые, на первый взгляд, они проливают истинный свет на его блистательную личность, хотя и сам род Набоковых занимает в истории русской культуры свое, особое место.

...Его отец, Дмитрий Николаевич, «служил» министром юстиции. Дед, Николай Александрович, – мореплаватель и ученый. Совершив вместе с Литке и Врангелем путешествие на Новую Землю, он открыл там реку, названную его именем. Брат деда – Иван Александрович Набоков – герой Отечественной войны 1812 года.

С именем Владимира Дмитриевича, профессора уголовного права, связано создание конституционно-демократической партии, или кадетов, позднее переименованной в партию народной свободы. Депутат Первой Государственной Думы, он произнес на заседаниях



блестящие речи, принесшие ему в те годы всероссийскую известность.

За публикацию в журнале «Право» в тысяча девятьсот третьем году знаменитой статьи «Кишиневская кровавая баня», разоблачающей роль полиции в организации погрома, был лишен камер-юнкерского звания, а в тысяча девятьсот тринадцатом оштрафован за репортажи из Киева с процесса Бейлиса. Двумя годами раньше, когда петербургская газета «Новое время» поместила заметку, задевающую его честь, он вызовет издателя А. С. Суворина на дуэль...

Привожу эти факты биографии Владимира Дмитриевича Набокова с единственной целью – спросить, кто из журналистов и литераторов в наши дни, считающие себя «интеллигентами до мозга костей» (о политиках и не говорю – они в своем «подавляющем большинстве» – безнравственны), может похвастаться поступками подобного рода?

И еще один вопрос не дает мне покоя. Отчего это мы, так пристально и ревностно, с таким интересом и волнением, порой даже со страхом и болью обращаемся вновь и вновь к тем месяцам «пулеметного», как выразился Набоков-сын, семнадцатого, к «началу страшных времен, смысла которых не осознавали, не предвидели до конца даже ведущие актеры исторической трагедии»?

Что мучает нас сегодня, через десятилетия катаклизмов, когда все, начавшееся тогда, одними пережито, другими – забыто, третьими принято на веру, но так и не понято по-настоящему до конца жизни, четвертыми... и отпусти им грехи, Господи!

Отчего так очевидны аналогии с «февралем», «апрелем», «октябрем» и даже «августовским путчем» – мятежом генерала Корнилова, когда демократические вожди «выясняли отношения», а Ленин искусно воспользовался двоевластием?

Страшно даже и думать, что в то время, когда оставшиеся до конца двадцатого века дни, недели, не говоря о месяцах, можно вычислить простым арифметическим действием – так ничтожно мало их осталось! – «Ленин жив!», олицетворяя по-прежнему большевизм, но сегодня еще и его разновидность – нацизм. Хотя такого рабства человека, своевластия и произвола правительства, цинизма и обмана не знали ни один народ, ни одна страна и никакая эпоха в мировой истории...

Или, как и прежде, мы все еще находимся в состоянии и в настроениях той русской интеллигенции, ушедшей в эмиграцию «на заре советской власти», которая была склонна считать все происходящее в России результатом лишь роковой случайности, махинациями преступной банды, желавшей во что бы то ни стало удер-

жать власть, а «планы построения социализма» – безумной химерой, рано или поздно обреченной на провал?

...Двадцать первого апреля тысяча девятьсот восемнадцатого года Владимир Дмитриевич Набоков, свидетель – и можно сказать, «привилегированный» первых месяцев революции, начал писать свои «записки». Оформленные в книгу, а, может быть, скорее в брошюру под своеобразной рубрикой «Вчера, сегодня, завтра» и под заголовком «Временное правительство и большевистский переворот», она издана в Лондоне и попала мне в руки более, чем случайно.

Книгу приобрел на книжной ярмарке во Франкфурте-на-Майне мой друг, немецкий художник-фотограф Ханс Зивик, а границу она пересекла в то время, когда «это» было «не дозволено», – открывая страшную тайну! – вместе с другой антисоветской литературой, в том числе и издательства «Посев», волею даже не судьбы, а фарса, – с одним из прокоммунистических литераторов Феликсом Кузнецовым.

Все было, «как в жизни», до удивления просто. Ханс, летевший из ФРГ с ним в одном самолете и нагруженный «сверх веса» необходимой для съемок в России аппаратурой, без всякой «задней» мысли перед отлетом упаковал книги в объемистый профессорский портфель любезного до крайности Кузнецова...

Так «записки» Владимира Дмитриевича Набокова о «пулеметном семнадцатом» оказались в моей личной библиотеке. И однажды высветили, как никакая другая книга на «эту» тему, те, революционные месяцы и дни России, когда «все смотрели довольно поверхностно на опасности, связанные с приездом амнистированного вождя большевизма», прибегнувшего для этого к услугам Германии, с особенной яркостью высказались отрицательные черты нашей «революционной демократии», ее «близорукая тупость, фанатизм слов и формул, отсутствие государственного чутья»; «Городская Дума напоминала собой растревоженный муравейник», «большевики, вероятно, относились с большой иронией к попытке «организации общественного мнения» и продолжали делать свое очень реальное дело»; творились безобразия с домом Ксешинской, частной собственностью, «захваченной явно насильственным способом и ежедневно подвергавшейся порче и разрушению», а улицы Петербурга заполнили «безумные, тупые, зверские лица вооруженных солдат на «моторах».

Кстати, любопытный эпизод связан с первыми же моими шагами по пути публикации «записок» на роди-



не – через семьдесят с лишнем лет! – руководствуясь естественным и искренним желанием не просто рассказать о том, что сама узнала из лондонской книги о Набокове-отце, но – и это самое главное, – «дать слово» ему. Предпринятая попытка напечатать в «Литературной газете» хоть малую толику «записок» – потерпела фиаско.

Член редколлегии Бонч-Бруевич, как только материал попал к нему в руки, вызвав меня, прямо сказал, глядя в глаза, что если я «не уберу» тот «абзац», где говорится, мягко скажем, нелицеприятно о его родственнике-однофамильце, известном сподвижнике Ленина, в то время заведующем делами Совета Народных комиссаров, который, по словам Владимира Дмитриевича, «пользовался самой отвратительной репутацией и считался человеком, нечистым на руку», то он, Бонч-Бруевич, будет вынужден выступить... с опровержением.

Часть «записок» мне все-таки удалось опубликовать в далекой сибирской провинции, в иркутском областном журнале «Голос», ничего, разумеется, не только не сокращая по тексту, но и с соблюдением орфографии тех лет. Но, к сожалению, только часть.

Та же «Литературная газета» в материале «Обретение «Голоса», отмечая «определенный перекося, свойственный всем изданиям этого типа», и исказив – сознательно или нет, – можно только догадываться! – заголовков второй главы «записок», назвав ее «Октябрьский переворот» вместо «Большевистский переворот», как было у Набокова, воскликнула в конце: «Но кто же из публикаторов отказался бы от такого материала!» Парадокс, да и только!

До сих пор я так и не поняла, в душе все-таки сочувствуя Бонч-Бруевичу, – нелегко носить такую «революционную» фамилию, – против кого был направлен его гнев? Автора воспоминаний или меня, публикатора? А, может быть, истории, из которой –увы! – не убрать даже «абзаца», несмотря на то, что кому-то порой и очень этого хочется...

С началом «переворота» Владимир Дмитриевич, по его собственному признанию, «довольно близко стоял к Временному правительству». Два месяца, находясь на посту Управляющего делами, «чуть не ежедневно присутствовал на закрытых заседаниях единственным лицом, не принадлежавшим официально к его составу». Но и позднее «по разным поводам и при разных обстоятельствах» находился с ним «в тесном контакте».

Он подробно рассказывает о причинах, побудивших его мириться с положением «только свидетеля, но не

участника политического творчества», и констатирует факт – «от этих заседаний не осталось никакого следа»!

Записывать прения он не мог, ввиду их «строго конфиденциального характера». Это вызвало бы протест, по его утверждению, прежде всего со стороны Керенского, всегда подозрительно и ревниво относившегося ко всему, в чем он мог усматривать «покушение на верховные prerogatives Временного правительства».

К сожалению, дневника в те дни он не вел, а «писать же post factum» просто не было времени – занятый «с утра до поздней ночи» еле находил силы, чтобы выполнить выпавшую на его долю работу.

Только находясь в «медвежьем углу Крыма», занятого немцами, «отрезанным» от всей остальной России целый месяц, не имея под рукой ничего «для облегчения памяти», если не считать кипы номеров «Речи», «по счастью, сохранившихся у И. Петрункевича», он не без колебания, будучи честным человеком и осознавая всю ответственность за содеянное, все же приступил к «запискам». Признавая, однако, что и «Речь» – это «драгоценное пособие» не могло отражать хода «той внутренней закулисной политической жизни, которая, как это бывает всегда, направляла и всецело определяла ход жизни внешней»...

«Как ни скуден тот материал, которым располагает моя память, все же было бы, думается мне, жаль, если бы этот материал погиб бесследно. Я считал бы крайне важным, чтобы все те, кто так или иначе оказались причастными к работе Временного правительства, поступили бы так же.

Будущий историк соберет и оценит все эти свидетельства. Они могут казаться очень разноцветными, но ни одно из них не будет лишним цены, если пишущий задастся двумя абсолютными требованиями – не допускать никакой сознательной неправды – от ошибок никто не гарантирован! – и быть вполне и до конца и с к р е н н и м»...

И еще одна цитата из выступления Владимира Дмитриевича Набокова к своим «запискам», которая, по моему разумению, адресована не только нам, но и нашим потомкам:

«Ровно год тому назад, в эти самые дни апреля произошли в Петербурге события, все значения которых для судьбы войны и судеб нашей родины т о г д а еще не могло быть в достаточной степени понято и оценено. Теперь уже ясно видно, что именно в эти бурные дни, когда впервые после торжества революции открылось на мгновение уродливо-свиное лицо анархии, когда вновь, во имя партийной интриги и демагогических вожделений был поднят Ахеронт и преступное легко-



мыслие, бессознательно подавая руку предательскому политическому расчету, поставило Временному правительству ультиматум и добилося от него роковых уступок и отступлений в двух основных вопросах – внешней политики и организации власти, в эти дни закончился первый, блестящий и победный фазис революции и определился – пока еще неясно – путь, поведший Россию к падению и позору.

Это не значит, конечно, что в течение двух первых месяцев, когда на развалинах самодержавия, формально отжившего еще семнадцатого октября 1905 года, но фактически еще целых одиннадцать лет пытавшегося сохранить свое значение, – организовывалась новая, свободная Россия, – что в этот период все обстояло благополучно.

Напротив того, внимательный и объективный взгляд мог бы в первые же дни «бескровной» революции найти симптомы грядущего разложения. Теперь, *post factum*, когда просматриваешь газеты того времени, эти симптомы кажутся такими несомненными, такими очевидными!

А тогда люди, взвалившие на свои плечи неслыханно тяжелую задачу управления Россией, в особенности на первых порах, как будто предавались иллюзиям. Они хотели верить в конечный успех. Без этой веры – откуда бы могли они почерпнуть нравственные силы?

И впервые должна была пошатнуться их вера именно в эти роковые апрельские дни, когда «революционный Петроград» вынес на площадь жизненный для России вопрос о задачах ее внешней политики и на красных знаменах впервые появились надписи, призывающие к свержению Временного правительства или отдельных его членов.

С этого момента начался мартиролог Временного правительства. Можно констатировать, что уход Гучкова и принесение Милюкова в жертву требованиям исполнительного комитета Петербургского Совета рабочих и солдатских депутатов были для него первым ударом, от которого оно уже больше не оправилось. И, в сущности говоря, последующие шесть месяцев с их периодическими потрясениями и кризисами, с тщетными попытками создать сильную коалиционную власть, с фантастическими совещаниями в Малахитовом зале и в московском Большом театре – эти шесть месяцев были сплошным умиранием.

Правда, в начале июля был один короткий момент, когда словно поднялся опять авторитет власти – это было после подавления первого большевистского выступления. Но этим моментом Временное правительство не сумело воспользоваться и тогдашние благо-

приятные условия были пропущены. Они более не повторились.

Легкость, с которой Ленину и Троцкому удалось свергнуть последнее коалиционное правительство Керенского, обнаружило его внутреннее бессилие. Степень этого бессилия изумила тогда даже хорошо осведомленных людей...»

Девятнадцатого ноября семнадцатого года в два часа по полудню и спустя час после отъезда Владимира Дмитриевича в Москву, в петербургском доме Набоковых, где «легкие льдинки чуть блестят под люстрой, и льется в окно голубая ночь, и страница из Глинки на рояле белеет давно»... был произведен обыск.

Когда через три дня Набоков вернулся, в Таврическом дворце на заседании Всероссийской комиссии по выборам в Учредительное собрание «появился большевистский прапорщик с бумагой, подписанной Лениным и содержащей предписание, весьма нелепо отредактированное: арестовать кадетскую комиссию по выборам и препроводить ее в Смольный». Арест!

Через пять дней после заключения в Смольном, где «в узенькой, низенькой комнатке» для пятнадцати арестованных были установлены деревянные лавки, стулья и «две скверных постели», а в комнатку приходилось подниматься по лесенке, ведущей из подвала, Владимир Дмитриевич был выпущен, так и не признав на допросах «власть народных комиссаров».

Прошла ночь. На следующее утро он вышел из дому, часов в десять, далекий от мысли, по его собственному признанию, что больше уже никогда не переступит его порога. Хотя и чувствовал, что «наш арест и освобождение – простая случайность в надвигающихся стихийных бедствиях, и освобожденные сегодня – мы завтра снова можем быть посаженными».

Интуиция не подвела. Уже по дороге Набоков прочел «декрет», ставящий конституционно-демократическую партию вне закона и предписывающий арест ее руководителей.

Не возвращаясь домой, лишь отдав по телефону необходимые распоряжения, он уже вечером, получив «по невероятной случайности» билет и место до Симферополя в конторе спальных вагонов, взяв с собой только самые необходимые вещи, выехал в Гагспру, где уже две недели находилась семья, воспользовавшись гостеприимством графини Паниной: «...закрыв одну, другую дверь и в сумрак ночи снежной таинственной ушел свободный, безнадежный...»

Там он провел с семьей всю зиму, весну, часть лета «безвыездно», пережил «большевистский захват Крыма, потом немецкое нашествие», в июне уехал в Киев,



намереваясь пробраться в Петербург, домой. Но этого ему не удалось...

В грозовом апреле девятнадцатого, когда на крымском полуострове сквозь дым гражданской войны зловеще буйно, как бы обгащенные кровью, в форме мотылька, еще до появления листьев расцвели красновато-лиловые цветы «иудиного» дерева, Набоковы на греческом судне с символическим названием «Надежда», отплывали из Севастополя, «полыхающего сумрака отчизны», в Пирей, «к другим берегам», приняв герб изгнания.

Они долго стояли на палубе – отец, мать, дети, тесно прижавшись друг к другу, а на глазах «уплывала, таяла Россия, болью становясь». Надеждам на возвращение из эмиграции сбыться было не суждено...

...«Тебя покинул я во мраке».

Кажется нет на свете ничего более условного, чем понятия Времени...

И в эти апрельские дни моего недолгого пребывания в Санкт-Петербурге «в Петровом бледном небе», как и в начале века, – «штиль, флотилия туманов вольных», «след локтя оставил на граните Пушкин», «белые каналы», и «пристани, и рыбные садки», и «легкий лик, твой воздух несравненный, твои сады, и дали», и «нежно в каменном овале синеют крепость и Нева», что «лениво шелестя, как Лета льется»... Все так, как было во времена иные, все так же светло и торжественно в Северной Пальмире, если хоть на полчаса забыть о мерзостях жизни нашей вокруг.

А в тишине незнакомец-лип с дымком весенней зелени, в двух шагах от площади, где «величаво плавает в лазури» бессмертный Исакий с высеченными на фронтоне вечными словами: «Храм мой храм молитвы наречется», стоит дом, покинутый хозяевами «в огне и пепле революции». И неспешно подойдя к нему, при полном воскресном безлюдии улицы, к моей радости, стою через дорогу напротив, не шелохнувшись, несколько минут, пристально глядя в широкие окна, за которыми никого нет, словно в прошлое... А зайдя во двор, квадратный, маленький, высокий и гулкий, как пустой колодец от соседства высоких каменных стен, повторяю в памяти набоковские строки уже не во сне и не в разлуке, как он, а в миг свидания: «...перед домом мне, вольному бродяге, незнакомым, и мне родным, стою я сам не свой и к тайному прислушиваюсь пенью»...

...Его, построенного в начале восемнадцатого столетия и принадлежавшего роду бояр Нарышкиных, купил известный уральский золотопромышленник и меценат Иван Васильевич Рукавишников для дочери Елены,

вышедшей в тысяча восемьсот девяносто восьмом году замуж за камер-юнкера Владимира Набокова. Это был свадебный подарок отца любимой дочери.

Через три года после свадьбы особняк не только капитально перестроили, но и возвели третий этаж. Отделка в стиле «модерн» осуществлялась с привлечением лучших мастеров и фирм. Достаточно сказать, что мозаичный фриз заказан в частной мастерской В. Фролова, автора мозаик Храма Христа Спасителя – Спасана-Крови, «символа души народной», погубленного в одночасье вместе с ней...

Тесаный камень фасада изготовлен в мастерской К. Гвиди, металлический кружевной узор выполнен на заводах В. Винклера и Ф. Сан-Галли, витражи парадной лестницы, сохранившиеся до сих пор, в рижской фирме Э. Тоде. Убранство интерьеров выдержано, как было принято говорить, в различных стилевых формах – барокко, итальянского и французского ренессанса.

...Первенец Набоковых – Владимир, родившийся в спальне второго этажа, перила которого «помнят», как он «покинул блеск еще манящих комнат», уже потерявший надежду на свидание с ним («После революции в него вселилось какое-то датское агентство, а существует ли он теперь?»), напишет в конце пятидесятых сестре Елене Сикорской: «Спасибо за душераздирающий снимок. Этих лип, конечно, не было, и все серее, чем живопись памяти, но все очень подробно и узнаваемо».

Он, «со столбами крыльца», и лестницей, и статуей «мраморной Венеры меж окон», «косой кисеей в сплошном окне», «полусерым, полужолотым непостоянным светом» детской с ее «рождественской scarlatinной» и няниным комодом, под который «закатился мяч», со свечой, переходящей из комнаты в сени и там погасшей... останется навсегда для них единственным.

Да и, в сущности, в скитаниях по белому свету по странам и континентам у Набоковых и, в самом деле, уже не было дома, как такового – наемные квартиры, гостиницы и отели стали их пристанищем. А вот «розовый гранитный особняк», который приходил странникам «на чужбине ночью долгой» во сне, обретет с годами образ оставленной родины, России, ее «молчания» и «любви безнадежной»...

Сегодня по улице Большой Морской, 47, в набоковском доме, сохранившем, к счастью, и внешний облик в общих чертах и даже прежний адрес, расположилась редакция «Невского времени» уже на каких «договорах» и с кем – Бог весть. А что такое местонахождение любовью редакции в стенах старинного особняка, памятника отечественной культуры и архитектуры, – нетрудно



себе представить. Лишь на первом этаже, слева от входа, не доходя до «кадетской», оббитой темным деревом редкой породы, и библиотеки, давно уже разворованной, в маленькой, бывшей проходной комнатке перед внутренней винтовой лестницей Пушкинский Дом открыл недавно «набоковский» музей с пока малочисленными фотографиями на стендах. Правда, говорят, что его директор – обладатель настоящей «фамильной», коллекции бабочек. Зато с портрета вам грустно улыбнется Владимир Набоков на фоне огромной бабочки, с распахнувшей навстречу каждому входящему свои крылья...

Три года тому назад его сын, Дмитрий Набоков, оперный певец и артист, живущий в Швейцарии, высказал пожелание, чтобы часть доходов от изданий книг отца на родине пошла на восстановление имений предков его, созданию в них мемориалов. Боюсь, что никто даже и не помышляет не только о возвращении вместе с добрым именем Набоковых ценностей истинным наследникам, но и не собирается выполнять их весьма скромное желание.

Большевики долгов отродясь не отдавали – на то они и большевики.

...После года пребывания в Лондоне Владимир Дмитриевич Набоков с семьей переезжает в Берлин. По рассказам очевидцев, город представлял собою «удивительное соцветие русской интеллигенции! Редкое сообщество смогло, живя впроголодь и в конурах, создать такое интеллектуальное богатство, как русские беженцы». Там он редактирует вместе с близким другом И. В. Гессеном антисоветскую газету «Руль» и распространяет ее в тридцать четыре страны мира.

Основатель журнала «Право» и газеты «Руль» И. В. Гессен пишет в своем «жизненном отчете» – «Два века»:

«Я бесконечно благодарен и благословляю судьбу, которая сблизила меня с Орденом русской интеллигенции. Такого «Ордена» не было тогда в Европе и больше не будет его в России. Отличительным признаком интеллигенции было, что на первом месте стояло для нее общественное служение, подчинявшее себе все другие интересы. Это создавало особое возвышенное настроение, точно первая любовь заставляя звучать в душе золотые струны и высоко поднимало над будничной суетой».

А составляя с двадцать первого по тридцатый годы двадцать (!) томов «Архива русской революции», что само по себе сродни подвигу, первый том открывает воспоминаниями Набокова. Думаю, что это не только дань преданности, восхищению, дружбе с этим челове-

ком, но и «бесценного свидетельства современника о годах катаклизма».

Сам Гессен написал о цели издания так:

«Задача заключается в том, чтобы сохранить письменный след разворачивающихся перед нами трагических событий. Многое из того, что каждому из нас привелось видеть или в чем-то участвовать, осталось единственным в своем роде и больше уже никогда не повторилось. Поэтому, если сейчас не записать всего, чему каждый свидетель был... то многое из фактических данных пропадет бесследно и такой недостаток может безнадежно затруднить раскрытие истинного смысла переживаемого нами величайшего исторического перелома».

Несомненно одно – Владимир Дмитриевич Набоков принадлежал к лучшим представителям русской интеллигенции, обладая всеми ее достоинствами, но и недостатками, которые так ясно обозначились в первые же месяцы «русской революции, в ту пору, когда она называлась Февральской».

Вспомним, тем «февралем» было сформировано Временное правительство во главе с князем Георгием Львовым, хотя, как точно и образно констатирует Владимир Дмитриевич: «...Он сидел на козлах, но даже не пробовал собрать вожжи». В те же самые дни царь Николай Второй – последний из династии Романовых на российском престоле, отрекся от него.

Отрекся? А, может быть, все было намного сложнее и трагичней и тот же Набоков прав, говоря, что «актом о лишении свободы Царя был завязан узел, разрубленный в Екатеринбурге»... Ясно и неоспоримо сегодня одно – была открыта дорога не свободе России, а «красному террору», которому нет предела и конца...

А если следовать правде до конца – «русская интеллигенция, русские либералы оказались не подготовленными к той самой революции, о которой так мечтали и которую так долго готовили! Положительные качества оборачивались отрицательными: общественное служение становилось слепой верой в «народушко», идеализм превращался в политическую незрелость, жертвенность – в безволие, личная отвага – в беспечность, вера в будущее – в отсутствие представления о реальности».

Так считает Гессен, великий, и я не боюсь этого слова, – публицист и историк. Смею добавить к его словам, произнесенным семь десятилетий тому назад, единственное: увы! – все повторяется в мире этом...

Все, кроме человеческой судьбы. Двадцать восьмого марта двадцать второго года Владимир Дмитриевич Набоков загородил собою «одного из самых замеча-



тельных русских людей», по его признанию, «человека огромных, почти неисчерпаемых знаний», Павла Николаевича Милюкова. Экс-министр Временного правительства выступал в тот роковой день с публичной лекцией в одной из берлинских аудиторий и пуля российского монархиста, выпущенная на глазах полутора тысяч собравшихся, предназначалась ему.

«Пока отец боксовым ударом сбивал с ног одного из темных негодяев, был другим смертельно ранен выстрелом в спину».

«Синеет влажный мир, грядет весна Господня, растет; зовет. Тебя же нет...»

...«О, Россия, сквозь слезы, сквозь траву двух несмежных могил, сквозь дрожащие пятна березы...»

Сегодня там, где «бледные крестики в тихой сирени», «несмежных» могил – три. Елена Ивановна похоронена в Праге, Владимир Дмитриевич в Тегеле близ Берлина, их сын Владимир в Кларане около курортного городка Монтрё, сказочном уголке швейцарской Ривьеры. Чужая земля приняла их навеки.

Но вот загадка! Россия не только оставалась в эмиграции с ними: «Наш дом на чужбине случайной, где смирен изгнанника сон, как ветром, как морем, как тайной – Россией всегда окружен». Но и они, слыша «реющий зов» страны родной, «ее шумящей, ее бессмерт-

ной» глубины, видя во сне, как «за туманом плывут туманы, за луной расцветает луна», всегда были там, где «в лучах, над избами горящий крест церковный и небо ясное», «плетень, рябина подле клена, чернеющий навес, и мокрая скамья, и станционная икона», а под Рождество непередаваемо радостно «и мандаринами и бором в гостиной пахнет голубой», и «капает воск, капает воск, как слеза за слезою» от зажженных свечей, и завывает пурга в печной трубе и стучится в окно, чтобы под утро спокойно лечь у дверей белым крахмальным полотном, как праздничная скатерть.

И замирает колокольный звон высоко и торжественно над верхушками сосен, когда «уж постлана постель, потушены огни» и мать, перекрестив, склоняется над кроваткой и целует на ночь: «Господь тебя Храни»... А в сон о счастье входят «...звезды, ночь расстрела и весь в черемухе овраг».

Но даже оставленные в далекой земле – они навеки с Россией. А нам, неприкаянным и не покаянным до конца, еще предстоит такое трудное, такое мучительное и долгое возвращение в то время, когда «в тумане странных дней еще грядущего не видно»...

Из небытия.

*Санкт-Петербург – Москва.
Апрель. 1993 г.*

Молодые годы Юрия Олеши*

Елена НИКОЛАЕВА

Ниже мы публикуем воспоминания Елены Сергеевны Николаевой, подруги юности Юрия Олеши. Воспоминания эти записал на магнитофонную ленту и обработал для печати Николай Евгеньевич Меньчуков, знавший писателя по Москве. Отрывки из них передавались радиостанцией «Свобода».

Я познакомилась с Юрой, когда ему было лет четырнадцать. За год или два до Первой мировой войны. Познакомила нас его сестра Ванда, моя школьная подруга. Ванда была старше Юры на два с половиной года. Мы вошли в комнату и я увидела между шкафом и письменным столом мальчика, сидящего в какой-то обезьяньей позе. Он читал книгу и был так поглощен чтением, что нас даже не заметил.

Было лето. Сверкало солнце. Во дворе играли и орали мальчишки. Шум игры врывается в открытые окна, манил на улицу, но Юра жил в это время в каком-то другом мире.

– Он у нас вообще такой, – сказала Ванда, заметив мое недоумение. – Представлю тебя в другой раз. Пусть «попутешествует»...

Олеши жили в Одессе, на Карантинной улице, в большом Доме Дунаевского. Владелец дома был дядькой, а, может быть отцом знаменитого потом композитора, точно не помню. Квартира, которую снимали Олеши, состояла из четырех комнат, кухни и балкона. Обстановка была в общем скромная. У Ванды была своя комната, а Юра жил в одной комнате с бабушкой и готовил свои уроки, где попало, то в столовой, то на балконе. Он учился тогда в гимназии, не то Четвертой, не то Ришельевской. Учился Юра очень средне, и отец на него за это сердился, отбирал беллетристику, стихи, но строго не наказывал.

Отец Юры – Карл Антонович Олеша – служил в Одессе акцизным чиновником. Обрусевший поляк. В прошлом был помещиком в Слуцкой губернии, но совершенно разорился. Вернее, проиграл в карты и все свое состояние, и все состояние своей жены, уроженки той же Слуцкой губернии. Он был страшно азарт-

ный картежник. Состоял членом одесского купеческого клуба, но играть ему уже не разрешали. В виде компенсации за этот запрет, очень мучительный для Карла Антоновича, правление клуба платило за учебу Ванды и Юры.

Мать звали Ольгой Владиславовной. Она была очень красивой, живой, веселой, темпераментной. Любила погулять, покутить. Иногда бывала чересчур резкой.

Когда в девятнадцатом году Ванда умерла от тифа, мать бросила Юре в лицо такую фразу:

– Лучше бы ты подох, чем Ванда у меня умерла.

Юра был очень обижен, начал искать утешение в общественной работе и почти совсем перестал бывать дома. Родители его за это попрекали и даже меня попросили воздействовать на него. Но Юра горячо ответил:

– А мать смеет говорить сыну такие вещи! Ведь мне самому тяжело, что Ванда умерла. Тем более, что ты же знаешь, я первый заболел тифом, а Ванда от меня заразилась...

Воспитывала детей бабушка – «бабця», как ее называли все в доме. Мать матери. Бабушка была маленькая и очень изящная старушка. Настоящая фарфоровая маркиза. У нее были пышные седые волосы, чудесный цвет лица. Она была очень спокойней, очень выдержанной строгой католичкой. В доме только она и нянька Марьяна, жившая на кухне, говорили по-польски.

Когда, уже после революции, Юра стал приводить в дом разных оборванцев, среди которых, между прочим, был и Эдуард Дзюбин (Багрицкий), бабушка и Марьяна хватались за голову и в один голос говорили про Юру:

– То не панське детско! То не панське детско!

Помню такой случай.

Юра и Ванда утащили у бабушки иголку – единственную во всем доме. Хотели что-то залатать и иголку сломали. Условились скрыть свое «преступление», однако, в конце концов, пришлось сознаться. Бабушка всплеснула руками и пожаловалась Ольге Владиславовне. Та начала кричать на детей, ругать их. А бабуш-

* Из архива ж. «Грани» – Ред.



ка отстранила ее, сделала перед детьми придворный реверанс и сказала:

– Бардзо дзенькуе! Позычена игла...:

Благодарю вас, дескать, игла была одолжена.

Юра застыдился, но чтобы скрыть свое смущение обратился к Ванде:

– Вот видишь разницу между дамами двух поколений...

Ванда и Юра были дружными братом и сестрой. Но и у них характеры были очень разные. Например, после начала Первой мировой войны Ванда поддалась патристическому угару и требовала, чтобы ее называли не Вандой Карловной, а Вандой Александровной, по второму имени отца (как католик, он получил при крещении двойное имя – Карл-Александр). А Юра решил остаться Карловичем.

– Мне наплевать, – говорил он. – Пусть, кто хочет, считает меня за немца.

Жизнь в семье Олеша, из-за склонностей отца и матери, всегда была очень богемной. Сестры же матери, были очень чопорными, важничали, и Юра не любил их детей, особенно своего двоюродного брата Митю. Оба двоюродных брата были немного старше. Володя уже был военным, а Митя Губарев готовился в Николаеве стать инженером. Типичным филистером он был. Возмущался революцией, беспорядками, и Юра всячески издевался над ним, когда он приезжал.

Помню, однажды Юра сообщил мне по секрету:

– Знаешь, что? Я сказал Мите, что ты чудно гадаешь на картах.

– Вздвинулся ты, что ли? – удивилась я. – Я же и понятия не имею.

– Ничего. Карты я достал, разложишь их на столе...

И он составил мне целую программу того, что я должна делать.

Митя поверил, что я настоящая цыганка, и я «нагадала» ему кучу неприятностей. И то, что он не симпатичный, и то, что он никому не нравится, успехом у женщин пользоваться не будет, жена начнет ему изменять, будет его бить и так далее.

Митя очень расстроился, а Юра был в восторге.

Однажды мы вместе украли у Мити его порцию колбасы.

Я подружилась с Юрой, так сказать, на почве нашего общего увлечения старыми французскими поэтами. Он знал немного французский, немного немецкий – в объеме гимназического курса. Но было и множество переводов. И вот, в день его шестнадцатилетия, я подарила ему свою любимую книгу – знаменитую поэму о Сиде, на русском языке. Он был в диком восторге. Когда прочел, кричал:

– Это же все равно, как ты бы мне новое «Слово о полку Игореве» подарила!..

Со своей стороны Юра открыл мне глаза на Эдмонда Ростана. В театре мы смотрели его «Орленка» в исполнении Петипа, но Юра мечтал посмотреть пьесу «Сирано де Бержерак». Это был его любимый литературный герой. Он страшно хотел полностью перевоплотиться в него и даже играл его роль в своей жизни.

У Юры и Сирано было и внешнее, и внутреннее сходство. Юра казался на первый взгляд безобразным маленьким горбуном. Большая голова, короткая, незаметная шея. У Репина, на картине «Крестный ход» есть подобная фигура. В гимназии Юру постоянно дразнили за его непривлекательную внешность. Но лицо у него было интересное, вдохновенное, светящееся. Громадные глаза, глубоко сидящие, очень яркие, умные, добрые...

Так вот, в одном классе с Юрой учился грек из купеческой семьи по имени Пава Мелисрато. Он был красив, как эллинский бог, но не блистал талантами и остроумием.

И он влюбился в одну, как тогда говорили в Одессе, «рафинес-барышню». Она рисовала, писала стихи и даже успела побывать с родителями в Париже. Грек попробовал написать ей любовное послание, у него ничего не получилось, и он обратился за помощью к Юре. Тот вошел в роль влюбленного и стал бомбардировать барышню пылкими объяснениями в любви от имени красавца.

В конце концов состоялось свидание. Барышня была поражена вдвойне: и красотой влюбленного, и тем, что он вдруг оказался косноязычным. Расстались они быстро, и к следующему свиданию грек решил ошеломить ее подарками. Он купил огромный букет цветов и флакон модных тогда духов «Флер д'Амур». К этому подарку ему захотелось прибавить и соответствующие стихи. Он опять пристал к Юре, а тот, решив, что его роль уже кончена, разозлился и написал:

«Флер д'Амур» – духи влюбленности,

«Флер д'Амур» – духи любви,

Но любви без благосклонности,

Но любви без слов на «ты».

Красавцу эти стихи очень понравились, он торжественно вручил их девице вместе с подарками, а та немедленно прогнала его и с цветами, и с духами, и со стихами, сказав, что между ними никогда никаких слов на «ты» не будет.

Юра органически не переваривал никакой пошлости. И подобно Сирано де Бержераку, который гово-



рил – «при имени Дон Кихота мне хочется снять шляпу», Юра любил повторять: «при имени Сирано де Бержерака мне хочется снять шляпу».

Первым учителем Юры на литературном поприще был некий Сева Орлов. Он был старше лет на семь-восемь и к началу Первой мировой войны был уже студентом-юристом. До начала войны жил у своей тетки, в Париже. Тётка его была замужем за известным врачом Дебюсси, братом известного композитора. Тетка устраивала большие приемы. Сева, учившийся в Сорбонне, набрался, что называется, «хороших манер» и в Одессе очень чванился. У него, по-моему, были незаурядные способности графика и поэта. Он в совершенстве знал французский, переводил Бодлера, Гютье, Ронсара.

В семье Олеси он появился как всезнающий и всепонимающий Петроний. Правда по внешности он был вовсе не Петроний. Был он чуть выше Юры, тоненький, в пенсне – типичный студент-белоподкладочник. Почувствовав в Юре большой талант, Сева начал разыгрывать из себя покровителя-благотелья. Юра многому у него научился.

Но потом произошел такой эпизод. Сева сделал дословный перевод какого-то стихотворения, не то Ронсара, не то Корнеля, не могу вспомнить. Но это не важно. Суть дела в том, что он как бы вызвал Юру на соревнование, предложив ему написать вольную вариацию на тему этого стихотворения. И вот на одном из очередных литературных вечеров в семье Олеси учитель и ученик представили свои произведения на общий суд.

Председательствовал отец Юры, присутствовали: его мать, Ванда, один из двоюродных братьев, я и еще несколько знакомых. Кажется, был на этом вечере и Валентин Катаев.

Первым прочел свое стихотворение Сева. Ему почтительно внимали, но стихотворение, безукоризненное по форме, не произвело сильного впечатления. Потом прочитал Юра. И сразу почувствовалось, что его стихи легче, красивее, изящнее. Он своим художественным чутьем лучше передал настроения автора, лучше понял и выразил дух старой Франции.

Юре бурно аплодировали, но потом Сева начал формальные придирки с явной целью умалить его успех. Юра слушал молча, а Карл Антонович неожиданно перебил Севу и сказал:

– А теперь, молодые мои поэты, я вам прочту вещь одного старого поэта. И он начал читать «Моцарта и Сальери» Пушкина.

Сева, да и все другие сразу поняли в чем дело. А когда отец Юры прочел знаменитую фразу – «ты, Моцарт,

бог и сам того не знаешь», я видела как Сева сломал карандаш, который держал в руке.

В этот вечер Карл Антонович впервые и открыто признал литературный талант сына. А раньше, когда Юра говорил ему, – «я, папа, талант, я это хорошо знаю», отец сердился:

– Не талант, а нахалитэ вопиянт...

Карл Антонович и сам обладал тонким вкусом, хорошо писал, рисовал, но, как говорят, зарыл свои таланты в землю. Юра и Ванда унаследовали его способности. Юра очень неплохо рисовал, иногда сам иллюстрировал свои сочинения, а Ванда, несомненно, стала бы хорошей художницей, если бы не умерла такой молодой.

Оказалось, что в области графического искусства Сева Орлов не может сравниться с Вандой, как с Юрой в области поэзии. После этого Орлов перестал бывать в их семье. Но я с ним несколько раз встречалась. И помню, когда вышла из печати книга Олеси «Зависть», которую он потом переделал в пьесу «Заговор чувств», Сева злобно критиковал Олешу, утверждая, что он, дескать, должен был остаться поэтом и не лезть в прозу и драматургию.

Лучшими друзьями Юры были Валентин Катаев и Эдуард Багрицкий. Они все очень тепло друг к другу относились, без малейшей зависти. Бескорыстно и во всем помогали друг другу, как подлинные единомышленники. Своеобразный интернационал был: русский, поляк и еврей.

Валентина Катаева я знала хорошо еще я потому, что он учился в гимназии вместе с моим братом. В начале Первой мировой войны он, как и Юра, не впал в патристический угар и написал сатирический рассказ «Фронтвик», в котором ехидно высмеял тринадцатилетних мальчишек, рвавшихся на фронт. Этот рассказ Катаев осмелился прочитать даже в своей гимназии, на одном из литературных вечеров.

Разумеется, у названной мною тройки были некоторые расхождения во взглядах. Олеша, например, упорно доказывал Катаеву, что «поэзия должна быть сладкой». Катаев больше увлекался Маяковским, разгуливавшим по Одессе в желтой кофте. Багрицкий в те годы «искал самого себя». Подшучивали друг над другом, писали эпиграммы, даже едкие, поскольку в остроумии ни один другому не уступал, но, повторяю, все это делалось благожелательно, без всякой зависти.

Подлинное искусство все трое боготворили. Помню, на одном из домашних концертов в семье Олеси пели известная одесская певица Карасулова и певец



Селявин, впоследствии ставший директором одесской оперы. Дуэт был великолепным. Валентин переглянул-ся о Юрой и шепнул ему: .

– Вот это – искусство! Куда нам! Куда мы с тобой лезем?..

Юра очень любил Лермонтова и Блока, Катаев – Бунина. Он часто бормотал себе под нос бунинские строчки:

*Острыми иголками
Услан косогор,
Сладко пахнет ёлками
Летний жаркий бор.*

Багрицкий попал в семью Олеси буквально «с черного хода». В парадный подъезд бабушка его не пустила и послала на кухню. А кухня в те холодные и голодные годы была главным местопребыванием всей семьи. Я тогда жила в комнате Ванды, но тоже большую часть времени проводила в теплой кухне. И вот, помню, в дверях появился смущенный оборванец, сказавший:

– Меня какая-то маркиза сюда прислала. Я хочу видеть Юру...

В те годы, первые годы после Октябрьской революции, Багрицкий был худеньким, стройным и даже довольно красивым молодым человеком. Только переднего зуба у него не было. Юра и Валентин Катаев по этому поводу нечто вроде поэмы написали. О каком-то Щелкунчике, который, дескать, выгрыз Эдуарду этот зуб. Но оба Багрицкого очень любили, как, впрочем, и вся литературная Одесса.

Багрицкий жил на улице, которая считалась в Одессе своеобразным еврейским гетто. Многие стеснялись ходить туда. Но я знаю, что в семье Багрицких часто бывала поэтесса Зинаида Шишова. У нее был пятилетний сын Марик и она писала очень недурные стихи, а позднее написала для юношества большой исторический роман о Христофоре Колумбе. Так вот, эта Зинаида Шишова однажды спросила при нас своего сына:

– Кто лучший русский поэт?

Мальчик, не задумываясь, ответил:

– Дядя Эдя Багрицкий.

Тогда мамаша, очень честолюбивая, спросила:

– А какая русская поэтесса – самая знаменитая?

Уже по тону вопроса было ясно, что она надеется, что сын назовет ее имя. Но мальчик, следуя своей детской логике, ответил:

– Тетя Лида Багрицкая.

Лида была женой Эдуарда, но за всю свою жизнь не написала ни одной строчки стихов.

Между прочим, через год после женитьбы Багрицкого, в двадцать втором году, Юра Олеша женился на сестре его жены – Серафиме или Симе Суок. Однако Сима вскоре ушла от Юры и стала жить с поэтом Нарбутом. Нарбут хотел объясниться с Юрой по этому поводу, но Юра стал в гордую позу и сказал:

– Я не понимаю – о чем нам разговаривать. Вы – дворянин и я – дворянин. Давайте стреляться.

Но они не стрелялись, а совместно запили, пригласив в компанию Катаева и Багрицкого. А пить они умели, и хорошо пили.

Позднее Юра женился на третьей дочери профессора Суока – Олечке. Она осталась после гражданской войны молодой вдовой с ребенком на руках, и Юра ее не столько полюбил, сколько пожалел. Он относился к ее сыну, как к родному, и дал ему хорошее образование.

Все три сестры Суок не обладали никакими талантами, кроме музыкального – их отец Густав Суок был профессором одесской консерватории. А Багрицкий и Олеша очень любили музыку. Не помню, как у Багрицкого, а у Юры был очень хороший слух и он, не зная нот, неплохо играл на пианино. У Олеси стояло наше пианино: мы перенесли его к ним, когда нас выгнали из квартиры.

Однажды мать Юры играла на этом пианино какую-то разухабистую польку, играла злобно, скорее всего для того, чтобы согреться, и Юра иронически произнес:

– Полька – «Советский рай»...

Олеша, Катаев и Багрицкий встретили Октябрьскую революцию с искренним энтузиазмом.

Они восторженно романтизировали ее и всячески старались помогать молодой советской власти.

Как только произошел переворот, Юра написал эпigramму на известного одесского банкира Хари:

*От зари и до зари
Спекулирует Хари.*

Потом он писал какую-то поэму в связи с восстанием Марти, а когда шли бои в Крыму, сочинил анти-врагелевский марш, из которого мне запомнились такие строки:

*Стянуты крепко подпруги,
В косы завиты хвосты.
Враг ожидает на юге,
С крымской глядит высоты.*

*Уголь советский барон-то
Франции хочет отдать.*



*Витязи красного фронта!
Надо барона прогнать.*

В семье страшно возмущались его энтузиазмом. Мать кричала:

– Убью тебя за такие стихи!

Но Юра не смущался и продолжал работать и в Российском Телеграфном Агентстве (РОСТА), и в местных газетах, и даже был одно время добровольцем-красноармейцем, охранял какие-то склады на окраине города.

Рассказал мне об одном трагикомическом случае.

– Понимаешь, Лена, стою на посту и вдруг вижу бежит собака с куском хлеба в пасти. Схватил я несколько камней, забыл про охрану и бегом за собакой. Кричу, бросаю камни и, наконец, попал.

Пес завизжал, бросил хлеб и – наутек. А я хлеб подобрал и сожрал, не отрываясь...

В те годы, действительно, был жуткий голод. В Одессе были только помидоры, да и те достать было трудно. Приходилось выменивать их на хорошие вещи. Все жаловались на разруху, но Юра, Катаев и Багрицкий убежденно твердили: «Потерпите. Все изменится. Все наладится. Все будет»...

Помню, Юра особенно возмущался, когда высмеивали неграмотность и невежественность представителей новой власти.

Это факт, что в Одессе был коммунист, который на вопрос, что он делает целый день, отвечал: «Пышу и куру».

А другой, тоже заседавший в роскошном кабинете, но не умевший даже подписываться, заявил: «А я тыль-ко куру».

Юра защищал их. Он говорил, что новые руководители не виноваты, что малограмотны и плохо воспитаны, что они пообещаются, станут настоящими людьми. Он требовал уважения и любви к каждому человеку, верил и хотел верить в каждого человека.

В самые трудные дни Юра будил нас по утрам пением «Интернационала», кричал:

– Пролетарии всех стран, соединяйтесь!..

Но романтика революции не отвлекала Юру и его друзей от самозабвенной любви к настоящему искусству. В те страшные годы на квартире одной из моих родственниц умирала первая русская кинозвезда – Вера Холодная. Юра очень переживал ее мучения и когда она умерла, написал трогательное стихотворение, которое я, к сожалению, забыла.

Голод, холод, разруха, блокада... Трудно было жить и выжить в те времена. Я жила тогда в семье Олеси и как-то, находясь в совершенном отчаянии, сказала Юре:

– Я понимаю, что вы все любите меня, как Ванду, что я в какой-то мере заменяю ее в вашей семье и не могу пожаловаться на чье-либо плохое отношение ко мне. Я тоже люблю вас всех, как родных и близких. Но я не могу больше так жить. Это кутание в тряпье, эти коптилки вместо освещения, эти бесконечные разговоры о политике...

– Понимаю. Надоело, – перебил Юра. – А не хочешь ли хоть на один вечер забыть обо всем этом и погрузиться в настоящую поэзию, послушать стихи, поспорить об их качестве?

Я, разумеется, ответила утвердительно и... стала членом знаменитого одесского литературного кружка «Зелёная лампа», организованного Багрицким, Олешей и Катаевым зимой двадцать первого, двадцать вторых годов. Не знаю, какими путями, но им удалось получить для своего кружка большое помещение – комнату в старой барской квартире на улице Витте, позднее, улице Коминтерна.

Это была одна из центральных и красивейших улиц Одессы. Тихая, спокойная, не торговая улица. Дом стоял неподалеку от лютеранской церкви. Кажется, это был номер 19 или 20. В комнате сохранилась кое-какая мягкая мебель, но было очень холодно и неудобно. Тем не менее, каждый вторник в ней собиралось двадцать-тридцать человек, забывавших все на свете, кроме поэзии.

Существовала традиция, согласно которой все, у кого была махорка, насыпали ее горкой на столе и каждый из собравшихся имел право подойти и скрутить себе «козью ножку».

На собраниях «Зелёной лампы» председательствовал Эдуард Багрицкий. Но однажды, когда он почему-то не явился, председательствовал Валентин Катаев. Он вел собрание более сухо и очень придирился к форме стихотворений. Однако и Багрицкий был очень требовательным в отношении формы. А Юра был более снисходительным к молодым поэтам.

Помню, на одном из собраний читал свои стихи маленький оборванец по имени Сёма. Кажется, это был Семен Кирсанов. Багрицкий начал его безжалостно критиковать, а Олеша вступился за него.

– Но ведь он же мыслит образами, – говорил Юра. – Подумайте. Я, например, еще никогда не слышал, чтобы булыжную мостовую сравнивали с черепами...

Каждое стихотворение, прочитанное на собраниях «Зелёной лампы», подвергалось всестороннему разбору. Выступали с критикой и сами поэты, и «публика», то есть, любители и любительницы поэзии. Среди них, между прочим, была не только я, но и сес-



тры Суок, на которых женились Багрицкий и Олеша. Было условлено, что на критику, какой бы резкой она ни была, никто не имел права обижаться. И это условие строго соблюдалось всеми членами кружка. Я не помню ни одного конфликта, ни одного скандала, ни одной ссоры.

Обычно поэты как бы отчитывались в том, что они сделали за неделю. При тусклом свете копилки они вдохновенно читали свои новые произведения, среди которых встречались подлинные шедевры. Но иногда читали и целые поэмы, над которыми поэты работали по несколько лет. ...

Юра писал тогда большую поэму «Беатриче». Она нигде не была опубликована и, откровенно говоря, ни на кого не произвела сильного впечатления. Я даже не помню, о чем, собственно, говоря, шла в ней речь. Другая его поэма, которую он начал писать в восемнадцатом году и прочел на одном из собраний «Зелёной лампы», была гораздо сильнее.

В этой поэме (название ее я забыла) Юрий Олеша делал своеобразный синтез Пушкина с Львом Толстым. Точнее, пушкинской «Пиковой дамы» с «Войной и миром». Главным героем был Герман, образ которого Юре особенно удался, поскольку у него перед глазами был наглядный пример азартного игрока в карты – его собственный отец. Но в поэме оживали в новых взаимоотношениях и другие литературные герои Пушкина и Льва Толстого. К сожалению, из всей этой интереснейшей по замыслу поэмы мне запомнились только две строчки:

*И снова в Наташу Ростову
Влюбится князь Андрей...*

Насколько мне известно, эта поэма Олеша тоже нигде опубликована не была.

«Зелёная лампа» существовала всего несколько месяцев. Однако и за этот срок она принесла много пользы молодым поэтам того времени. А времена были не только трудные, но и жуткие.

Был такой поэт Анатолий Фиолетов – муж уже упомянутой мною поэтессы Зинаиды Шишовой. А родной брат его, на которого он был очень похож, во время оккупации Одессы служил в сыском отделении. Бандиты стали брата выслеживать и вместо него выследили Анатолия. И вот, однажды его зверски убили, очевидно, считая, что убивают сыщика.

Жена Анатолия Фиолетова была так потрясена, что пыталась наложить на себя руки. В больнице она была на грани безумия. Но Юра и его друзья часто навещали ее, утешали, успокаивали и, в конце концов, она вернулась к жизни.

В последний раз я видела Юрия Олешу в тридцать четвертом или тридцать пятом году. Мы встретились на какой-то подмосковной даче, вспоминали молодость, старых знакомых и все пережитое вместе.

Но это был уже другой человек. Он беспробудно пил и от его восторженной революционной романтики не осталось и следа. Он очень тосковал по отцу и матери, которые в годы НЭПа уехали к себе на родину, в Польшу, и эта тоска была очень сильной.

Позднее, когда Сталин и Гитлер поделили Польшу между собой, то ли по радио, то ли из газет я узнала, что «писатель Юрий Олеша навестил своих родителей, проживающих в освобожденном Слуцке»...

Константин Паустовский*

Тамара СЕМЕНОВА-БЕНИНИ

В каждом акте художественного творчества имеют-ся три элемента: тот, кто творит, то, что он творит, и тот, для кого он творит.

Писатель творит для читателя. Эта направленность творчества может быть сознательной или подсознательной, но она всегда присутствует в творческом акте. Человеку присуще желание переживать красоту сообща с кем-нибудь другим.

Литературно-художественный акт есть акт синергический, в котором одно лицо открывается, а второе – это откровение принимает. Художник слова должен найти такой прием, посредством которого он сможет воспроизвести в читателе именно то, что он имел в виду: настроение, впечатление, звуки, краски, эмоции.

Читатель со своей стороны должен быть способным в какой-то степени стать на время медиумом, отдать свои душевные и интеллектуальные способности писателю, чтобы тот мог воссоздать в нем некоторые мысли и эстетические ценности.

Писатель и читатель должны стать созвучными друг другу, они воображением должны встретиться в том пункте, в котором произведение и воспроизведение становятся наиболее тождественными. Это можно изобразить следующей художественной цитатой:

«Только один высокий осокорь на берегу Музги еще не облетел до конца. Он отражался в воде, стоял в ней вершиной книзу. Когда с осокоря падал большой пахучий лист, то было видно, как такой же лист отрывался от отражения осокоря, и оба эти листа спокойно летели навстречу друг другу – один вниз, а другой вверх – и соединялись на темной воде Музги. Тогда два листа тотчас превращались в один, и его относило слабым ветром на середину реки»¹.

Паустовский – романтик, его талант – талант лирический. Если читатель Паустовского не чужд лирике и романтизму и если к тому же любит и понимает природу так, как ее любил и понимал Паустовский, то его сердце и ум встретятся с сердцем и умом писателя в художественном созерцании.

В одном месте Паустовский пишет, что становление его как человека и писателя происходило «при советской власти»². При всей любви и уважению к писателю, нельзя не отметить, что эта биографическая справка наводит на мысль, что она либо неискренна, либо двусмысленна.

Если ее понимать в смысле хронологическом и топографическом, то она отчасти верна, так как последние пятьдесят с лишком лет его жизни прошли действительно при советской власти и на советской территории. Если же писатель хотел сказать, что его духовное и интеллектуальное созревание происходило в связи с советской властью и благодаря ей, то этому нельзя поверить. Паустовский стал писателем несмотря на советскую власть, вопреки ей.

Он – лирик и романтик чистейшей воды, а что может быть более чуждо советскому строю, с его прокурстовым ложем социалистического реализма, чем лирика и романтика?

Условия, в которых советскому писателю вообще, а Паустовскому в частности, приходилось писать свои сочинения, очень характерно определены им самим, хотя слова эти были сказаны по иному поводу:

«...я впервые испытал жестокое удушье, когда кажется, что легкие залиты свинцом.

То были первые признаки астмы – безжалостной болезни, заставляющей человека дышать в четверть дыхания, говорить в четверть голоса, ходить в четверть

* Главы из монографии. Архив журнала «Грани». – Ред.

¹ Константин Паустовский, Собрание сочинений в шести томах. Т. V, стр. 214. ГИХЛ. Москва, 1957–1958 гг.

² См. «Вместо предисловия» к Собранию сочинений, стр. 7.



шага, думать в четверть мысли и только задыхаться в полную силу, без четвертей»¹.

В другом месте Паустовский признается, что писательство — это тяжелый и ответственный труд, так как «одна-единственная крупица правды, утаенная писателем от людей, — преступление перед собственной совестью, за которое он неизбежно ответит»².

Какова же была та среда, в которой находился писатель в тот период жизни, когда определялся его характер, крепились вкусы и зарождались интеллектуальные интересы? Это была среда интеллигентская, столь типичная для начала нынешнего века.

Происхождение Паустовского — не пролетарское. По линии отца он происходил из казацкого рода. Его предки были запорожскими казаками, его дед унаследовал от них усадьбу Городище, живописно расположенную на острове, омываемом быстрыми водами Роси. Юный Паустовский проводил здесь летние каникулы, его первые детские воспоминания связаны нераздельно с этой местностью. Позже он писал:

«Что может быть пленительнее раннего детства, прожитого на Украине! Оно осталось в памяти, как светлая роса на синих и желтых ползучих цветах портулака, как дым соломы, застилавший осенние дни, как застенчивые грудные голоса дивчат — моих двоюродных сестер, как постоянный шум вязов над дедовским курением»³.

Красота окружающей природы навсегда поразила сердце впечатлительного мальчика. Вокруг дома находился сад, постепенно переходивший в лес. Река текла под таинственной сенью деревьев. Мальчик любил блуждать по лесу, ловить удочкой рыбу. Его дед, бывший николаевский солдат, побывал в турецком плену, затем чумаковал и лишь позже осел в родной усадьбе Городище. Он любил своего внука и часто, уединившись с ним на леваде, рассказывал о своем прошлом, передавал ему запорожские предания и легенды, пел украинские думки. Душа мальчика, как губка, впитывала эти впечатления.

Сестра отца Паустовского, тетя Дозя, часто читала ему нараспев «Кобзарь», и грустные стихи украинского поэта впервые приобщали мальчика миру поэзии. Брат его матери, дядя Юзя, землепроходец и искатель при-

ключений, своими рассказами в свою очередь развивал воображение мальчика.

Это ощущение «ошеломляющего и таинственного разнообразия мира», эта дружба с «музой дальних странствий», зародившиеся в душе мальчика, никогда не покидали его и в старшем возрасте⁴.

Мать Паустовского происходила из среды обедневших польских дворян. Ребенок получил хорошее домашнее воспитание и учился в Первой киевской классической гимназии, считавшейся лучшим учебным заведением. Любовь к единению, к природе, цветам, театру, поэзии, музыке, мечтательность, застенчивость — вот основные черты его характера.

Товарищи Паустовского по гимназии — это дети интеллигентов. Многие из них стали потом известными литераторами, актерами, драматургами. Учителя гимназии внушали своим воспитанникам любовь к культуре, к языкам, к музыке и философии.

В Киеве в то время была оживленная культурная жизнь. Молодежь по мере возможности приобщалась к ней. Молодые люди увлекались не только отечественной литературой, но и западной. Французских и английских поэтов читали в переводах и в подлинниках. Поэзию не только читали, но ее творили, ею жили.

Ни политика, ни социология не интересовали Паустовского. Он смотрел в будущее, ожидая, что жизнь готовит ему «много очарований, встреч, любви и печали, радости и потрясений», и в этом предчувствии он видел великое счастье своей юности⁵.

В такой атмосфере, а не при советской власти, созревал юный Паустовский.

Желание необыкновенного с детства преследовало писателя. Обладая развитым воображением, мальчик все время жил в напряженном состоянии. Его любимой наукой в гимназии была география. Он постоянно рассматривал атлас, непрерывно восхищался экзотическими названиями. Они звучали в его ушах, как музыка. Стоило ему сосредоточиться на каком-нибудь месте на карте, как он начинал ощущать запах лесов, видеть пену морского прибоя, в мыслях совершать все новые и новые путешествия.

На него часто находило настроение легкой мечтательности, и ему все тогда казалось удивительным и до-

¹ К. Паустовский, «Повесть о жизни», (Бросок на юг), в 2-х томах. ГИХЛ. Москва. 1962, т. II, стр. 445. Все цитаты из книги «Повесть о жизни» будут даваться по этому изданию.

² См. предисловие к Собранию сочинений, т. I, стр. 14.

³ К. Паустовский, «Тарас Шевченко», Собрание сочинений, т. IV.

⁴ «Ильинский омут». «Известия», от 9-го августа 1964 г.

⁵ К. Паустовский, «Беспокойная юность», Собрание сочинений, т. III, стр. 306.



стойным вниманием. Он находил покой и отдых в этих настроениях. Ему была присуща также «жажда рассматривания» предметов внешнего мира, и это давало ему впечатления, которые постепенно становились элементами его психической жизни.

Пристрастие к воспроизведению в памяти всего пережитого было иной особенностью писателя. Он пристально разглядывал жизнь, «как сквозь лупу», замечал, запоминал... Он любил «подцвечивать и подсвечивать» жизнь, отчего она наполнялась для него дополнительной прелестью. Это совершалось даже помимо его воли, ему часто казалось, что он живет как бы внутри романа или повести.

Вспоминая о своей постоянной, неутолимой жажде к впечатлениям, Паустовский признается, что не раз задавал себе вопрос, зачем и к чему он копил их; он не знал, как ответить на этот вопрос, так как делал это инстинктивно. Позже, когда он стал писателем, он понял, что это стремление было целеустремленным, хотя и подсознательным.

Постепенно в нем кристаллизуется мысль стать писателем. Эта профессия казалась ему наиболее благородной, наиболее независимой. Он понял, что писательство может стать адекватным выражением его внутренней жизни, его характера, его интересов.

Приняв это решение, Паустовский одно время пытался перестроить свою жизнь соответственно этой высокой цели. Он попытался итти к ней сознательно и аскетически, но из этого ничего не вышло. После длительных попыток единоборства с самим собой, писатель пришел к заключению, что свободная, вольная жизнь гораздо важнее для него, чем педантичная забота о творчестве.

Дух Моцарта победил дух Сальери.

Литература для Паустовского была выражением вольного человеческого ума и сердца. Он чувствовал, что она «каким-то подводным, вторым, отдаленным и вместе с тем очень близким звучанием... приближает нас ко времени золотого века наших мыслей, поступков и чувств»¹.

С этим уважением к литературе была связана страстная любовь Паустовского к поэзии. Поэзия открыла перед ним все богатство и всю красоту русского языка, в поэзии «слова звучали как бы наново». Были периоды в его жизни, когда стихи были для него «такой же реальностью, как хлеб ..., как солнце и воздух. ...

Все окружающее я видел сквозь прозрачное вещество стихов»².

Впечатления нагромождались, творческие силы зрели, плодоносное творческое напряжение требовало разряда... У Паустовского период творческого настроения всегда предварялся чувством беспредметной, казалось бы, тоски. Ему хотелось бродить в одиночестве. Тоска помогала сосредоточиться: «Когда не пишешь, ищешь боли». «Когда тоска – хорошо писать». В этом настроении, писал он, «иногда я ощущаю на самом пределе сознательного сотни непередаваемых вещей, желаний, образов. «Ум не в силах понять и охватить это. Сквозь его бесплодие и вялость я все чаще слышу требовательные упругие толчки новой воли»³.

Паустовский почувствовал желание писать стихи еще мальчиком, но из этого, по его признанию, ничего не вышло. Уже юношей, томимый тоской и одиночеством, он уходил в заброшенный сад, ложился на землю и сочинял. Но и это были плохие стихи, в которых все тонуло «в расплывчатой грусти».

Затем юный Паустовский переходит к прозе. И здесь мастерство не дается ему сразу. Не было четкости замысла, слова теряли твердость, делались ватными, признается автор. В тексте было много «красивостей», утомляющих и автора, и читателя.

«Сила и строгость, необходимые прозе, превращались в шерbet, – в рахат-лукум, в лакомство. Они были очень липкие, эти словесные шерbetы. От них трудно было отмыться»⁴.

Искушение «красивостью» свойственно почти всем молодым и неопытным писателям, поэтам, художникам. Не избежал этого искушения и Паустовский, но, к счастью, у него эта полоса быстро прошла. Он уничтожил почти все, что тогда написал.

Дар слова, которым он несомненно обладал уже в молодости, требовал дисциплины и самокритики. Это была первая «чистка»: она избавила прозу Паустовского от слащавой красоты. Вторая чистка, много позже, исцелила ее от излишней экзотики.

В предисловии к «Собранию сочинений» Паустовский рассказывает, как одно случайное наблюдение послужило толчком для перемены его отношения к своим произведениям.

Однажды он посетил только что открывшийся московский планетарий. Зрелище искусственного звездного неба поначалу поразило его. Но вот, когда он вы-

¹ К. Паустовский, «Начало неведомого века», Собрание сочинений, т. III, стр. 716.

² К. Паустовский, «Беспокойная юность», Собрание сочинений, т. III, стр. 527–528.

³ К. Паустовский, «Романтики», Собрание сочинений, т. I, стр. 84.

⁴ К. Паустовский, «Начало неведомого века», Собрание сочинений, т. III, стр. 676.



шел из планетария поздним вечером, он увидел над собой живое, сияющее звездами небо.

Он сразу ощутил разницу между искусственным, бетонным куполом и беспредельным простором ночного небесного пространства. Мысль его, по аналогии, метнулась в область оценки собственного творчества. Оно представилось ему таким же искусственным, как небо планетария с его фальшивыми созвездиями. Писатель постиг разницу между *красивостью* и *красотой*.

Паустовский как личность является представителем переломной эпохи. Ему суждено было жить до революции, во время революции и после нее. Но по своему интеллектуальному складу, по своему характеру он, конечно, является типичным представителем «прекраснодушной» русской интеллигенции конца XIX и начала XX века.

Русская интеллигенция этого периода как класс – явление уникальное. Иностранцам трудно понять или почувствовать сущность этого явления, как вообще трудно измерять все русское «иностранным аршином».

Русский интеллигент – это не буржуа, его нельзя вместить ни в разряд «интеллектуальных работников», ни в класс «интеллектуалов». Различие между этими классами будет примерно таково, какое намечается между богатыми фермерами и ранчерами Америки и русскими помещиками, какими их описывают, скажем, Тургенев, Толстой или Бунин. Занятия примерно те же самые, а люди – разные, и быт иной.

Русский интеллигент – это и профессия, и происхождение, и мировоззрение, и образование, и еще что-то ...неуловимое и необъяснимое. Образованность, наивная вера в прогресс, благородство, народничество, богоискательство, принципиальность, либерализм, неверие и анархизм – вот те черты, которые легче всего было найти в русской интеллигенции.

Не веря в личное бессмертие так, как об этом учит христианская религия, Паустовский верил в своего рода коллективное бессмертие мыслей, идей, художественных ценностей.

Мир в целом не подвержен тлению. Человек, согласно Паустовскому, преобразуя этот мир и создавая новые ценности, новые реальности, в какой-то степени участвует в «вечности» этого мира, во всяком случае, до тех пор, пока будет существовать человечество. В мирозерцании Паустовского есть нечто от бытийственно-го монизма Плотина. Он самого себя сознает и ощущает

во времени как частицу мироздания и находит в этом успокоение.

Паустовский – аполитичен. Ему, лирику и романтику, чужд пафос борьбы за политические идеалы, за власть. Он тяжело переживал крушение русской культуры, ему претили насилие и жестокость революции. Поначалу он верил в революцию, верил, что революция может «внезапно переменить людей к лучшему и объединить непримиримых врагов»¹, поэтому он встретил ее с мальчишеским восторгом:

«Острый воздух революционной зимы кружил голову. Туманная романтика бушевала в наших сердцах. Я не мог и не хотел ей противиться. Вера во всенародное счастье горела непотухающей зарей над всклокоченной жизнью. Оно должно было непременно прийти, это всенародное счастье. Нам наивно казалось, что порукой этому было наше желание стать его устроителями и свидетелями... А это происходящее то радовало, то восхищало, то казалось неверным, то великим, то подменявшим это величие ненужной жестокостью, то светлым, то туманным и грозным, как небо, покрытое свитками багровых туч»².

Паустовскому казалось, что в каждом человеке имеются зачатки доброй воли и что именно достижением революции будет создание таких условий, таких новых устоев жизни, в которых свободный человек сможет развить все свои духовные дарования.

Но суровая действительность скоро разбила мечты молодого писателя; каждый день она «швыряла ему в лицо» жестокие доказательства, что в человеке есть много иррационального, много злого, много жестокости и ненависти... Иногда ему казалось, что он попал в совершенно иной мир, реальность казалась ему бредом.

Паустовский сам пишет, что его идеалистическое воспитание не позволило ему принять революцию целиком. Он понял, однако, что возврата нет, что нет другого пути, чем тот, по которому пошел русский народ, и осознание этого помогло ему примириться с действительностью. Это признание звучит как покорность судьбе.

По понятным причинам Паустовский не мог писать откровенно о том, что он думает о наступившей действительности. Многие темы он обходит глухим молчанием.

Сердце Паустовского полно любви. Он любит весь мир, все прекрасное, благородное, доброе. Портрет пи-

¹ К. Паустовский, «Начало неведомого века», Собрание сочинений, т. III, стр. 578.

² Там же, стр. 601.



сателя не был бы закончен, если бы не отметить его чистого, целомудренного отношения к женщинам. Я, конечно, имею в виду тех женщин, которые выступают в его произведениях. Но так как его произведения по большей части автобиографичны, то и высказывания на эту тему его героев являются выражением мнения самого автора.

В творчестве Паустовского мало эротики. Но там, где она встречается, она просветлена, сублимирована. Это не любовь горячей страсти, ревности, чувственного вождения, а скорее любовь, выросшая из задушевной общности и духовной близости к любимому лицу, нежная и спокойная любовь.

Здесь нам кажется важным не только сказать, что сам писатель говорил на эту тему, но и показать, как он об этом говорил. О любви может говорить и профессор физиологии, и поэт. Тема – одна и та же, трактовка же будет различна, как небо и земля. Приведем хотя бы несколько примеров.

Паустовский вспоминает о своей первой, отроческой любви к девушке, с которой ему надо было расстаться:

«Я думал о Лене, и у меня тяжело билось сердце. Я вспоминал запах ее волос, теплоту ее свежего дыхания, встревоженные серые глаза и чуть взлетающие тонкие брови. Я не понимал, что со мной. Страшная тоска сжала мне грудь, и я заплакал ... Гораздо позже я понял, что жизнь по непонятной причине отняла тогда у меня то, что могло бы быть счастьем»¹.

Счастье любить и быть любимым пьянит душу молодого человека:

«...лицо у меня горело, сердце билось жадно и гулко, губы были соленые, будто в крови. Море шумело то справа, то слева ... Земля качалась, и золотой каруселью неслась вокруг меня, позванивая и подрагивая, <...> пьяный туман окутал голову ... Я пришел домой утром. На душе было чисто, будто я омыл ее водой со снегом... Тихо кружилась голова. «Отчего это так хорошо, отчего?» – спрашивал я едва слышно...»²

Однажды Паустовский посетил «бунинские места», в частности, город Елец. Уже возвращаясь, он сидел

на вокзале в ожидании поезда и читал рассказ Бунина «Легкое дыхание». Его внезапно поразила мысль, что именно этот Елец был тем городком, где, согласно рассказу, жила Оля Мещерская:

«Все внутри у меня дрожало от печали и любви. К кому? К дивной девушке, к убитой вот на этом вокзале гимназистке Оле Мещерской... Я был уверен, что проходил на кладбище мимо могилы Оли Мещерской, и ветер робко позванивал в старом венке, как бы призывая меня остановиться.

Но я прошел мимо, ничего не зная. О, если бы я знал! И если бы я мог! Я бы усыпал эту могилу всеми цветами, какие только цветут на земле.

Я уже любил эту девушку. Я догадывался от непоправимости ее судьбы... Я ... наивно успокаивал себя тем, что Оля Мещерская – это бунинский вымысел, что только моя склонность к романтическому притятию мира заставляет меня страдать из-за внезапной любви к этой погибшей девушке»³.

Как-то Паустовскому пришлось заночевать в далеком Соликамске, в гостинице, бывшей раньше монастырским подворьем. В общей спальне ему отвели койку. На соседних койках в полутьме спали две девушки – практикантки из Ленинграда:

«Обе они показались мне красавицами, очевидно потому, что у них обеих разметались по подушкам золотые косы... Я тихо лежал, чтобы не разбудить девушек, и долго не мог уснуть, слушая, как они то спокойно дышат, то вздыхают во сне. И почему-то обе они представились мне, хотя я их не знал и не видел, очень родными, как мои младшие сестры... И я благодарил эту крошечную ночь в этой немыслимой русской глуши за теплоту девичьего дыхания – мне чудилось, что я слышу едва заметный ветерок на своем лице – за легкую свою дремоту, за счастье ощущать рядом с собой целомудренную свежесть этих двух девушек, их легковейный, задумчивый сон»⁴.

Каким душевно тонким и целомудренным человеком надо быть, чтобы так переживать подобного рода встречи!

А вот как удивительно пишет он о мимолетной встрече с двумя деревенскими девушками:

¹ К. Паустовский, «Далекie годы», Собрание сочинений, т. III, стр. 153,

² К. Паустовский, «Романтики», Собрание сочинений, т. I, стр. 61, 62.

³ Из предисловия Паустовского к Собранию сочинений Бунина, «И. А. Бунин», стр. 7, Москва, «Московский рабочий», 1961.

⁴ К. Паустовский, «Книга скитаний», «Новое Русское Слово», Нью-Йорк, 1964.



«Что может быть лучше этой неожиданной девичьей улыбки на глухой полевой дороге, когда в синей глубине глаз вдруг появляется влажный ласковый блеск и ты стоишь, удивленный, будто перед тобой сразу расцвел всеми своими сияющими цветами, весь в брызгах и пахучей прелести, куст жимолости или боярышника?»¹

Паустовскому достаточно увидеть женскую красоту в любом ее проявлении, чтобы глубоко и горячо переживать волнующую встречу с ней.

В биографическом очерке об Андерсене Паустовский пишет, что в свое время ему казалось, что от книги Андерсена исходила удивительная и душистая, как дыхание цветов, человеческая доброта. Мне кажется, что эти слова смело можно отнести к самому Паустовскому.

Людей можно судить по тому, как они относятся к детям. Он нежно любит детей и хорошо понимает их. Это видно, прежде всего, из его сказок. Но в его собственной жизни был случай, когда ему пришлось опекать маленькую девочку. Паустовский пишет:

«С тех пор страх за жизнь этого хрупкого, как стрекоза, существа держал меня за горло и за сердце, и не отпускал... Так я жил в состоянии страха, отчаяния, жалости и умиления. Все эти чувства сливались в одно,

не имевшее имени. Оно то ослабевало, то захлестывало болью даже от такого пустяка, как вытаскивание занозы из худенького и дрожащего пальца...

До сих пор я не понимаю, почему я в те дни не посидел от отчаяния. Я боялся всего: палящего солнца (мне все время чудились солнечные и тепловые удары у девочки), обрыва над морем (ей ничего не стоило сорваться с него и разбиться насмерть...), холодных ночей (девочка наверняка должна была простудиться), штормов с их ветрами, голода...

Тот, у кого нет детей, никогда не поймет, как близко от нас, где-то совсем рядом, лежит бессмысленный мир трагических случайностей. И вряд ли поймет, что такое всепоглощающая любовь»².

У Паустовского было большое горячее, полное любви к людям сердце. Недаром на торжестве по поводу семидесятилетия писателя люди отмечали его доброту, отзывчивость, честность и чуткость к чужому горю. Недаром после его смерти толпы простых деревенских жителей спешили, часто издалека, отдать последний долг почившему.

Недаром эти люди, работая всю ночь, засыпали овраг и проложили тропу к месту на берегу реки Таруски, где его и похоронили...

¹ К. Паустовский, «Приточная трава», Собрание сочинений, т. V, стр. 385.

² К. Паустовский. «Повесть о жизни» (Бросок на юг), стр. 374, 375.

«Здесь, в Тарусе, я растворилась в природе...»: от Италии к Тарусе.

Софья Герье в тарусском формате

Татьяна ЖУКОВСКАЯ

Таруса... Сколько имен связано с этим местом! Это вроде столичной провинции: до революции — Цветаевы, Борисов-Мусатов, Виноградовы... После революции поток москвичей не иссякал, к тому же позже Таруса приобрела и почетный статус «101-го километра».

Обращаясь к тридцатым годам, и позднее до середины пятидесятых мы встретились бы там с небольшой, худенькой, подтянутой женщиной, с которой охотно вступали в беседу и изысканные столичные интеллектуалы, посещающие сию местность, и местные жители, приносящие ей молоко или ремонтирующие крышу ее небольшого домика. Речь о Софье Владимировне Герье, младшей дочери основателя знаменитых Высших Женских курсов, Владимира Ивановича Герье, историка-западника, профессора МГУ, автора учебников по западной истории.

Фамилия Герье французского происхождения, в Россию приехал дед историка, Франсуа Герье в конце XVIII века, а отец — Иван Франциск Корнеулис Герье был управляющим имениями «из иностранцев», «гамбургским гражданином», он передал этот статус сыну. И лишь в 1862 году, получив степень доктора историко-философских наук, Владимир Иванович Герье становится российским подданным евангелистско-лютеранского исповедания.

По матери, Евдокии Ивановне, урожденной Станкевич, Софья Владимировна принадлежала к прогрессивной части российской интеллигенции. Наиболее выдающимся в этой семье оказался рано умерший поэт и основатель литературно-философского кружка тридцатых годов XIX столетия в Москве Н. В. Станкевич.

Родилась Соня 8 августа (н.ст.) 1878 года в имении деда Станкевича, селе Старый Курлах. Кроме нее в семье росли еще две дочери, Елена и Ирина, и сын Александр.

Первое образование Сони, по гимназической программе, было домашним, после чего в 1900 году она поступила вольнослушательницей на вновь открывшиеся Курсы своего отца. Там она познакомилась и подружилась, как оказалось на всю жизнь, с Женей, Евгенией

Казимировной Герцык. В дневниках последней начала века лейтмотивом проходит дружба с Соней, переживания по поводу зарождавшихся отношений Сони с Артуром Никишем, венгерским пианистом, блестящим исполнителем русских композиторов, приезжавшего с концертами в Москву.

Прослушав три курса, Софья, отличавшаяся хрупким здоровьем, по совету врачей уезжает в Европу и оседает в Италии. В Сан-Ремо сдает экстерном экзамены за пять классов классической гимназии и три класса лицея для поступления в университет, сперва во Флорентийский, позже в Генуэзский. В Генуе была сильна теософская община и Софья Герье вступает в Общество, вернувшись в Россию в конце тринадцатого года убежденной теософкой.

Вскоре началась другая жизнь: будни военной Москвы, революционные бои, установление новой власти. Семью Герье не трогали, отец с дочерью жили в том же домике в Гагаринском переулке, 20 вплоть до смерти профессора на восемьдесят третьем году жизни в девятнадцатом году...

Потом началось уплотнение, но Софье Владимировне позволили выбирать себе соседей, и она поселила здесь своих подруг по теософскому обществу. После эмиграции председателя Российского теософского общества Анны Каменской, она негласно стала возглавлять это объединение и судьбы ее членов ей были безразличны. Она помогала им, как могла.

Уже после Второй мировой войны в этом доме у своего дяди бывала Наталья Ильина, описавшая его в своих воспоминаниях «Дороги и судьбы»: «*Одноэтажный особнячок в Гагаринском переулке принадлежал когда-то профессору Герье (известные «Курсы Герье») и после революции по распоряжению Советского правительства был оставлен в собственности профессора. В сорок восьмом году, когда я впервые переступила порог этого дома, им владела дочь Герье — Софья Владимировна. Она занимала две комнаты, в одной, просторной жила сама, в другой, поменьше, старушка домработница. Женщина одинокая, безмужняя, бездетная, Софья Владимировна*



Дом-музей К. Г. Паустовского

Беседка в саду Дома-музея,
в которой писатель
любил работать

«...Самым заметным признаком того особого тарусского уклада жизни, который отличал эту семью ото всех других, были цветы и всяческие растения», – вспоминает артист А. Баталов



Церковь Воскресения Христова.
Построена в середине XVII века.
В этом храме в 1906 году
отпевали мать Марины
и Анастасии Цветаевых –
М. А. Цветаеву



Калитка, служившая
Валерии Ивановне Цветаевой.
Улица Ефремова, 13



Памятник Марине Цветаевой на берегу Оки



Фотографии Виктории Яншиной и Бориса Барбараша



Е. К. Герцык и С. В. Герье – курсистки. До 1903 года

не могла избежать уплотнения, но, видимо, часть соседей ей было разрешено подобрать самой. Тут жили интеллигентные люди, под стать самой Софье Владимировне, трудившейся в те годы над составлением – словарь этот вышел в пятьдесят третьем году... Кажется, именно в том году или годом позже Софья Владимировна от домовладения отказалась, передав свой старый особняк государству...

Дом в Гагаринском держался долго. Вокруг него в обеих переулках, переименованных, возвышенных до ранга «улиц» («улица Рылеева», «улица Танеева»), рушились старые особнячки, возникали безлично-комфортные розовые здания с лоджиями, а этот простоял всю первую половину семидесятых годов, как будто забыли о нем»¹.

Осенью восемнадцатого года Софья Владимировна начала преподавать итальянский язык во Втором МГУ, это длилось до двадцать пятого года. В двадцать третьем году ей позволили съездить за границу, где она участвовала в теософском съезде, а через два года – по официальной версии – по состоянию здоровья оставила преподавание и переехала в Тарусу, бывая в Москве лишь наездами.

Кажется, причина этого была в другом: начались гонения на всех инакомыслящих, включая и теософов. Так что это была «мягкая» ссылка. По воспоминаниям Угримова² в первый момент Софью Владимировну выслали в Казахстан, который вскоре заменили 101-м километром. Она выбрала Тарусу, сперва снимая жилье, позже купив там домик совместно с актрисой Малого

театра Надеждой Александровной Смирновой*. В РГА-ЛИ в фондах разных людей хранится множество писем Софьи Владимировны Герье (большой блок писем к Т. Л. Щепкиной-Куперник), многие из Тарусы.

Жизнь ее подруги, бывшей курсистки Евгении Казимировны Герцык складывалась гораздо труднее и трагичнее: революция застала семью в Крыму, в Судакке, где несколько членов семьи сидели в тюрьмах, голодали. Евгения Казимировна, несмотря на слабое здоровье, стала той опорой для семьи, которая позволила выжить ей в межвоенные годы, вырастить и дать образование детям.

Заменив умершую сестру, Евгения по возможности старалась обеспечить поддержку ее сыновьям, тем более в двадцать седьмом году отец мальчиков был выслан из Крыма.

Для старой мачехи и больной свояченицы (жены брата) она стала сиделкой, для племянницы (дочери брата) – воспитателем, для изгнанного из Крыма брата – духовным вдохновителем. Именно благодаря ей удалось воссоединить на Кавказе семью, в двадцать восьмом году перевезти больных из Крыма в Кисловодск, где брат получил работу.

С тридцать второго года скитания продолжились переездом в Баталпашинск, Зеленчук, Курскую область. Эти переезды были связаны с местами работы брата – единственного кормильца беспомощной семьи. Из этих отдаленных мест удавалось Евгении Казимировне изредка вырваться в Москву, поездки связаны были среди прочего и с надеждой добыть какие-то средства, улучшить материальное положение. Семья не переставала бедствовать, слишком много больных, оклад у работающего брата был мизерный. Но уныния себе не позволяли. И были редкие летние дни в Тарусе у Сони, проведенные во время поездок Евгении в Москву.

В тридцатые годы в трех номерах журнала «Современные записки» появились загадочные отрывки – «Из писем старого друга» или «Письма оттуда». Это были письма Евгении Казимировны Герцык к Вере Степановне Гриневич во Францию и Болгарию, переписка длившаяся до сорок первого года.

Все имена в публикации изменены из целей конспирации, а автор зашифрован под «г-жой Х». В «Письмах оттуда» мы встречаем строки о Софье Владимировне Герье и днях, проведенных в Тарусе. Пожалуй, лишь

¹ Ильина Н. Дороги и судьбы. М., 1991. С. 279–280.

² А. А. Угримов. Из Москвы в Москву через Париж и Воркуту. М., 2004.

* Н. А. Смирнова (1873–1951). – Ред.



она названа в «Письмах» своим именем. По этим небольшим цитатам можно судить о жизни Софьи Владимировны в Тарусе.

8/V.32 ...В Соне большой сдвиг, творчески молодой, и такая освобожденность от всех пут, которыми она раньше заковывала себя. И внутреннее ликование от дорого завоеванной свободы. Дорого, потому что она была на грани нервного заболевания, когда были снесены все вехи, все точки опоры, все формулы омертвели, ни одна святыня не сохранилась. Видишь на всех путях эти бури, и не надо бояться изжить их до конца...

27/V.33 ...Неделя, как я здесь, у С<они>. Живем в домике одной художницы, полном кустарных и старинных вещей. Маленькая библиотека рядом с нашей общей спальней, и с ее полки Соня приносит мне книги, разные, новые, которых от обилия и усталости еще не читаю... Так необычайна для меня такая жизнь, и чувствую, что до глубины отдыхаю.

17/VI. 33 ...Разные полосы сменяют друг друга – дни холода и дождя, когда я сидела безвыходно, наслаждаясь давно не испытанной работой за письменным столом в библиотеке, а потом мы упивались разговорами, созвучием и взаимным пониманием...

Затем настали летние дни – в саду щебет, жужжание, аромат сирени, лип зацветающих. С<оня> выносила мне лежащее кресло, и с толстой книгой Гундольфа¹ на коленях я отдавалась «Goethe-Kur²», как она, смеясь, называет наше общее погружение в него, нахождение в его духе, так много нужного именно сейчас, в теперешний возраст жизни и духа нашего. Потом прогулки...

Не могу сказать, как меня умиляет и ласкает эта природа моего детства... Бездумно ходить или творчески обдумывать что-нибудь так хорошо здесь. А дальше лес, уж не такой, а чародейный – из лип, дубов, сосен, остро пахучий, с пронизанными солнцем полянками, с ландышами и вечером с оглушительным свистом соловьев. А возвращаемся домой – и все так же мы вдвоем, огражденные от суеты. Но не думай, что только идиллична жизнь наша – ведь это и ненужно, и невозможно теперь, – почта приносит письма о трудном, о трагических судьбах, и мы рассказыва-

ем друг другу и снова возвращаемся и «осмысливаем», что было, что есть.

После своего страшного «ледохода», как она называет, после внутренней болезненной ломки всего мирозерцания своего С<оня> стала свободней, шире и, открывшись всему тому, на что как бы был положен запрет, так радостно, молодо и свежо воспринимает все. Но, конечно, это не есть отказ от мудрости, годами возвращенной, – только от всего *entourage*³, а<...> ...ее условного, приторного. В ней то, что мне всегда близко: что новый опыт, новое знание не убивает свою противоположность, в которой раньше жила душа, а как-то возводят ее на новую ступень, возвеличивают, утверждают по-новому. Так для меня Кришнамурти⁴ не убивает веры (хотя сам он так говорит против всяких вер и культов), а наоборот. Его слова мне, как очистительный, освежительный ливень, а не как новый, связывающий догмат (как для многих).

Мне дорого в Соне ее острое чувство России (в ней, всегда космополитке, точно прорвалась шедшая через мать ее струя еще от славянофилов), ее стихи, судьбы, и так странно, что она, всегда брезгливо морщившаяся на русскую новую литературу, теперь толкует мне и уговаривает меня принять даже Маяковского, который для меня уже как-то вне поля зрения моего. И в связи с этим так много материнства, простоты, заботливости стало.

Приходят постоянно к ней разные бабы с разговором подмосковным и, видимо, любят ее... В часы отдыха мы обе ложимся с романами современными переводными – ничего значительного, но все они капля за каплей рисуют такой безрадостный, поистине обреченный мир...

25/VIII.34 ...Живу у С<они>, как в санатории. Лежу в отдельной комнатке, гуляю. Вблизи лес, кустарники. С<оня> приготовила мне разные актуальные книги, и спешу прочесть их⁵...

Вот такую терапию для уставшей безмерно подруги организовала в Тарусе Софья Владимировна. В августе тридцать шестого года Евгения Казимировна Герцык приезжает в Тарусу уже в собственный дом Смирновой и Герье, перестроенный из купленной «хатки». «Здесь отдыхаю от жары московской, сплю в их тенистом саду и много времени мы проводим в лесу, беседуя. Купленную

¹ Гундольф (наст. фам. Гундельфинтер: 1880–1931), немецкий историк литературы. Написал ряд биографий, среди них и о Гёте.

² Гёте-терапия (нем.).

³ Окружение (фр.).

⁴ Кришнамурти Джидду (1895–1986), мыслитель, разработавший свою философскую и жизненную систему. В начале XXI века он, мальчиком, был объявлен теософами во главе с А. Безант новой мессией. Но в 1929 году на съезде Ордена Звезды в Голландии Кришнамурти объявил о роспуске Ордена и далее его путь был индивидуален.

⁵ Г-жа Х. Письма оттуда. // Современные записки. Кн. 61, 62, 63. // Евгения Герцык. Лики и образы. 2007. С. 542, 546, 558.



хатку они перестроили себе в уютный, вместительный дом — по-старинному широкая и гостеприимная веранда, много приходящих», — пишет Евгения подруге в Софию. Прогулки по березовой роще с беседами снова, как в юности сближают давних подруг.

Через неделю Евгения уезжает обратно в Москву, хлопоты о семье не дают продолжить этот тайм-аут, отыгранный у жизни. «... пишу тебе на пароходике, увозящем меня от Сони, проводы длились от семи утра до четырех дня, т.к. первый пароход не взял нас (переполнен), время второго было неопределенно, поэтому я, не уходя, сидела над серебряной рекой, а Соня и другие обитатели дома то приходили, то уходили. Принесли мне горячий обед и т.д. В конце концов все мы страшно устали... О здешних днях: собственно общение с Соней было, конечно, не так полно, как в ту одинокую весну, ко вчерашнему вечеру живущих в доме набралось одиннадцать человек, не считая массы приходящих, и при этом заболела их кухарка, так что все хозяйство легло главный образом на Соню, хотя всю кухонную стряпню взяла на себя племянница Сониной подруги, тоже актриса, приехавшая отдохнуть. Но все же Соня была в суете, чтобы раздобыть чем кормить всех. Вчера вечером приехала наша кисловодская приятельница с трагической судьбой (вероятно С. А. Бодянская — Т. Ж.)... и я с ней, конечно, проговорила всю ночь...

Все же урывками бродили с Соней в березовых рощах и говорили. А поверх этого многогранная, пестрая жизнь: молодежь, а взрослые и старые преимущественно те, кого кто-то остроумно назвал *les poivreux pauvres*¹, по разному духовно преодолевающие это. Прекрасная пианистка и скрипач, специально для меня играли два дня подряд: мы с Соней только вдвоем слушали, потому никакого рассеяния не было. И так прошли перед нами четыре сонаты Бетховена, много Моцарта, Баха, Шуберта — все классическое и так непосредственно входящее в душу. Это было мне таким даром — это первоклассное и интимное исполнение. С одной Сониной приятельницей — скульптором провела вечер вдвоем, и мы почувствовали большую близость в пройденных путях и в чувствовании настоящего. У нее чудесные дети — сын семнадцати и девочка пятнадцати...»². Речь идет определенно о скульпторе Надежде Васильевне Крандиевской, семья которой также полюбила Тарусу и со временем они купили там дом.

Эти три поездки в Тарусу в тридцать третьем, тридцать четвертом и тридцать шестом годах, без сомнения, давшие целительную передышку Евгении Казимировне, позволили ей написать главы воспоминаний, теперь изданные, и преодолеть еще несколько лет, которые могут служить примером подвижнической жизни.

Первые письма из освобожденных от немецкой оккупации районов Курской области, где семья Герцык оказалась во время войны, полетели в сторону Москвы и Тарусы, к Софье Владимировне Герье.

Уже в марте сорок первого года Софья Владимировна пишет ответ, адресуя его на хутор «Зеленая степь»: «Милая, родная Женя, какое счастье увидеть твой почерк, хотя и такой слабый и больной!... Я была все время в Тарусе, застряла там осенью и тоже пережила тяжкий плен, хотя и недолгий. Выехать в М<оскву> к Леле (сестра Елена Владимировна — Т. Ж.) никак не удавалось, а этой осенью в ноябре Леля скончалась, и я даже по тел<леграмме> о смерти приехать не смогла. И только месяц приехала сюда по команд<ировке> для сдачи гос<ударст>ву архива и библи<отеки> отца. Прописалась и продолжаю работать в Изд<ательст>ве словарей».

Еще в сороковом году она была приглашена участвовать в составлении Итальянско-русского словаря с грамматикой итальянского языка, который вышел через семь лет. В сорок третьем году, по предложению тогдашнего Наркома Просвещения Потемкина, Герье поступила на работу в Московский государственный Педагогический институт иностранных языков, где вела курсы теоретической грамматики и лексикологического на II и IV курсах итальянского отделения романского факультета, а в сорок шестом году ей было предложено организовать кафедру итальянского языка в Институте иностранных языков.

В то же время она продолжает работу над словарями: Русско-итальянском и Итальянско-русским — пятьдесят первого года.

О настроениях Софьи Владимировны можно судить по ее последующим письмам: «Не знаю, с чего начать свой рассказ! Хочется еще прежде всего сказать, что за все время нашей разобщенности, ты всегда была мне близка, и я всегда была уверена в нашем внутреннем единении, в одинаковом отношении к событиям, в непоколебимой верности Родине и незыблемой вере в нашу

¹ Новые бедные (фр.).

² Письма Е. К. Герцык к В. С. Гриневич. Рукопись. Архив Фонда-дома Русского зарубежья. Крандиевская-Файдыш Надежда Васильевна (1891–1962), скульптор, в 1915 году создала портрет Марины Цветаевой.

³ Выдержка из писем С. В. Герье к Е. К. Герцык из домашнего архива Герцык.



победу. Так жили мы с Надей. Так, знала я – живешь и ты, и не покидала никогда надежда на свидание с тобою, на то, что вместе будем переживать радостное светлое обновление мира и всей земли после победы. И что в тебе, как и во мне, наряду с болью за нашу истерзанную Родину, живет гордость, что все-таки мы, Россия, как всегда, на своих плечах вынесли главное бремя войны и как всегда жертвенно своими телами и кровью спасли остальное человечество от гибели...»³, – писала она в мае того же года.

Нет, не пришлось им вместе дожидаться конца войны. Евгения умерла в самом начале сорок четвертого года, донеся до конца свой жизненный подвиг, ее подопечная больная умерла тремя месяцами раньше... Но нашим победам успела порадоваться и их приветствовать.

Поскольку работа требовала частого присутствия в Москве, Софья Герье в сорок шестом году продает свой домик в Тарусе врачу Михаилу Михайловичу Мелентьеву, с семьей которого сдружилась, продолжая приезжать в Тарусу. Мелентьев в своих воспоминаниях «Мой час и мое время» тепло вспоминает Софью Владимировну:

«... я получил приглашение от Софьи Владимировны Герье зайти к ней. Живет она в особняке покойного ее отца, профессора Владимира Ивановича Герье, оставленном советской властью за его семьей. Большой кабинет. Старинная обстановка. Большие портреты маслом Владимира Герье и его жены. Много книг и Софья Владимировна породистая, высокого роста, с бледным тонким лицом. Порывистая и спокойная. Простая и не простая в обращении. Уже очень немолода, но подтянута, держится прямо, улыбается молодо...»

«... Двадцать четвертого августа пятьдесят шестого года уезжала и Софья Владимировна Герье. Это лето она была особенно легка и светла. Старый человек, она была пленительна и внутренне и внешне своей свежестью чувств, своей породистостью.

Отец ее, Владимир Иванович Герье, профессор истории. Мать, рожденная Станкевич, портрет которой висел в кабинете Софьи Владимировны, пленяла своей красотой и «усадебным» благородством.

Сама Софья Владимировна десять лет прожила в Италии, была профессором итальянского языка в Институте иностранных языков и была теософкой. Первые годы эта ее теософичность с некоторым привкусом нетерпимого сектанства как-то стояла между нами.

Но за последние годы это ушло. Софья Владимировна становилась все мягче, окрыленное и становилась нам все ближе и дороже...

*Увы, что нашего незнания
И беспомощней, и грустней?
Кто может молвить: «до свиданья»
Чрез бездну двух или трёх дней.*

Тридцать первого августа Софья Владимировна скончалась¹.

Вспоминает Софью Герье и сестра доктора, Анна Михайловна Долгополова:

«Действительно, меня поразили даже внешний облик этого человека, столько в нем было обаяния, внутренней подобранности, красоты. Правда, был некоторый холодок, высокомерие избалованного человека, привыкшего к поклонению и авторитету.

Она очень любила этот дом, участок, где она прожила много лет – она и потом жила в гостях летом. Разговаривая со мной в последний день перед отъездом в Москву, она мне сказала: «Здесь, в Тарусе, я растворилась в природе, я многое поняла, многому научилась и завершила круг своих понятий о людях. Многому, очень многому научилась у вас». Через два дня ее не стало»².

Из живущих ныне вспоминает о Софье Герье, как преподавателе и человеке Юлия Александровна Добровольская, живущая ныне в Италии.

Как теософ, веря в перевоплощение, Софья Владимировна без страха смотрела на переход в иную жизнь, она оставила подробное завещание: *Мои просьбы: похоронить на Пятницком кладбище рядом с родителями на месте Грановского, можно после кремирования. Передать архив в библиотеку. Портреты через Ел. Вл. Сильверсван в Третьяковскую галерею: Е. И. Герье 1868 года – Шервуд; В. Я. Герье 1812 года – Богданов-Вельский³.*

Отдельного ее архива не существует, немногочисленные документы хранятся в РГАЛИ в фонде М. Доброва; детские и юношеские письма хранятся в фонде В. И. Герье в РО РГБ, бывшей Ленинской библиотеке, где в свое время работали обе ее сестры; многочисленные письма в фондах ее корреспондентов...

¹ Мелентьев М. Мой час и мое время. СПб., 2001. С. 458, 584–565.

² Там же. С. 684–686.

³ РГАЛИ. Фонд Михаила Доброва.

Из «Записок» правнучки А. Пушкина

Наталия МЕЗЕНЦЕВА-ПУШКИНА



Дорогой моей Галинке на память о хорошем, сказанном нами в долгих ночных беседах. Всего хорошего во всей Вашей жизни да пошлет Вам Господь!

Наталия Мезенцева-Пушкина.
Москва. 26 декабря. 1997

В дни, когда до 200-летнего юбилея нашего великого поэта-мыслителя Александра Сергеевича Пушкина оставалось всего два месяца, на девяносто пятом году ушла из жизни последняя правнучка поэта – Наталия Сергеевна Мезенцова-Пушкина, чья память хранила впечатления и голоса старших его детей: Александра и Марии.

Ждала ли правнучка поэта этого юбилея? Хотела ли быть участницей торжеств по случаю 200-летия прадеда? Я, близко знавшая Наталию Сергеевну, дружившая с ней и до последнего ее дыхания на-

ходившаяся рядом, с уверенностью могу сказать, что она скорее боялась предстоящего юбилейного шума, чем радовалась этому событию. И причины у нее для этого были: «...Опять будут встраивать Пушкина в нынешнее время, как это делалось и в семнадцатом и тридцать седьмом годах... Сколько спекуляций на имени его! Зачем столько пустословного шума? Лучше бы читали Александра Сергеевича и размышляли над его книгами», – говорила Наталия Сергеевна, переживая за искажение его мировоззрения. Сама она была настоящим исследователем творчества своего прадедушки, которого называла в разговоре исключительно уважительно-отстраненно: «Александр Сергеевич».

Дедушкой она называла только сына поэта Александра Александровича – боевого генерала, героя русско-турецкой войны 1877–1878 годов, который приходился Наталии Сергеевне не только родным дедом, но и крестным отцом, давший при крещении ей имя своей любимой матери Наталии Николаевны Гончаровой-Пушкиной-Ланской. Он будто предчувствовал, что маленькая Наташа унаследует не только внешний облик Наталии Николаевны, но и лучшие черты ее характера: необычайную доброжелательность и глубокую религиозность.

Так это и произошло. А вот острый ум, самоирония и трепетно-уважительное отношение к родному слову – это у нее, конечно, от Пушкиных.

О судьбе, жизни и облике деда Александра Наталия Сергеевна поведала в своих «Записках».

Писать она их начала в тяжелейшие годы, когда она, дочь и сестра «врагов народа», потеряв всех, кто составлял радость и счастье ее жизни, обратилась к воспоминаниям о близких людях, чтобы обрести в них спасительную силу. Писала она их по ночам. Тайно. О существовании этих «Записок», как она их называла, я, одна из самых частых ее гостей, узнала даже не в первые годы нашего знакомства, а значительно позже.

Когда же они мне были предложены для прочтения, меня постигло некоторое разочарование. Дело в том,



что в наших долгих беседах я узнала значительно больше, чем Наталия Сергеевна рассказала в своих письменных воспоминаниях. В них я почти ничего не обнаружила о ее личной судьбе, сложившейся после семнадцатого года, когда уклад жизни был разрушен революционными событиями.

А сколько было пережито! Вынужденный отъезд из любимого Петербурга в Москву, где вскоре семья была «уплотнена» до комнаты в подвале на Арбате, и годы нищеты, и работа на лесозаготовках, где едва не погибла от непосильного труда и дистрофии. И работа маляром в строящейся тогда гостинице «Москва»...

На мой удивленный вопрос Наталия Сергеевна ответила так: «Я пережила пять войн, из которых самой страшной была гражданская, и она в моем сознании будто никогда не кончалась... Да, пережито много. Но мне важно оставить воспоминания о близких мне людях, исправить те неточности, что появляются в некоторых публикациях. Они меня глубоко ранят. Пусть следующие поколения Пушкиных знают правду о своих потомках, о судьбах их...»

О том, что ее «Записки» станут доступны читателю, она, конечно, и не помышляла в годы «общего смятения духа».

Вот как пишет она о своем дедушке Александре – отце матери Веры Александровны: «Я помню дедушку в последние годы его жизни. Тогда он жил в Москве в Николо-Плотницком переулке, на углу Сивцева Вражка в небольшом красивом особнячке с мезонином. В шестидесятых годах особняк был снесен...»

Я была лет восьми, когда мы с моим отцом пришли к Пушкиным. Дедушка сидел в кабинете за письменным столом, в военной форме с генеральскими погонами. Он мне показался очень старым. На меня смотрели добрые, спокойные, голубые глаза в очках с золотой оправой...

Помню его худощавую, небольшую тонкую руку с длинными ногтями. О чем-то он меня спрашивал, что-то я отвечала – уже не помню что. Когда мы уходили, он поцеловал меня в лоб и перекрестил. Я же была его крестницей...

В другой раз мы были званы к обеду. Дедушки сначала не было. Он был в каком-то присутственном месте. Вскоре приехал... Был в полной парадной гусарской форме и произвел на меня неизгладимое впечатление».

Почетом и уважением было окружено имя Александра Александровича. И это связано не только с тем, что он «был уважен за имя» великого отца своего, а за собственные заслуги перед Отечеством. За участие в бое-

вых действиях получил золотую Георгиевскую саблю с надписью «За храбрость». Отмечен наградами и за успехи на дипломатическом и научном поприще. До самого последнего дня его ум и знания были востребованы. А последний день его жизни наступил девятнадцатого августа четырнадцатого года, то есть в день, когда Германия объявила войну России. Сердце старого генерала не выдержало этого известия. Остановилось. Он хорошо понимал, что последует за этими событиями. И не ошибся.

– И не так уж трудно представить, – размышляет Наталия Сергеевна, – какая судьба ждала бы его, проживи он еще три года. Ведь уже при жизни он был назван Лениным «мракобесом» за свои монархические убеждения...

И основания так говорить у его внучки были. Они базируются на судьбе других потомков Александра Сергеевича Пушкина, в частности, и на горестной, неприютной жизни дочери поэта Марии Александровны Гартунг, дожившей до Октябрьского переворота. В подробности ее нелегкой судьбы Наталия Сергеевна вникла с такой же скрупулезностью и ответственностью, как и в жизнь родного деда.

Во время наших долгих ночных бесед и особенно во время поездок на могилу Александра Александровича в Лопасню (ныне город Чехов), Наталия Сергеевна постоянно возвращалась к воспоминаниям о Марии Александровне – своей двоюродной бабушке. Так мне стало известно, что здесь, в Лопасне, в имении Гончаровых, Мария Александровна помогла своему овдовевшему брату Александру растить его детей – своих у нее не было, и что больше всего она любила младшую дочь брата Верочку – мать Наталии Сергеевны. Своих племянников она обучала иностранным языкам, знакомила с творчеством отца и учила их... плавать в усадебном пруду. Сама была прекрасной пловчихой и переплывала огромный пруд в самом широком месте.

Рассказывала мне и о личных встречах с Марией Александровной. С особой болью говорила о бедственном ее положении в конце жизни. И при этом часто повторяла: «Жаль, что я была подростком, когда страдала бабушка Мария. Я бы ее не оставила. Я бы помогла...».

И эта горечь за судьбу дочери прадеда не оставляла ее никогда. В своих «Записках» внучатая племянница посвятила ей немало страниц.

«Поднявшись по лестнице, мы входили к ней в квартиру, где бабушка Мария встречала нас всегда очень приветливо и о чем-то внимательно и ласково разговаривала с каждым. И со старшей моей сестрой



Мариной, и с маленьким братом Сашей, и со мной. Помню очень ясно: передо мной стоит высокая, стройная седая женщина, с подстриженной челкой на лбу, с узкой рукой. У нее несколько выделяющийся породистый нос, тонко очерченный рот, но светлые глаза выглядят уже немолодыми. Своим обликом она напоминает маркизу. Голос у нее высокий, звонкий. Я хорошо запомнила его...»

Это пока петербургские впечатления двенадцатилетней Наташи Мезенцевой. А затем Мария Александровна вслед многим дворянским семьям оставляет революционный Петербург, но не уезжает из России, а ищет пристанище в Москве.

«Вероятно, — пишет Наталия Сергеевна, — первое время она жила с Гончаровыми, где тоже ютились некоторые из родственников. Затем поселилась на Донской улице, недалеко от монастыря. Комнату ей выделили знакомые. Она была небольшая и темная».

Семья Мезенцовых навестила ее в конце восемнадцатого года, принесли угощение. И в памяти осталась седая старая женщина, уже не такая красивая, как прежде.

«Мария Александровна, — продолжает Наталия Сергеевна, — лишенная к тому времени всех своих материальных средств и не имея никакой поддержки в годы разорения и голода, решила пойти на прием к Луначарскому с просьбой о назначении ей пенсии».

Нарком был удивлен встречей с дочерью Пушкина и представил ее своим сотрудникам как необыкновенное явление. Пенсию он ей пообещал, и Мария Александровна ушла обнадеженная...»

И что же? Никакой помощи дочь Пушкина не получила. Седьмого марта девятнадцатого года она скончалась одинокая и голодная.

О Саше

*И всюду страсти роковые,
И от судеб защиты нет.*

А. С. Пушкин

Эта краткая биография брата Саши неразрывно связана с судьбою нашего отца; поэтому описываю те обстоятельства, которые привели их обоих к трагической кончине.

Начало осени тридцатого года. Я возвращалась из Алма-Аты, было это, вероятно, в конце августа. Там я прожила безрадостные полтора года. Поезд пришел днем, и меня встретили мои дорогие домашние: брат Саша, любимая няня Настя и тетя Анна Александров-

Измученная страданиями последнего времени, Мария Александровна лежала в гробу неузнаваемая, страшно похудевшая.

Так закончилась жизнь дочери первого поэта России, который, размышляя о судьбе своего потомства, сказал: «Бескорыстная мысль, что внуки будут уважены за имя, нами им переданное. Не есть ли благороднейшая надежда человеческого сердца?». Увы...

О том, какая судьба еще одного потомка Пушкина, а именно, его правнука Александра и тоже Сергеевича, также узнаем из «Записок» Наталии Сергеевны — сестры его.

Главу о своем брате она назвала тепло и просто: «О Саше». Эта глава и предлагается читателям «Тарусских страниц».

Как уже было сказано, нам мало что удастся узнать о самой Наталии Сергеевне. А между тем, ее исключительная судьба и Личность достойна объемной книги. И если бы такая книга была написана, она превратилась бы в летопись о России и ее истории, русском языке и мировой литературе, культуре и искусстве, о Пушкине и Православии... Таков был масштаб личности Наталии Сергеевны Мезенцевой-Пушкиной — достойнейшей наследницы двух дворянских родов.

Она осчастливила меня своей дружбой и перевернула мое сознание. Ее прах покоится на Новодевичьем кладбище рядом с близкими ей людьми: сыном, братом, сестрой, няней, внуком... Свет ее щедрой души продолжает быть с теми, кого этот свет согревал при жизни.

Галина СЕНИЧЕВА,
член международного
Пушкинского общества

на. Отца не было, он отдыхал в Тарусе, под Москвой. Сестра с детьми жила на другой квартире, а лето всегда проводила на даче в Быкове.

День прошел спокойно, и никто из нас не подозревал, что приближается тот роковой вечер, который в корне изменит весь уклад нашей семьи.

Их, кажется, было трое. Они пришли, предъявили ордер на арест отца, обыскали его вещи, ничего, конечно, не нашли и, записав его подмосковный адрес, уеха-



ли. Принимал их брат, живший с отцом в одной комнате. Перед уходом они пришли ко мне в комнату, оглядели все и, задав несколько вопросов, ушли.

Мы остались одни – собрались у брата и решили, что завтра с утра я поеду к отцу, чтобы предупредить его, ибо меня никто, вероятно, не будет выслеживать.

В тот день было теплое солнечное утро. Я ехала в поезде и волновалась: встреча с отцом и радость его видеть, сознание грозящей ему опасности – все эти мысли не покидали меня всю дорогу. Кроме того, беспокоило и то, что чекисты могут опередить меня в Тарусе. Нашего отца мы все трое любили до обожания, глубоко и преданно, в ответ на его безграничную любовь к нам.

Я приехала в Тарусу и отыскивала дачу. Отец и чудесная Елизавета Сергеевна Олив сидели на террасе и завтракали. Помню, как он обрадовался моему приезду, а я была не в силах что-либо сказать ему, и, когда он вышел приготовить мне завтрак, я, воспользовавшись его отсутствием, все рассказала Елизавете Сергеевне и попросила ее передать отцу это мучительное известие. Сама смалодушничала и ушла...

День прошел в волнующих, нерадостных разговорах. Только назавтра удалось заказать подводу. Решили уезжать с другой станции (не помню какой), опасаясь встречи с чекистами.

Переночевала я в комнате у хозяев, а наутро мы уехали, простившись с милой, обаятельной Елизаветой Сергеевной – как потом оказалось, навсегда.

Погода стояла солнечная, теплая; природа, как всегда, была прекрасна, и не хотелось верить, что человеческое коварство так могущественно и беспощадно. Пришлось нам переправляться через Оку на пароме, после чего мы благополучно добрались до поезда.

На перроне в Москве нас встретил Саша с ключами от квартиры сестры Марины. Мы поехали все трое туда, а там нас уже дожидалась няня Настя с готовым обедом, бельем и всем необходимым. На следующий день отец уехал к Марине на дачу.

Он прожил у сестры всего дней пять, хотя мы рассчитывали на больший срок его пребывания там. Да, тогда иногда еще были случаи, когда ЧК оставляло преследования своих жертв. Но отец неожиданно утром вернулся. Брат, никогда не бывший резким с отцом, открыв ему дверь, неожиданно сказал: «Я рад тебя видеть, но прости – большей глупости ты сделать не мог!» На что отец ответил: «Я не преступник, что бы прятаться!»

Не успела няня приготовить завтрак, как за ним пришел человек с ордером на арест... После ухода отца я вошла в комнату к брату. Помню, он стоял, прислонив-

шись к краю стола, и молчал, а по лицу его текли слезы. Мы стояли рядом и оба плакали. Отцу тогда было шестьдесят четыре года.

Прошло около двух месяцев, и арестовали Сашу – ему тогда был двадцать один год. К тому времени арестовали и его друзей, из-за нелепой, но роковой причины. У брата был товарищ, еще по школе, – красивый, живой, необыкновенно возбудимый и горячий, но добрый и участливый. Бурный поток слов, нескончаемые темы для разговоров! Он приходил к нам и так же бурно играл на пианино, как и говорил. Его звали Миша С.

Миша был верующим, ходил в церковь и прислуживал во время богослужения. Он учился в университете и там вступил в комсомол. Вот все это и привело к катастрофе. Его выследили и на собрании предъявили обвинение в религиозности, спросив, как он это совмещает? Миша растерялся и ответил очень неудачно: «Надо же знать своих врагов!» После этого он вскоре и был арестован.

Надо сказать, что отец его – морской офицер, а мать была изящной, хорошенькой, но истеричной женщиной. После ареста сына она была в отчаянье. В таком состоянии она пришла к нам и, не входя в комнаты, стоя в передней, сообщила: «Я была у Мишиного следователя и сказала ему: почему вы арестовали моего сына, а его товарищи, которые собираются вместе и тоже интересуются философией и религией, на свободе? Я уже была у братьев Ч. и сказала их матери, чтобы она знала, что могут прийти за ее сыновьями». Намек был и на Сашу. После этого признания она тут же ушла.

Я слышала, что Миша со страху много наговорил и на себя, и на товарищей...

Жизнь его закончилась быстро. Он не выдержал этапа, заболел тифом и скончался где-то на севере, у Белого моря. Товарищи же его были обречены на лагерь. Все они были интеллигентными, порядочными юношами, интересовались очень многим и к тому же были верующими. В то время власти старались изжить это любой ценой. Интеллигенция, особенно дворянская, жестоко преследовалась...

Помню, был ранний вечер, брата Саши дома не было, он опаздывал и еще не возвратился из института. Пришли трое, предъявили свои документы ГПУ, спросили брата и, узнав, что он отсутствует, прошли к нему в комнату и стали его дожидаться.

В сильном волнении я решила пойти ему навстречу, чтобы избавить его хотя бы от неожиданности. Взяла с собой собаку, но сколько ни ходила, его не встретила.



Он пришел поздно. Конечно, предыдущие обстоятельства уже настораживали на недоброе, и он потом говорил, что было у него какое-то предчувствие – не хотелось идти домой, и он направился в кино, где и провел вечер.

Как сейчас помню, когда один из чекистов услышал звук ключа в замке входной двери и в переднюю уже входил Саша, он бросился бегом к двери с револьвером в руке. По его команде Саша спокойно, с презрением, поднял руки, пока тот обыскивал его с головы до пят! Помню эти детали, этот театр так ясно, как будто сейчас все это перед моими глазами.

Потом был обыск; все в комнате было перевернуто вверх дном, и все бросалось на пол. К концу этой работы пол был весь устлан всевозможными предметами. Конечно, ничего не нашли.

Саша уже одевался в передней, когда няня Настя, совсем потрясенная от этого нового удара, вдруг обратилась к старшему чекисту: «Отпустите его скорее, он ни в чем не виноват!» Эти слова прозвучали так взволнованно и грустно, что тот ответил ей каким-то смягченным голосом: «Если они не виноваты, то их отпустят», почему-то называя Сашу в третьем лице.

Мы горячо простились. Они ушли. Что было в первые мгновения после ухода брата, я не помню совершенно. И после не помню тоже многого. Но все эти мелочи, оставшиеся у меня в памяти, мне бесконечно дороги, и я часто переживаю их и теперь...

Началась новая жизнь, полная беспокойств, огорчений и страданий. Моя няня Настя была героической женщиной в настоящем смысле этого слова. Она заслуживает особого внимания, ибо на нее легла большая доля всех трудностей, выпавших на нашу семью. И как она с ними справлялась? Видно, помогал ей Бог.

Она никогда ничего не боялась и для каждого из нас была готова на любую жертву. Саша был дорог ей, как собственный сын. Твердо могу сказать, что во многом она нам заменила в детстве рано умершую нашу мать и очень была нам дорога. В ту злую, трудную пору она была еще не старой: около сорока пяти лет. Но здоровье ее было плохое, подорванное, а нервная система – в полном разладе.

Несмотря на наступившие трудности, она не теряла здравого смысла и удивительно умела со всем справляться. Советами руководила мною, тогда совершенно наивной, незнакомой с жизненными невзгодами. Узнала я, что такое московские тюрьмы, что такое их управители и вообще советский строй, столкнулась с коварным лицемерием, всюду царившим. Хожение по

этим мукам выпало на мою долю; сестра Марина была слабого здоровья и мы старались ее беречь, как умели, поэтому по делам наших дорогих узников всюду ходила я, да и работа моя по времени это позволяла.

Оба, отец и брат, оказались одновременно на Лубянке, в тюрьме ГПУ, но узнали они друг о друге через кого-то случайно. И на Лубянку, и затем в Бутырскую тюрьму надо было носить им передачи. Порядок был строгий, и передачи принимали в очереди по алфавиту – по первой букве фамилии.

У каждой буквы был определенный день, и приходилось стоять в очереди по нескольку часов. Помещение с окошком для приема передач было просторное, набитое людьми до отказа, а стены исписаны короткими, иногда отчаянными словами. Что можно было передавать, указывалось тоже строго.

Первым был выслан отец. Обвиняли его в участии в «группировке», которая собиралась, читала газеты и враждебно их обсуждала (статья 58, пункт 10.) Удивительно глупое обвинение!

Отец был отправлен (кажется, в октябре) на поселение в Сибирь, в Нарым. Накануне отправки разрешили свидание с ним в Бутырках.

К назначенному времени мы приехали туда с сестрой Мариной и привезли необходимые отцу вещи. У входа в приемную с двух сторон стояли часовые с винтовками. Помещение было разделено надвое двойной перегородкой, по обеим сторонам сделаны кабины с окнами. Между перегородками расхаживал военный. Через эти окна и велись переговоры с заключенными, и шум от голосов был невообразимый.

Отца мы разыскали сразу, разговор был, конечно, и о Саше, о нем отец бесконечно беспокоился. Редко, но бывали среди тюремщиков люди человечные: так, военный, ходивший между перегородками, разрешил передать отцу полушубок, а нам принять от него пальто. Но добавил: «Когда я отойду подальше, чтобы будто не видел». Мы быстро обменялись с отцом вещами, просунув их в окошко.

Кончилось свидание, все расходились, а мы с сестрой крестили вслед уходящего отца. Он уходил последним, остановился у двери, с полушубком на плечах, и долго смотрел на нас, а мы на него, пока не пришли закрывать дверь.

В помещении осталось только несколько человек, в том числе сестра и я. Мы не знали, когда и откуда будут отправлять партию арестованных вместе с отцом, и обратились с вопросом к часовым у дверей. Никогда не забуду, с каким участием эти два молодых стражника, узнав, что мы справляемся об отце, и увидев наши за-



плаканные лица, наперебой все нам объяснили. Оказалось, отправка назначена была на следующий день с Казанского вокзала. В конце концов мы узнали все подробности – время, номер пути, даже место, где остановится «черный ворон». И все оказалось точно, как было сказано.

День был морозным, потом наступил уже вечер, стемнело, когда мы приехали на вокзал, заранее, втроем с Настей, и видели, как подъехал «ворон», как оттуда выводили людей по несколько человек и стражники с ружьями наперевес вели их по платформе, кругом, к путям, где стоял поезд. Политических и уголовников отправляли вместе.

Нельзя забыть, как в одной из партий шел молодой мужчина в синих полотняных брюках, рубаше без пояса, без шапки и босиком. Кисти рук он засунул в рукава и весь съёжился от холода. Смотреть было тяжело.

Наконец вышел и мой отец; на нем были его серые высокие фетровые валенки, романовский полубухом и теплая шапка. Слава Богу, удалось ему передать все, что мы приготовили.

Предназначенный заключенным вагон был типа товарного, кирпичного цвета, с подножкой и тамбуром, и только в противоположном конце его, под самой крышей, было крошечное оконце – отдушина. Высокая, красивая фигура отца выделялась на общем фоне. Озабоченное его лицо запомнилось нам навсегда. Ему разрешили на какое-то мгновение выйти в тамбур, чтобы сестра Марина передала ему свои часы, которые сняла с руки. Потом отцу удалось выглянуть из окна-отдушины, пока еще поезд не отходил. Провожавших было всего человек пять, и кто-то из осужденных тоже выглядывал из этого «отдушника».

Так мы стояли у вагона и ловили каждое мгновение этой эфемерной близости, зная, что скоро все оборвется и наступит разлука. Так и стояли, пока нам не приказали отойти. Тогда тихо, зловеще стукнули вагоны, и поезд тронулся, увлекая с собою бесценное для нас существо, чудовищно и бессмысленно осужденное на страдания.

Условия путешествия отца были очень тяжелыми для его возраста. Ехали поездом, затем, после переходов, плыли пароходом – уже до места назначения. Прибыв на место, осужденных выпустили, однако с обязательством являться в определенные сроки для отметки. Место ссылки называлось Колпашевым, а селение, где он жил, – Тогур, на берегу Енисея, в Томской области. После некоторых трудностей он нашел дом, где снял комнату, в соседстве тоже с высланной, некоей Максимовой, женой арфиста Большого театра Прокофьева.

А уголовники почти все погибли – замерзли: население боялось пускать их к себе.

Самое тяжелое, потом рассказывал отец, был этап, пересылочные тюрьмы и перегоны. Зимой он провел в этом поселке Колпашево на берегу Енисея, в заброшенном уголке земли. Посылали мы из дома ему посылки и деньги, но все это с трудом, недостаточно – поскольку и то, и другое было необходимо и ему, и брату Саше.

К следующей зиме мне удалось с помощью хороших людей устроить переезд отца в лучшие условия, в Минусинск. Он снимал там у хозяев помещение и устроился на работу в контору бухгалтером, в пяти минутах ходьбы от своего дома...

А жизнь брата Саши сложилась иначе. Его приговор был суровым – концентрационный лагерь на восемь лет. Проводить его мы не смогли, все было очень засекречено, не дали даже свидания, но теплые вещи, все необходимое и съестное удалось ему передать.

Этап был долгим и тяжелым. Но молодость и отменное здоровье помогли ему во всех лишениях, подчас невероятных. В одном длительном переходе он и его товарищи были совершенно лишены питья. Измученные жаждой, они сильно страдали, поэтому многие из них, встретив на пути общественную уборную, бросились туда – пить жижу. Брат мой этого не смог...

Вот краткий перечень его этапов:

Кемь, Петровский Ям.

Попов остров, Медвежья гора. 9/ХП – 3/ХП 1930.

Карело-Мурманская ж/д., станция Май-Губа, II отряду Сик-Митль. 26/ХП 1930.

Карело-Мурманская ж/д., станция Май-Губа, ОСУ СЛАГ 28/Н 1931.

Последний лагерь уже был смешанным, то есть там находились и женщины. Вообще советский трудовой лагерь – это неопишное, чудовищное злодеяние, которое со временем дошло до предела всего человеческого, а в те годы только начинало свою бурную деятельность.

Когда брат находился в заключении, пыток еще не было, слава Богу. Дело Саши и его товарищей следователи считали несерьезным, выдуманным, у брата было всего два допроса, довольно бессмысленных. Но бесчеловечное обращение изматывало людей. Голодные, измученные, в любой мороз шли на работу, на лесозаготовку. Шли в темноте рано утром, друг за другом, по тропинке, среди снега, и на ходу спали, и вдруг, наткнувшись на идущего впереди, просыпались.

Среди их группы был молодой человек интеллигентной внешности, хорошо одетый и с чемоданчиком,



с которым он никогда не расставался. Что в нем было, никто не знал. Однажды после работы, уже оконченной, старший надсмотрщик попросил его принести ему какой-то инструмент, забытый им якобы вне рабочей зоны. Как только несчастный перешел границу зоны, раздался выстрел, и он был убит наповал. Понятно, убитый был обвинен в попытке бегства, а чемодан забран сторожем.

По вечерам отборная компания охранников собиралась в каком-то помещении, и там устраивались кутежи. Брат мой участия в этом не принимал, хотя его туда звали, и кончилось тем, что надсмотрщики оставляли его караулить их дежурное помещение, вместе с оружием, а сами уходили пьянствовать.

Незадолго до того, воспользовавшись этим, четверо заключенных бежали в Финляндию, но, конечно, это было лишь единичным случаем. Недоедание и тяжелая работа, сильная простуда привели брата к плевриту с высокой температурой: его положили в госпиталь, на простыни только что умершего от туберкулеза. Этого оказалось достаточно для всего затем случившегося...

Тем временем я обошла много всяких кабинетов и инстанций, и с помощью хороших людей и писателей удалось Саше наконец выхлопотать – как правнуку великого поэта – изменение приговора на «минус двенадцать», то есть на свободную высылку, за исключением двенадцати городов, где есть университеты или институты.

Но на эту перемену судьбы никаких ответов от Саши не последовало – наступило полное молчание. Я знала, что новый приговор отослан персонально в его лагерь, и потому это молчание брата было непонятным. Позже оказалось, что наши письма надсмотрщики решили использовать на сигарки, и потому переписка прекратилась.

И тогда произошло то, что соединяет любящие, родственные души: каждую ночь я стала видеть во сне брата. Я видела его мальчиком в матросской блузе, которую носили мальчики в те времена, и каждый раз именно так, без всяких слов. Сколько это длилось, не помню, но вскоре я почувствовала очень ясно и уверенно, что он переживает что-то тяжелое – что он болен!

Это чувство уверенности я помню до сих пор. Под этим впечатлением я пошла к сестре в Исторический музей, где она работала в библиотеке. Уверенная в своем чувстве, я убедила ее, что надо ехать разыскивать брата – он болен! Втроем с няней Настей мы стали обсуждать наши обстоятельства – сестра или я должны были бросить работу, но, поскольку Настя не работала, решила ехать она.

Ее путешествие с начала и до конца – это подвиг. Преодолев ужасные условия железной дороги тех времен, она прибыла в лагерь на станции Май-Губа, но Саши там не оказалось; его перевели в другой, в двадцати километрах от прежнего. Пришлось нанять подводу и ехать туда. Оказалось, брат лежал в госпитале, и свидание ей дали только на следующий день. Об изменении приговора они ничего не знали, и Насте пришлось тут же ехать назад в прежний лагерь. Там стали разыскивать бумагу – и нашли, что называется, «под сукном». Получив на руки документ освобождения, она вернулась к Саше, переночевав где-то у местного жителя.

Свидание им дали в поле, перед лагерем. Она ждала его у стога сена и, наконец, дождалась: навстречу шел человек, похожий на призрак, бледный, худой, как скелет. Встреча была трудная – и радость, и горечь!

И дальнейшее было непросто. С трудом она уговорила начальство разрешить брату жительство в Минусинске, где жил наш отец; начальство очень смущала близость границы, но все-таки милостиво разрешили, учитывая состояние больного.

Начались новые трудности. В этот же день они выехали поездом в Вологду, где Настя нашла дом, хозяева которого согласились сдать комнату дня на три. Оставив Сашу, обеспеченного едой, но без соответствующего документа, как говорится, «на волю Божию», она отправилась в Москву за деньгами и одеждой.

Выручили друзья нашей семьи, и Настя сейчас же уехала в Вологду и там, забрав Сашу, повезла его в Минусинск, к отцу. Всю дорогу он лежал и с жадностью ел все, что ему давали. В те времена вдоль железной дороги можно было купить на остановках все необходимое: хлеб, молоко, приготовленное мясо, яйца и прочее. Сестра предупредила телеграммой отца о приезде Саши и Насти, но день приезда не указала, ибо тогда поезда обычно опаздывали. Их встречу я опишу со слов моего отца, из его письма ко мне. Вот несколько фраз:

«...Стало темнеть, я вошел наверх и первую увидел Настю, которая меня как кипятком обдала, сообщив, что Саша страшно болен, перенес два воспаления легких и так изнурен, что чувствует, что и выжить ему нелегко. Ты, как любящая мать, понимаешь мое состояние, я не мог выговорить слова и, увидев пришедшего Сашу, еле его узнал. Это был горбатый, длинный старик, с провалившимися щеками и головой, опущенной совсем на грудь, с походкой, указывающей на его полное бессилие.

Оправившись немного, я вышел из дома и пошел хлопотать о лошади, чтобы скорее до ночи перебраться



с ним ко мне. К счастью, это удалось. Я нанял простую длинную телегу, вещей у нас было не так много. Саша сидел на пледе и мало говорил, голосом совсем разбитым, дребезжащим и еле слышным.

Когда я его спросил, как он себя чувствует, и сказал что здесь все пройдет, он мне грустно ответил: «Нет, отец, дело неважное, ведь у меня туберкулез». А Настя мне сказала, что там, где он был, ей сказали: «Берите его скорее, здесь он погибнет». Так мы ехали, немного говорили, интересовавшие меня события путались, и я только вспоминал главное.

Вечер был, как всегда, хороший, теплый, сухой... Привезя их ко мне, я уложил скорее его спать, у него был хороший сон, утром он побрился, настроение было хорошее, после всего, что он перенес, он духовно успокоился, а после сильного недоедания стал порядочно кормиться. Сегодня пять дней, как он здесь. Он очень худ, его вчера взвесили – три пуда двадцать два фунта в платье.

Воздух в моей квартире удовлетворителен, с едой я стараюсь дать, что надо. Мне кажется, он сытно кушает, много лежит и, хотя силы его еще очень плохи, он немного выглядит лучше. Сегодня утром в шесть часов, сидя около него, когда он еще спал, я увидел в нем проблеск его лица – прежнего, и температура была лучше».

Затем наступило медленное выживание. Через несколько месяцев к Саше вернулся его прежний облик – ведь он был окружен вниманием и заботами двух любящих сердец. Прошли волнения, отчаяние и страдание, и, казалось, наступило наконец выздоровление, а с ним радость успокоения.

Но судьба решила по-своему. Возникли нестерпимые боли в спине – болезнь началась снова. С весны тридцать второго года я стала получать от отца тревожные письма о здоровье Саши. Я почувствовала необходимость ехать, чтобы увидеться с ним, окунуться в обстановку неповторимого духовного семейного единения. Я знала, что он тяжело болеет и мой приезд ожидает с нетерпением.

В сентябре я, наконец, поехала туда, в Минусинск, погода была теплой, я благополучно добралась до уголка, где теперь жили мои дорогие. Вошла во дворик их дома и сразу увидела быстро идущего навстречу мне отца. Он шел с распростертыми руками, с радостным лицом, в серой косоворотке – такой стройный, красивый, обрадованный моим приездом. Саша лежал в постели – похудевший, больной, но лицо его радостно сияло, в ответ на мою радость видеть его! Сестра Марина приехала тоже, немногим раньше меня, тут же была

наша неизменная Настя, и мы опять все вместе собрались после долгой тяжелой разлуки и опять почувствовали себя бесконечно близкими и дорогими друг другу. Как будто гибельно разбежавшийся рок приостановился, чтобы нам дать на мгновение радость встречи, но вскоре понесся дальше, все сметая на своем пути.

Дни проходили в скрытом от Саши беспокойстве о нем. Настроение у него было хорошим. Он шутил, много рассказывал о себе, но от лишних движений задыхался, особенно, когда поднимался ветер, частый в этом городе, и тогда у него возникал очередной сердечный приступ. Мы все замирали, только в комнате слышалось его тяжелое дыхание. Проходил приступ – и мы все оживали, наступала обычная жизнь.

Наконец была удовлетворена просьба о полном освобождении Саши – пришла бумага на его имя. Помню, как в комнату вошел отец, держа ее в руках, и радостно сообщил ему эту весть. Но он спокойно и тихо сказал: «Поздно, отец!»

Отец ему говорил, что теперь он должен ехать в Москву, там врачи и лечение, его поставят на ноги. Мы ожидали, что отец тоже получит разрешение об освобождении. Решено было, что приедет мой муж и мы с Настей и Сашей, вчетвером, поедem в Москву.

Начались несложные приготовления. У сестры кончился отпуск, и она уехала – было грустно. Приехал мой муж, включился в нашу печальную семью, мы с ним посмотрели город, маленький, довольно чистый, с хорошим краеведческим музеем. Домик, где жил отец, был небольшой, опрятный, с маленьким огородиком, который насадила наша Настя. Отец занимал верхний этаж, отдельно от хозяев, и с ними не соприкасался.

Наконец настал день отъезда, четырнадцатое октября. День был ясным и теплым. Отец заказал подводу до самого Абакана, чтобы Сашу спокойно, без пересадок довести до поезда.

Минуты прощания отца и Саши остались в моей памяти, как одно из самых тяжелых переживаний в моей жизни. Они прощались мужественно, без слез, а я знала, что сердца их разрывались от боли. Они стояли, безмолвно обнявшись, несколько мгновений. Это невозможно ни забыть, ни описать!

Мы выехали из города утром на подводе. Камень, поднятый мной на дороге, хранит память о том дне. Ехать всем вместе на такой упряжке было невозможно, и потому мы шли пешком, а затем по очереди отдыхали на повозке. Саша полулежал, ему было там удобно.



За городом тянулось огромное пространство, совершенно пустынное, покрытое какой-то редкой порослью, а дальше, почти у горизонта, высились покатые горы, похожие на высокие холмы. Сколько величия было в этой, будто бесконечной, панораме, где властно царили только небо и земля. Невольно вспомнились промелькнувшие здесь когда-то полчища знаменитого Чингисхана, и это видение совсем естественно сливалось с окружающей природой.

Дорога медленно вела нас до Енисея, где нам предстояло переправляться на пароме. Могучая река текла в высоких берегах, и паром наш пристал к круто спускавшейся горе.

Благополучно добрались мы до вокзала Абакана, и там удалось взять билеты на удобные места: у Саши с Настей было двухместное купе, а я с мужем в том же вагоне. Саша был очень худ и слаб, ходил только с кем-нибудь под руку, красивое лицо его, которое из-за нечастого бритья казалось еще более мужественным, чем прежде, все светилось. Этот его обаятельный образ всегда жив в моей памяти...

В Москве нас встретили родные, близкие, все старались внушить Саше надежду, отвлечь от грустных мыслей. Узнав о нашей беде, пришли друзья моего отца – профессор Петр Федорович Суворов, профессор Оскар Генрихович Шиман; пригласили на консилиум и профессора Максима Петровича Кончаловского. Думаю, что консилиум был уже не нужен; было лишь чувство уважения и сочувствия к нашему отцу.

Перед уходом Кончаловского я спросила его о состоянии здоровья Саши. Он поинтересовался, кем я ему прихожусь, и после моего ответа помолчал и, покачивая головой, сказал: «Что они с ним сделали! Ведь Пушкин-то был один!» После, в течение нескольких лет, я иногда получала от Кончаловского случайные приветия. Видимо, он запомнил эту драму...

Муж мой уехал на работу в Свердловск, где мы тогда жили, а я много времени проводила с братом. Каждый день после службы приходила сестра Марина.

На девятые сутки Саша тихо скончался. Это случилось двадцать восьмого октября того же тридцать второго года. В эту ночь мы непредвиденно остались с Мариной у него ночевать. Настя с ним не разлучалась совсем, лишившись своей жилплощади, Саша находился в ее комнате, а моя в Москве сдавалась, пока мы жили в Свердловске (Екатеринбурге).

Решено было похоронить брата на кладбище Новодевичьего монастыря, где ранее хоронили наших родных, но для этого требовалось разрешение, ибо это кладбище считалось уже правительственным. Разрешение дал бывший тогда комендантом Кремля Петер. Но так как из-за высылки Саша еще не имел вида на жительство в Москве, было оговорено: хоронить на исходе дня, когда стемнеет, после восьми часов вечера.

Отпевали в церкви св. Власия во Власьевском переулке, и после этого пришлось ждать темноты, чтобы ехать на кладбище.

Мы жили недалеко от церкви и пошли домой передохнуть. Но не ушла, не могла оставить любимого своего мальчика няня моя Анастасия Васильевна, наша любящая и любимая Настя. Она осталась с ним в церкви одна, запертая там в одиночестве. Никакие уговоры ее не увели. Я незримо вижу ее, еще довольно молодую – ей было сорок шесть лет, согбенную фигуру около покрытого черным покрывалом белого гроба. И с грустью вспоминаю их обоих – вечный покой вам и память, – говорю про себя!

Наконец настало время, мы подъехали к монастырскому кладбищу; нам открыли кладбищенские ворота с улицы, и машина подъехала к самой дорожке. Освещения не было – кругом тьма. И тут зажглись два ярких факела – они были сделаны руками друзей. Факелы пылали таинственно, загадочно разливая вокруг свой свет.

Мне на всю жизнь запомнилась эта, непередаваемая словами картина: два пылающих факела, которые освещают в окружающей тьме небольшую яму с насыпанной вокруг земель, и на краю ее – белый, закрытый, готовый опуститься в эту землю гроб – Сашин гроб, фантастично освещенный.

Мир тебе и покой, мой любимый брат!

Через две недели после отъезда Саши из Минусинска наш отец Сергей Петрович получил освобождение и вскоре вернулся оттуда в Москву. Здесь он прожил до тридцать седьмого года, когда в августе был вновь арестован и затем исчез без следа – в лагере, «без права переписки и свидания».

Так трагически оборвалась ветвь Мезенцовых-Пушкиных по мужской линии.

Мастерство Хемингуэя как новеллиста

Варлам ШАЛАМОВ

Неизвестные страницы

Варлама Шаламова

или История одного «поступления»

Передавая в очередной раз бумаги из своего домашнего собрания в архив, я наткнулась на папку с надписью «Литературный институт», где почему-то до сих пор хранятся мои курсовые работы (в том числе сочинение о романе «Братья Ершовы» В. Кочетова – для семинара, который вел тогда некто Ю. Пухов), дипломный проект с переводами с таджикского и прочая забавная чепуха. Среди этого мусора, вдруг – несколько страниц интереснейшей, на мой взгляд, прозы, явно не принадлежащей моему девичьему перу. И вспомнилась курьезная (но и не очень почтенная, хотя по прошествии полвека, никто не бросит в меня камень) история моего поступления в Литературный институт имени Горького.

После окончания школы в пятьдесят шестом году, полная нелепых амбиций, я решила поступать в институт кинематографии на сценарное отделение. Разумеется, совершенно справедливо, на экзаменах «по творчеству» я провалилась.

Впрочем, не могу и особенно упрекать себя: для этого экзаменаторы выбрали кусок из «Русского леса» Леонида Леонова, для рецензии фильм Пудовкина «Возвращение Василия Бортникова» по роману Галины Николаевой, при собеседовании мне предложили «сценарно расписать» картину Иогансона «Допрос коммуниста»... Кто бы тут справился!

Увидев свою фамилию в списке отчисленных, я пришла в настоящее отчаянье, плакала, не хотела возвращаться домой, ночевала у подруги, так было стыдно... Дело в том, что институт, высшее образование после школы в те годы были какой-то священной коровой, нельзя было себе представить, что девочка-медалистка провалилась, она становилась парией.

Мама, со всем своим темпераментом, решила прийти мне на помощь, участвовали и ее подруги, все сплошь «литературные дамы». «Надо немедленно отнести бумаги в Литинститут!» Там нет экзамена «по творчеству», есть только предварительный творче-

ский конкурс, надо спешно сдать на этот конкурс свои работы.

И вот, в конце июля, собрав свои немудрящие переводы из Шелли и Байрона, какие-то «метафизические сказки», которыми грешила, я отправилась на Тверской бульвар, 25. Официально прием работ был уже закончен, но я все же постучалась в дверь с дощечкой «Приемная комиссия», и – о счастье! – увидела двух очень симпатичных молодых людей, просто утопающих в кипе доморощенных шедевров. Конкурс был огромный, чуть ли не пятьсот человек на место, и они, конечно, не справлялись с рецензированием. Это были Лева Левицкий и Николай Борисович Томашевский.

Увидев на пороге юное создание в белом, оставшемся после выпускного бала платье (еще какие-то бумажные цветы были приколоты!), с распущенными волосами – мы все тогда подражали «Колдунье», они заметно приуныли.

– Прием стихов окончен! – сурово сказал мне Лева. – И две рекомендации нужны. От членов Союза писателей.

Рекомендации у меня были – от О. С. Неклюдовой, маминой подруги, и В. А. Бугаевского, переводчика, большого любителя и знатока поэзии. Они посмотрели на эти рекомендации довольно кисло.

– Но я еще одну могу принести. От Бориса Леонидовича Пастернака... – Я решила бороться до конца.

Это имя произвело магическое действие. Они забросали меня вопросами, и я довольно долго рассказывала о непростой жизни нашей семьи, о том, что пишет сейчас Борис Леонидович, обещала принести почитать только что законченный им очерк «Люди и положения». А поскольку рассказывала я всегда лучше, чем писала, они заслушались, смотрели на меня уже по-другому. «Со стихами у вас ничего не выйдет. У нас одни поэты... Напишите что-нибудь серьезное, критический разбор какой-нибудь. Попробуем рекомендовать вас на семинар критики.

Только быстро... к понедельнику».

Я вернулась на дачу в Измалково, где мама снимала маленькую комнату с терраской, где собирались по вечерам ее подруги, куда приходил Борис Леонидович



Пастернак, куда в эту весну стали наведываться и возвращавшиеся из лагерей друзья. Среди них был и Варлам Тихонович Шаламов, он жил тогда на станции Туркмен под Москвой, работал «агентом по снабжению», там он писал свои замечательные «Колымские рассказы», которые, еще в сыром, рукописном виде, привозил по воскресеньям в Измалково и читал нам, собиравшимся на той же терраске. Он делал тогда только первые шаги на «планете людей» после двадцати лет Колымы.

Захлебываясь, я рассказала маме о своем почти успехе. Но «критический разбор»?.. «Я напишу, — сказал Варлам Тихонович. — А вы перепечатайте, и пусть она в понедельник отнесет. Пусть добавит что-нибудь из Маркса — для проходимости...»

И он написал для меня эссе о Хемингуэе как мастере новеллы. Быть может, он и приспособлялся к менталитету вчерашней ученицы, «писал по-школьному», как можно популярней, упрощал свои мысли, но тем не менее даже здесь сохранился набросок того, чего он касался и в своих письмах, и в статьях, о чем постоянно думал как писатель — в чем искусство новеллы, секрет ее построения. Ведь это была его тема — тайна рассказа, его нарративного механизма.

Теперь, когда опубликована не только вся его замечательная проза, но и статьи, письма, записные книжки, видно, насколько он был одержим этой идеей — подобрать отмычки, развинтить конструкцию, докопаться до приемов, благодаря которым короткий текст «работает».

Не стоит перечислять набор этих «отмычек» — они достаточно ясно описаны на страницах нижеследующего текста. И он овладел этим механизмом. Его «Колымские рассказы» потрясают не только страшным содержанием, но и мастерством, тем, как это сделано.

Чтобы лучше понять, в чем мастерство Хемингуэя как новеллиста, можно сравнить его рассказы с рассказами классических новеллистов мировой литературы, а также проследить, как на протяжении творческого пути самого Хемингуэя менялся его собственный рассказ.

Литературоведение не имеет до сих пор разработанной теории рассказа. Мы знаем, как зародился рассказ — из фábльи, из анекдота, то есть для рассказа был необходим случай. Мы знаем, как из панизывания случаев складывался роман — испанские плутовские романы. Как позднее, у Чехова, например, рассказ принимал порой ярко лирический субъективный оттенок, мог быть сюжетно незакончен. Таким образом, мы представляем себе эволюцию рассказа, но что же такое рассказ — на это нет определенного ответа.

Всем, кто ценит прозу Шаламова, на мой взгляд, одного из самых блестящих продолжателей русской (да и не только русской!) новеллы, будет интересно узнать, как рано — и четко! — оформил он уже свою теорию.

Почему выбран именно Эрнест Хемингуэй? Дело в том, что американский писатель занимал воображение Шаламова еще с двадцатых годов, по письмам видно, как он следил за развитием Хемингуэя, за эволюцией его формы. Это был собрат по оружию. На двадцать лет вырванный из литературной жизни, Варлам Тихонович, освободившись, «попал» как раз и на «реабилитацию» Хемингуэя: после долгого замалчивания в «Иностранной литературе» была опубликована его повесть «Старик и море». О ней только и говорили. В пятьдесят шестом году выбор этого автора был естественен для поступающего абитуриента (а им была я), и следуя той же дорогой, я свою первую курсовую, уже в семинаре Андрея Туркова, написала о «Старике и море». Уже сама. К счастью, она не сохранилась в папке.

Итак, в воскресенье знакомая машинистка быстро перепечатала текст, и в понедельник я отдала его Николаю Борисовичу Томашевскому. Он написал сверхположительный отзыв. И я была принята в Литературный институт.

Что же касается цитаты из Маркса... Для нее оставлено место, и в первый экземпляр я ее вписала. А во второй — поленилась, и теперь уже трудно восстановить, какую именно мысль Маркса имел в виду Варлам Тихонович.

Ирина ЕМЕЛЬЯНОВА,
Франция.
Париж

Известно, что Хемингуэй как новеллист учился у Стендаля и Чехова. Мы называем рассказы Стендаля новеллами, подчеркивая сюжетную законченность их. В рассказах Стендаля налицо все драматические элементы действия — завязка, кульминация, развязка. Дается и предыстория, биография героев. Они строго социально определены. Рассказы Стендаля поэтому, например, легко драматизировать. «Ванина Ванини» идет у нас в Малом театре. О героях стендалевских новелл мы знаем все. Мы знаем, где они родились, как протекала их жизнь до рокового события, составляющего сюжет рассказа, знаем, как они кончили или кончат свою жизнь. То есть, если перефразировать слова И. Кашкина о Хемингуэе: «Мы знаем откуда они пришли, и куда они уходят».



Форма рассказов Чехова – самая разнообразная. От объективного, бытового, анекдотического сюжета до исповеди, до субъективного импрессионистического изображения. Есть у Чехова рассказы по сюжетной законченности близкие Стендалю. Своего рода маленькие романы. Например, «Невеста». Но это реалистический роман XIX века, толстовский роман. Как и у Толстого, герой Чехова интересен как представитель определенной возрастной его среды, герой Чехова социален, индивидуален в классическом смысле слова.

Поэтому творческий метод Чехова – не только изображение; но и описание. Либо это предыстория героя, но чаще всего это описание характеризующих героя деталей – типической внешности, образа жизни, профессии, описание жизненного уклада. В «Ионыче», например, это описание четвергов у Туркиных – со всей пошлостью самодовольного мещанства.

В отличие от Стендаля основой рассказа для Чехова все чаще служит э п и з о д. Когда социальная принадлежность героя дается одной какой-нибудь блестящей деталью, когда из его жизни как бы выхватывается лучом прожектора один какой-то миг. Рассказ «Устрицы», например. Если сравнить этот рассказ с «Попрыгуньей», «Душечкой», «Невестой», «Скучной историей» и многими другими, то можно сказать, что Чехов – переходная ступень от классической формы рассказа XIX века к XX. Кроме эпизода, требующего все-таки какого-то драматического действия, у Чехова есть просто сценки – «Детвора», например, когда ничего, собственно, не происходит. Можно сравнить «Детвору» с «Трехдневной непогодой» Хемингуэя.

Но и в сценках, и в эпизодах мы всегда представляем себе о т к у д а пришли в рассказ герои Чехова.

Всегда герой Чехова – представитель определенной русской среды XIX века.

Герои Хемингуэя, как справедливо замечает И. Кашкин, приходят ниоткуда и уходят в никуда.

Творческая биография Хемингуэя тоже имеет нечто общее с биографией Стендаля и Чехова. Как и последние, Хемингуэй начал сначала учиться жить, а потом – писать. Известно, как много дал Хемингуэю опыт газетной работы. Как и Чехова, его характеризует интерес к маленьким фактам жизни, в которых, как в капельке воды, отражается трагедия века.

У Хемингуэя есть всякие рассказы. Мы находим среди них и сюжетно законченные, стендалевские по целостности, маленькие романы – когда на нескольких страничках проходит перед нами целая человеческая жизнь – «Мистер и миссис Элиот», «Очень короткий рассказ» и многие другие, в которых наряду с изображе-

нием писатель пользуется и описанием. Но более существенно проследить т е н д е н ц и ю его творчества. Пусть рассказы Хемингуэя различны. Но в целом, его путь как новеллиста, отличает определенная последовательность, определенная тенденция.

Возьмем ранние рассказы Хемингуэя. Например, «У нас в Мичигане».

Рассказ начинается словами: «Джим Гилмор приехал в Хортенс-Бей из Канады». «Он купил кузницу у старика Хортена... Лиз Коутс жила у Смитов в прислугах ... Поселок Хортенс-Бей на большой дороге между Бейн-Сити и Шарльвуа состоял всего из пяти домов».

Каким лаконичным и стилизованным не кажется нам это вступление, все равно можно сказать, что тут дается и известная предыстория и биография героев, дается (описывается) социальный фон для происходящего. Есть тут и описание жизни, не только изображение ее – «По вечерам он (Джим) читал в гостиной «Толедский клинок» и газету из Грэнд-Рэпидс или он и Д. Дж. Смит ездили ночью на озеро ловить рыбу».

По времени этот рассказ охватывает несколько недель. И хотя главным эмоциональным моментом рассказа является э п и з о д – возвращение Джима с охоты и прогулка их с Лиз – нельзя сказать, что основой рассказа послужил эпизод. Мы можем считать этот рассказ по форме классическим – это маленький роман, новелла. У героев имена, фамилии, биографии. Мы имеем представление об образе их жизни вообще. Нельзя сказать, что Лиз и Джим пришли в рассказ «ниоткуда».

Возьмем сборник рассказов Хемингуэя «В наше время». Это уже следующий этап развития хемингуэевского рассказа. Вот рассказ «Что-то кончилось». Герои его имеют имена, но уже не имеют фамилий. У них уже нет биографии. Мы знаем Ника – героя – по другим рассказам, но читая этот, даже, не вспоминаем о его биографии, потому что она в данном случае несущественна.

Из общего темного фона «нашего времени» выхвачен эпизод. Здесь почти только изображение. Пейзаж в начале нужен не как конкретный фон, но как исключительно эмоциональное сопровождение, мотив к «вечной» теме – разрыву.

Переживания Ника и Марджори не описываются. Подробно, со щемящей тщательностью Хемингуэй изображает их действия, даже не действия, а просто движения. «...Марджори отъехала от берега, зажав леску в зубах и глядя на Ника, а он стоял на берегу и держал удочки, пока не разматалась вся катушка...»

Действия, то есть движения героев изображены с таким напряжением и подтекстом, что, казалось бы, не от-



носящийся к делу вопрос Марджори: «Что с тобой?» – звучит как давно уже наболевший, он как бы, наконец, прорывается.

В этом рассказе Хемингуэй пользуется своим излюбленным методом – изображением. «Если вместо того, чтобы описывать, – говорил он, – ты изобразишь виденное, ты можешь сделать это объемно и целостно, добротно и живо. Плохо ли, хорошо, но тогда ты создаешь. Это тобой не описано, но изображено».

Марджори и Ник пришли в рассказ ниоткуда и ушли в никуда. Из следующего рассказа – «Трехдневная непогода» мы узнаем, что Марджори из «простой семьи», но это попутно, и мы понимаем, что для взаимоотношений Ника и Марджори это не играло никакой роли. Освобождение от частных, конкретных мотивов конфликта ведет Хемингуэя к обобщению, к символу. Если в «У нас в Мичигане» неблагополучность человеческих взаимоотношений можно в какой-то степени объяснить себе «низким уровнем» жизни героев, то в «Что-то кончилось» все частные причины убраны, мы ясно чувствуем, что неблагополучность – в самом времени, в самой сути западного мира. Характер этого неблагополучия – всеобщ.

Возьмем рассказ еще одного периода Хемингуэя – «Там, где чисто, светло».

У героев уже даже нет имен. Действующие лица рассказа – Старик, Бармен, Посетитель. Берется даже уже не эпизод. Действия нет совсем. В «У нас в Мичигане» – целая история: сначала описание жизни, городка, уклад дома Смитов. Потом мужчины едут на охоту, проходит, может быть, целая неделя. В «Что-то кончилось» действие разворачивается в течение одного вечера – до восхода луны – Марджори и Ник ставят удочки, потом – объяснение, Марджори уходит.

В «Там, где чисто, светло» действия нет совсем. Это уже не эпизод. Это кадр. Старик пьет виски. И перед ним растет стопка блюдец. Разговор, который ведут о старике посетители, как бы специально подчеркивает эту самую всеобщность человеческого страдания в XX веке. Старик – богат, его отчаянье не от бедности. Можно сравнить старика Смита в начале «Униженных и оскорбленных» Достоевского. Оно, таким образом, не от социального неустройства. Оно не от возраста – Ник и Марджори молоды и имеют друзей. Оно не от уровня культуры и степени сознания – среди героев Хемингуэя люмпены и процветающие писатели, владельцы яхт и безработные.

«Там, где чисто, светло» – один из наиболее ярких и замечательных рассказов Хемингуэя. Там все доведено до символа. Недаром в этом рассказе молитва – сим-

вол веры, единства человека с богом превращен в символ одиночества, заброшенности и опустошенности. «Отче Ничто, да святится Ничто твое, да придет Ничто твое».

Путь от ранних рассказов до «Чисто, светло» – это путь освобождения от бытовых, несколько натуралистических деталей («У нас в Мичигане»), путь освобождения от характерного, индивидуального в классическом смысле слова. Это путь от бытописания к мифу. Он ведет к «Старику и морю», где решаются основные, библейские вопросы – Старик и Море – Человек и Жизнь.

Если герой Чехова интересен как представитель определенного круга русского общества XIX века, герой Стендаля – как образец героизма и романтизма в затхлый буржуазный век, как реликт революционной эпохи – герой Хемингуэя – представитель всего западного современного мира. Говоря о всеобщности чувства опустошенности в период кризиса капитализма, Маркс пишет: (.....)*.

Стиль рассказов Хемингуэя мало отличен от стиля романов. Конечно, есть особые приемы, применяемые им только в рассказах.

Сначала можно поговорить о языке. Известны стилистические принципы Хемингуэя, оказавшие столь сильное влияние на прозу XX века. Это принципы подтекста, лаконизма. «Если писатель хорошо знает то, о чем пишет, он может опустить многое из того, что знает, и если он пишет правдиво, читатель почувствует все опущенное так же сильно, как если бы писатель сказал об этом. Величавость движения айсберга в том, что он только на одну восьмую возвышается над поверхностью воды». Языковые приемы – тропы, метафоры, сравнения, пейзаж как функцию стиля Хемингуэй сводит к минимуму.

Как пишет Кашкин, Хемингуэй считает, что образ должен складываться из простых и прямых восприятий. Эти восприятия отобраны так тщательно, используются так экономно и точно, что нас не покидает чувство восхищения перед мастерством писателя.

Как стилист, Хемингуэй многим обязан Чехову. И не только Чехову-новеллисту, но и Чехову-драматургу. Нас поражает в пьесах Чехова удивительно современная черта – черта современного искусства – несовпадение мыслей и слов героев. От этого богатство и драматизм подтекста. Конечно, Чехов блестяще использует характерные, индивидуализирующие детали. Когда мы говорим о Чехове: «Блестящий стилист» – мы имеем в виду, прежде всего, то же, что и у Хемингуэя – поразительно выдержанный принцип отбора. Точность, экономность, яркость.

* См. стр. 145. И. Емельянова. – Ред.



Но одновременно с использованием деталей Чехов использует и подтекст, и в этом он выступает, как родоначальник современной прозы.

Вернемся к пьесам Чехова. Когда в «Дяде Ване», например, в обстановке всеобщего неблагополучия, когда запутанные отношения действующих лиц, трагическая напряженность достигает предела, Астров, страдающий человек, которому есть о чем поговорить, произносит ничего не значащие фразы: «А какая в Африке теперь жара» и тому прочее. Или Гаев в «Вишневом саду» со своей болтовней о шкафе.

В «Скудной истории» в ответ на трагические вопросы героини, что же ей делать, жизнь так ужасна и пошла, профессор говорит свою знаменитую фразу: «Давай-ка, Катя, завтракать».

Правда, в «Скудной истории» Чехов выводит все-таки подтекст наружу: «Значит, и на похоронах у меня не будешь?» – хотел спросить я».

В пьесах же, благодаря особенностям драматургии, писатель лишен возможности одновременно изобразить слово и мысль. Чехов, как писатель XX века, остро чувствует трагическую невозможность их совпадения. Чехов предчувствует наступление литературы, когда лучшим средством выражения будет умолчание или отшучивание, или прятание за незначительными репликами.

Разговоры Марджери и Ника о том, как ставить удочки, разговоры Ника и Билла о бейсболе и Честертоне, гениальный диалог в «Белых слонах», да диалоги любого рассказа Хемингуэя – это та самая восьмая часть айсберга, которая видна на поверхности.

Конечно, это умолчание о самом главном требует от читателя особой культуры, внимательного чтения, внутреннего созвучия с чувствами хемингуэевских героев. Авторское отношение самого Хемингуэя, однако, всегда можно почувствовать в его рассказах.

Он далек от релятивизма многих современных западных писателей, в этом он настоящий наследник классической литературы.

Мы знаем, каких людей он любит, каков его человеческий идеал, какова по Хемингуэю порма человеческого поведения. Он никогда не стоял «над схваткой». Вся его жизнь – это образец участия, участия, а не созерцания.

Авторское отношение к происходящему Хемингуэй выражает в рассказах различными стилистическими средствами. Прежде всего, тем, какие именно прямые впечатления отбирает он, отбором фактов. Например, в рассказе «Мистер и миссис Эллиот», свою неприязнь к мешанский псевдочистоте героев, к их ничтожеству, он подчеркивает несколько раз повторяю-

щейся деталью: «Хьюберт писал очень много стихов, а Корнелия печатала их на машинке. Все стихи были очень длинные. Он очень строго относился к опечаткам и заставлял ее переписывать заново целую страницу, если на ней была хоть одна опечатка». «Хьюберт писал очень длинные стихотворения и очень-очень быстро». По этой детали мы видим, что Хемингуэй относится к Эллиоту с презрением, презирает он и их «творческое содружество» с женой, когда естественные взаимоотношения между мужчиной и женщиной подменяются слюнявым культом «чистоты». Нелюбовь к настоящей жизни, ханжеская брезгливость и пошлая сентиментальность Эллиота как мужчины не могут позволить ему быть поэтом. «Хьюберт писал очень длинные стихи и очень быстро».

Сравнения или метафоры, которыми Хемингуэй пользуется очень редко, не всегда несут в себе эмоциональную оценочную нагрузку. Есть и такие, конечно. Например, известное сравнение войны с чикагскими боями, умирающего писателя Генри со змеей, у которой перебили хребет и так далее.

Но едва ли мы чувствуем авторское отношение в сравнении Брет с гоночной яхтой. И таких, нейтральных сравнений, как и прочих стилистических средств – большинство.

Пейзаж у Хемингуэя так же сравнительно нейтрален. Обычно пейзаж Хемингуэй дает в начале рассказа. Принцип драматического построения – как в пьесе – перед началом действия автор указывает в ремарках фон, декорацию. Если пейзаж повторяется еще раз в течение рассказа, то, по большей части, тот же самый, что и в начале.

Вот, например, знаменитые «Белые слоны». Рассказ начинается пейзажем. «Холмы по ту сторону долины Эбро были длинные и белые, по эту сторону ни деревьев, ни тени, и станция между двумя путями вся на солнце».

Краткостью и подчеркнутой бедностью пейзажа Хемингуэй как бы сосредотачивает все внимание читателя на предстоящем диалоге, он убирает все лишнее, что могло бы отвлечь внимание. От этого усиливается напряженность действия, повышается ценность каждого последующего слова.

Или, например, начало рассказа «Канарейку в подарок»: «Поезд промчался мимо длинного кирпичного дома с садом и четырьмя толстыми пальмами, в тени которых стояли столики. По другую сторону полотна было море. Потом пошли откосы песчаника и глины, и море мелькало лишь изредка далеко внизу под скалами».

Этот пейзаж, хотя и длиннее, но выполняет ту же функцию, что и в «Белых слонах» – декорации для действия.



Возьмем пейзаж Чехова. Например, из «Палаты № 6». Рассказ также начинается пейзажем. Но этот пейзаж уже эмоционально окрашен. Он более тенденциозен, чем у Хемингуэя. «В больничном дворе стоит небольшой флигель, окруженный целым лесом репейника, крапивы и дикой конопли. (Сразу возникает впечатление запущенности, затхлости жизни, текущей в городке). ...Передним фасадом обращен он к больнице, задним – глядит в поле, от которого отделяет его серый больничный забор с гвоздями. Эти гвозди, обращенные остриями вверх, и забор, и самый флигель имеют тот особый унылый вид, какой бывает только у больничных и тюремных построек».

Эпитет «унылый» уже прямо говорит о необходимом впечатлении. Читатель Чехова не привык еще к нейтральному фону. Воспитанный в традициях классического реализма, когда пейзаж является участником, действия, он нуждается еще в руководстве автора.

Далее в «Палате № 6» пейзаж сопровождает действие, меняясь и становясь драматичнее по мере драматизации действия. Конечно, его участие уже не так явно и синхронно, как в классической литературе – например, у Островского, где драма Катерины сопровождается грозой в природе, или у Гончарова, где сонный застой жизни Обломовки подчеркивается мертвенным летним зноем и так далее.

Но Чехов ближе к ним, нежели к Хемингуэю.

Начало «душевного обновления» доктора Андрея Ефимовича, когда он выходит из привычного темпа жизни, с регулярным пивом и пошлыми разговорами коллег, когда происходит в нем душевная встряска от встречи с Иваном Дмитриевичем, совпадает с ранней весной.

«В один из весенних вечеров, в конце марта, когда уже на земле не было снега и в больничном саду пели скворцы, доктор вышел проводить до ворот своего приятеля почтмейстера».

А когда Андрея Ефимовича обманом приводят в сумасшедший дом и оставляют там, когда он чувствует, что все, выхода нет, конец, его ужас подчеркивается видом из больничного окна:

«...Уже становилось темно, и на горизонте с правой стороны восходила холодная, багровая луна. Недалеко от больничного забора, в ста саженях, не больше, стоял высокий белый дом, обнесенный каменной стеной. Это была тюрьма... Были страшны и луна, и тюрьма, и гвозди на заборе, и далекий пламень в костопальном заводе...»

И, наконец, перед смертью Андрея Ефимовича:

«Жидкий лунный свет шел сквозь решетки, и на полу лежала тень, похожая на сеть».

Хемингуэй никогда не употребляет таких эпитетов – «унылый», «страшный». Верный своему прин-

ципу изображения, он путем отбора прямых впечатлений вызывает у читателя определенное чувство. Оно не так строго ограничено, как чувства, вызываемые описаниями Чехова, но, с другой стороны – оно не может быть любым. Хемингуэй, в отличие от некоторых современных писателей запада, не релятивист, он не считает, что все относительно, что одно и то же явление может быть воспринято с миллиона точек зрения, где каждая права.

У Хемингуэя есть собственные, изобретенные им самим, стилистические приемы. Например, в сборнике рассказов «В наше время» это своего рода реминисценции, предпосланные к рассказу. Это и знаменитые ключевые фразы, в которых сосредотачивается эмоциональный пафос рассказа. «Уеду я из этого города». «Ничто уже не будет нашим». «Если нельзя, чтоб было весело, то хоть кошку-то можно?» «Да святится Ничто твоё». И множество других.

Трудно сразу сказать, какова задача реминисценций. Это зависит и от рассказа, и от содержания самих реминисценций.

В рассказе «На Биг-ривер» – это противопоставление ужасам войны неповторимости и прелести спокойной жизни на природе, с ее красотой и умиротворением.

Или – противопоставление реальным ужасам войны мелочных забот обычной жизни – «Доктор и его жена».

Отношение к Богу: Бог как необходимость, физическая потребность в минуты опасности, и ханжеское отношение к нему в обычной мешанской жизни – «Дома».

Может быть, эти впечатления не точны. Но с уверенностью можно сказать, что реминисценции Хемингуэя нужны в этом сборнике. Ибо они – тот исторический фон, война, те реальные ужасы жизни, которые породили трагическое неблагополучие личной жизни маленького человека.

Весь мир пережил войну, две войны, для каждого современного человека, как и для героев Хемингуэя, переставали вдруг существовать обычные нормы морали, ему приходилось решать для себя вопрос, как жить, словно не существовало выработанных человечеством устоев.

Трагическое неблагополучие хемингуэевских героев – исторично, их поиски путей – имеют интерес для всякого современного человека.

Творчестве Хемингуэя – его темы, герои, его мастерство как стилиста – одна из важнейших страниц литературы XX века.

«Благодарен ветру и звезде...»

Юрий ЛЕВИТАНСКИЙ

<...> То, что произошло в нашей стране за последние годы, не имеет ни аналога, ни прецедента в истории нашего Отечества. Думаю, за его тысячелетнюю историю произошёл такой крутой перелом. Или начало чего-то или предверие того, что произойдет.

Но в принципе та эпоха завершилась, завершилась бесповоротно. Я предполагал, что это когда-нибудь случится, но даже не подозревал, что это случится на моем веку. И как ни трудно стало жить и мне, и стране в целом – я счастлив, что дожил до этого дня, потому что понимаю: в перспективе, хотя и весьма отдаленной, в стране должны наступить, если не благостные, то нормальные времена и эпоха.

К сожалению, мало кто понимает, что это надолго, что в ближайшее время ничего хорошего быть не может. Есть законы Природы, законы биологические – нельзя ведь из пятнадцатилетнего человека сделать тридцатилетнего. Существуют свои внутренние

законы для этой страны, нации, народа. Ничего нельзя, скажем так, перескочить, минуя что-то перейти куда-то, как внушали нам классики марксизма. Невозможно. Можно только ускорить процесс или замедлить, не более того.

Сам отрезок нашего существования на этом свете относительно краток, но для истории это не принципиально. История мерит совершенно иными масштабами и временными отрезками...

И для литературы в нашем государстве тоже впервые наступает время – оно еще не настало, оно еще предстоит, ибо тот переходный период от одной эпохи, которая уже за плечами, и той, что должна настать, – он не завтра. Должны пройти десятки лет, чтобы эта страна стала, действительно, страной цивилизованной, а общество – гражданским. Многие поколения должны смениться. <...>

Юрий ЛЕВИТАНСКИЙ*

* * *

Падают листья осеннего сада,
в землю ложится зерно.
Что преходяще, а что остаётся –
знать никому не дано.

Белый мазок на холсте безымянном,
вязи старинной строка.
Что остаётся, а что преходяще –
тайна сия велика.

Пламя погаснет, и высохнет русло,
наземь падут деревья.
Эта простая и мудрая тайна
вечно пребудет жива.

Так отчего ж так победно и громко
где-то над талой водой –
всё остается! всё остается! –
голос поёт молодой?

И отчего так легко и звеняще
в гуще сплетённых ветвей –
не преходяще! не преходяще! –
юный твердит соловей?

* «...Где-нибудь в Прошлом или Грядущем.» Ж. Грани № 235. 2010 г. С. 8. – Ред.



НОВЫЙ ГОД У ДУНАЯ

Камень старинный, башни, мосты, ограды.
Гостеприимны древние эти грады.

Благословенны тихие эти веси.
Колокола воскресные в поднебесье.

Под куполами, золотом, синевою
я с непокрытой шествую головою.

Колокол, солнце, ёлка стоит, сверкая.
День новогодний – Боже, теплынь какая!

День новогодний, тёплый, весенний, синий.
А в эту пору снег идёт над Россией.

Ветер гудит по нашим великим рекам.
Снег над Россией. Что там, за этим снегом?

Что там за снегом – что он, кого он прячет?
Кто там за ним вздыхает, смеётся, плачет?

Кто там сейчас в лесу над костром колдует,
дует в огонь, в озябшие руки дует?

Господи, дай им солнца, тепла, капли!
Дай, чтоб скорее птицы в лесу запели!

Синью наполни очи лесных проталин!
К старости, что ли – стал я сентиментален.

Даже не думал, что напишу такое...
Хрустнула ветка где-то в лесном покое.

Скрипнули сани и затерялись в поле.
И никуда не деться от этой боли.

Ветер гудит по северным нашим рекам.
Снег над Россией. Что там, за этим снегом?

ПОСЛАНИЕ ЮНЫМ ДРУЗЬЯМ

Я, побывавший там, где вы не бывали,
я, повидавший то, чего вы не видели,
я, уже там стоявший одной ногою,
я говорю вам – жизнь всё равно прекрасна.

Да, говорю я, жизнь всё равно прекрасна,
даже когда трудна и когда опасна,
даже когда несносна, почти ужасна –
жизнь, говорю я, жизнь всё равно прекрасна.

Вот оглянусь назад – далека дорога.
Вот погляжу вперёд – впереди немного.
Что же там позади? Города и страны.
Женщины были – Жанны, Марии, Анны.
Дружба была и верность. Вражда и злоба.
Комья земли стучали о крышку гроба.
Старец Харон над тёмною той рекою
ласково так помахивал мне рукою –
дескать, иди сюда, и ничего не бойся,
вот, дескать, лодочка, сядем, мол, да поедем...

Как я цеплялся жадно за каждый кустик!
Как я ногтями в землю впивался в эту!
Нет, повторял я в беспамятстве, не поеду!
Здесь, говорил я, здесь хочу оставаться!

Ниточка жизни. Шарик, непрочно свитый.
Зыбкий туман надежды. Дымок соблазна.
Штопанный, перештопанный, мятый, битый,
жизнь, говорю я, жизнь всё равно прекрасна.

Да, говорю, прекрасна и бесподобна,
как там ни своевольна и ни строптива –
ибо, к тому же, знаю весьма подробно,
что собой представляет альтернатива...

Робкая речь ручья. Перезвон капли.
Мартовской брагой дышат речные броды.
Лопнула почка. Птицы в лесу запели.
Вечный и мудрый круговорот природы.

Небо багрово-красно перед восходом.
Лес опустел. Морозно вокруг и ясно.
Здравствуй, мой друг воробушек,
с Новым годом!
Холодно, братец, а всё равно – прекрасно!



ГОДЫ

Годы двадцатые и тридцатые,
словно кольца пружины сжатые,
словно годовичные кольца,
тихо теперь покоятся
где-то во мне,
в глубине.

Строгие годы сороковые,
годы,
воистину
роковые,
сороковые,
мною не забытые,
словно гвозди, в меня забытые,
тихо сегодня живут во мне,
в глубине.

Пятидесятые,
шестидесятые,
словно высоты, недавно взятые,
ещё остывшие не вполне,
тихо сегодня живут во мне,
в глубине.
Семидесятые годы идущие,
годы прошедшие,
годы грядущие
больше покуда ещё вовне,
но есть уже и во мне.
Дальше – словно в тумане судно,
восьмидесятые –
даль в снегу,
и девяностые –
хоть и смутно,
а всё же представить ещё могу.
Но годы двухтысячные
и дале –
не различимые мною дали –
произношу,
как названия планет,
где никого пока ещё нет
и где со временем кто-то будет.
Их мой век уже не захватывает –
произношу их, едва дыша –
год две тысячи...
сердце падает
и замирает моя душа.

ЭЛЕГИЯ

Тихо. Сумерки. Бабье лето.
Четкий,
частый,
щемящий звук –
будто дерево рубят где-то.
Я засыпаю под этот звук.

Сон происходит в минувшем веке.
Звук этот слышится век назад.
Ходят весёлые дровосеки,
рубят,
рубят
вишнёвый сад.
У них особые на то виды.
Им смешны витающие в облаках.
Они аккуратны.

Они деловиты.
У них подковки на сапогах.

Они идут, приминая травы.
Они топорами облечены.
Я знаю:

они, дровосеки, правы.
Эти деревья обречены.

Но птица вскрикнула,
ветка хрустнула,
и в медленном угасании дня
что-то вдруг старомодно грустное,
как дождь, пронизывает меня.
Ну, полно, мне-то что быть в обиде!
Я посторонний. Я ни при чём.
Рубите вишнёвый сад!
Рубите!
Он исторически обречён.

Вздор – сантименты! Они тут лишни.
А ну ещё разик! Ещё разок!
...И снова снятся мне

вишни, вишни,
красный-красный вишнёвый сок.



* * *

Светлый праздник бездомности,
тихий свет без огня.
Ощущенье бездонности
августовского дня.

Ощущенье бессменности
пребывания в тиши
и почти что бессмертности
своей грешной души.

Вот и кончено полностью,
вот и кончено с ней,
с этой маленькой повестью
наших судеб и дней,

наших дней, перемеченных
торопливой судьбой,
наших двух переменчивых,
наших судеб с тобой.

Полдень лахнет кружением
дальних рощ и лесов.
Пахнет вечным движением
привокзальных часов.

Ощущенье беспечности,
как скольжение на льду.
Запах ветра и вечности
от скамеек в саду.

От рассвета до полночи
тишина и покой.
Никакой будто горечи
и беды никакой.

Только полночь опустится,
как догадка о том,
что уже не отпустится
ни сейчас, ни потом,

что со счёта не сбросится
ни потом, ни сейчас
и что с нас ещё спросится,
ещё спросится с нас.



Буллат Окуджав и Юрий Левитанский. Семидесятые годы.
Они были молоды. Они были талантливы...

БЕЛАЯ БАЛЛАДА

Снегом времени нас заносит – всё больше белеем.
Многих и вовсе в этом снегу погребли.
Один за другим приближаемся к своим юбилеям,
белые, словно парусные корабли.

И не трубы, не марши, не речи, не почести пышные.
И не флаги расцвечиванья, не фейерверки вслед.
Пятидесяти орудий залпы неслышные,
Пятидесяти невидимых молний свет.

И три, навсегда растянувшие минуты молчания.
И вечным прощеньем пахнущая трава.
...Море Терпенья. Берег Забвенья. Бухта Отчаянья.
Последние Надежды туманные острова.

И снова подводные рифы и скалы опасные.
И снова к глазам подступает белая мгла.
Ну, что ж, наше дело такое – плывите, парусные!
Может, ещё и вправду земля круглая.

И снова нас треплет качка осатанелая.
И оста и веста попеременно прыть.
...В белом снегу,
как в белом тумане,
флотилия белая.
Неведомо, сколько кому остаётся плыть.

Белые хлопья вьются над нами, чайки летают.
След за кормою, тоненькая полоса.
В белом снегу,
как в белом тумане,
медленно тают
попутного ветра не ждущие паруса.



* * *

Не там, где сходятся,
где встреча
и на ромашках ворожат,
где, губ не пряча,
не переча
уже собой не дорожат, –
совсем не там,
а много позже
есть час,
незнаемый тобой,
где две судьбы,
ещё не схожих,
одной становятся судьбой.
А до того,
в горах плутая,
на крутизну,
под облака
тебя ведёт тропа крутая,
не проторённая пока.
Секут дожди
и почву месят,
грозя обвалами камней.
...Который год,
который месяц
иду к тебе,
а ты ко мне.

О, как тропа моя извита,
и ты на ней
в иные дни
то вдруг теряешься из виду,
а то –
лишь руку протяни.
И снова пропасть под ногами
непостижимой глубины,
и равнодушными снегами
мы, как стеной,
разделены.
В пути застигнуты пургою.
С дороги сбились.
Но весной
всё начинается другою,
неповторимой новизной.
И я смеюсь над буревалом,
где страх меня одолевал,
где я грустил,
за перевалом
увидев новый перевал.
Ломая кромку ледяную,
опять бежит моя тропа
туда, где сходится вплотную
с твоей судьбой
моя судьба.

* * *

Сколько нужных слов я не сказал,
сколько их,
ненужных,
обронил.

Сколько я стихов не написал,
сколько их до срока схоронил.

Посреди некошенной травы,
в чаще лебеды и лопухов,
шапку сняв с повинной головы,
прохожу по кладбищу стихов.
Ни крестов, ни траурных знамён
в этом месте тёмном и глухом,
звёздочки стоят вместо имён

по три,
по три,
по три над стихом.

Голова повинная, молчу.
Вглядываюсь вдаль из-под руки.
Ставлю запоздалую свечу
возле недописанной строки.

Тихий свет над чёрною травой.
Полночь неподвижна и тиха.
Кланяюсь повинной головой
праху Неизвестного стиха.



* * *

Если бы я мог начать сначала
бренное своё существование,
я бы прожил жизнь свою не так –
прожил бы я жизнь свою иначе.
Я не стал бы делать то и то.
Я сумел бы сделать то и это.
Не туда пошёл бы, а туда.
С теми бы поехал, а не с теми.
Зная точно что и почему,
я бы всё иною меркой мерил.
Ни за что не верил бы тому,
а тому и этому бы верил.
Я бы то и это совершил.
Я бы от того-то отказался.
Те и те вопросы разрешил,
тех и тех вопросов не касался.
Словом,
получив своё вдвойне,
радуясь такой своей удаче,
эту,
вновь дарованную мне,
прожил бы я жизнь свою иначе.
И в предверье стужи ледяной,
у конца второй моей дороги,
тихий,
убелённый сединой,
я подвёл бы грустные итоги.

И в конце
повторного пути,
у того последнего причала,
я сказал бы – Господи, прости,
дай начать мне, Господи, сначала!
Ибо жизнь,
она мне и сама
столько раз давала убедиться –
поздний опыт зрелого ума
возрасту другому не годится.
Да и сколько жизней ни живи –
как бы эту лодку ни ломало –
сколько в этом море ни плыви –
всё равно покажется, что мало.
Грозный царь на бронзовом коне.
Саркофаги Греции и Рима.
Жизнь моя,
люблю тебя вдвойне
и за то, что ты неповторима.
Благодарен ветру и звезде.
Звукам водопада и свирели.
...Струйка дыма.
Капля на листе.
Грозное облако сирени.
Ветер и звезду благодарю.
Песенку прошу, чтоб не молчала.
– Господи, Всевышний! – говорю, –
Если бы мне всё это сначала!

Слова освобождают душу от тесноты

Рассказ об ОПОЯЗе

Виктор ШКЛОВСКИЙ

В революцию встречались мы на улицах с полками.

Мой товарищ Якубинский, потом профессор, читал морякам Балтийского флота историю и теорию языка.

Мой первый друг, ученик Павлова, доктор Кульбин, когда я к нему пришел, сказал: «Каждый человек может ходить по проволоке, благодаря устройству ушных лабиринтов, но он об этом не знает».

Кульбин помогал мне, давал деньги, кормил. Говорил: не питайся по столовым, ешь лук, пятьдесят копеек в день тебе хватит.

Революция – это эпоха, когда все умеют ходить по проволоке. Когда мы забываем о невозможности.

Наша школа возникла до революции, но гроза уже чувствовалась.

Большой, беловолосый, сутулый, тихо говорящий человек, Велимир Хлебников, по образованию специалист по птицам, орнитолог, называл себя тогда «Председателем Земного Шара». За это он ничего не требовал.

Другой знаменитый человек, мой знакомый, Циолковский, говорил, что в будущее время будет только два правительства: мужское и женское. Гении же должны жить самостоятельно, ничего не спрашивая от правительства, по-видимому ни от того, ни от другого.

Циолковского не то что не знали, его знали и презирали. Не замечали и замалчивали. Смеялись.

Циолковский жил капустным полем, которое он сам обрабатывал. Во всей тихой Калуге у него был один друг, товарищ – это был аптекарь. Тоже тихий человек.

Мне сказали, что я должен ехать к Циолковскому.

Но я не хотел ехать без денег.

Ему должны были деньги по какому-то договору.

Шел, кажется, двадцать восьмой год. Я твердо ответил, что без денег не поеду.

После долгих переговоров мне вручили какие-то документы, договора и пять тысяч рублей. По тем временам для Циолковского это были фантастические деньги.

Приехал.

Обои, дешевенькие, одноцветные, голубенькие обои были наклеены прямо по бревнам избы-дома.

В доме и во всей Калуге рубили капусту.

Грядки для капусты были сделаны так тесно, чтобы только пройти.

Циолковский сказал тихим голосом:

– У Вас большой лоб. Вы должны разговаривать с ангелами,

– Нет, – сказал я.

Циолковский ответил:

– А я каждый день.

Может быть, я ему показался ангелом-спасителем. Сын его застрелился от голода.

<...>В знаменитой картине Александра Иванова «Явление Христа народу» на первом плане люди, Иоанн Креститель, а поверх горы идет человек без сияния – будущий пророк и учитель людей Христос.

Перед землетрясениями, в их предчувствии, птицы, коровы, лошади и кошки спасают своих детей и хотят уйти на волю.

Кошка в Ташкенте. Стремясь спасти своего котенка – она выносила из дома свою единственную драгоценность.

А люди не понимали, сердились и несли котенка обратно. Кошка снова выносила котенка на улицу.

Потом дом рухнул.

Вот и в то время колебаний устойчивых поверхностей несколько молодых людей, ученых, будущих профессоров, я, малоученый человек, – мы предчувствовали новый перелом земной коры.

Был я потом солдатом, воевал в дивизионе, смотрел, как мы проигрываем войну немцам, и одновременно писал книги.

Нужно рассказать о небольшом литературном обществе, которое в четырнадцатом году издавало маленькие книжки в крохотной типографии Соколинского на Надеждинской улице, 33.

Наверно, это было начало ОПОЯЗа.

В этот дом часто заходил Маяковский – высокий человек, который летом ходил в черной сатиновой рубашке. Такую неподпоясанную рубашку носили наборщи-



ки, потому что им важно, чтобы одежда не задерживала руку.

Маяковский в упомянутой типографии не был издан, но я видел людей, похожих на него. Это были наборщики, переходящие из одной типографии в другую, неблагонадежные люди.

В типографии шрифта было мало. Набирали один-два листа, потом рассыпали набор и опять могли набирать.

Вот в этой маленькой типографии и в другой типографии, на Лештуковом переулке, 13, мы и работали. Она для нас – я говорю для «нас» – от «нас» остался только один человек, – эта типография печатала издания ОПОЯЗа. Это были сборники по теории поэтического языка.

ОПОЯЗ, который издавал свои книги, весь состоял человек из двенадцати, но там был Евгений Дмитриевич Поливанов, который знал неисчислимое количество языков и говорил, что все трудности освоения языков определены тем, что языки не организованы.

Языки не приведены в тот порядок, в который профессор Менделеев привел элементы мира, во всяком случае нашей планеты.

По этой схеме можно было понять место построения по только найденным элементам, но и тех, которые существуют как бы неположёнными, неописанными, но будут открыты, ибо они должны существовать.

Был среди нас Лев Петрович Якубинский, специалист по албанскому языку, Виктор Максимович Жирмунский, германист, был Эйхенбаум Борис Михайлович и немного других людей, которые еще не были напечатаны и поэтому как бы не существовали, но должны были существовать и оказались на месте.

ОПОЯЗ собирался в доме на Надеждинской, 33.

Про меня говорил Чуковский: «Все повторяется. И вас назовут недоучившимся студентом».

Это правда, только я чуть позже был профессором при Институте истории искусств на Исаакиевской площади, что напротив знаменитого собора. Дом когда-то принадлежал графу Zubову.

Zубов потом, когда Юденич подошел к Петербургу, подал заявление в партию большевиков. Он хотел воевать с Юденичем и говорил, что он себя ощущает в новой системе, а не в системе графов.

Мы, люди того времени, может быть и вы, мы были более изумительны, чем счастливы.

Евгений Дмитриевич Поливанов в молодости, прочитав «Братьев Карамазовых», держал пари с гимназическими товарищами, что он положит руку под проходящий поезд и не отдернет ее. И паровоз отрезал ему левую руку.

Это его образумило, он стал заниматься. Сперва он учил корейский язык, потом китайский язык, потом знал филиппинские языки, знал все тюркские языки и писал оставшейся рукой в анкетах, что «совершенно неграмотен по-бутукудски». А бутукуды – это народ в Южной Америке, который палочкой пробивает себе нижнюю губу. «Если бутукудский язык понадобится, прошу предупредить меня за три месяца», – писал он дальше в анкете. Еще и сегодня студенты употребляют эту его формулу, варьируя название языка.

И этот человек, у которого была потом очень сложная биография, и другой мой друг, ученик профессора Бодуэна де Куртенэ, Лев Петрович Якубинский, ученый-лингвист, вот этот человек и Поливанов – они оба заметили одну и ту же вещь.

Они заметили, что в прозаической речи существует явление расподобления, то есть если происходит стечение, соединение одинаковых согласных, то некоторые из них изменяются, чтобы было легче говорить.

Поэтический язык, наоборот, сгущает звуки, как в скороговорке: «ехал грека через реку... сунул грека руку в реку... схватил рак руку грека... говорит раку грек...» и т. д. То есть поэтическая речь затруднена.

Одновременно Поливанов заметил, что в японском поэтическом языке сохранились те звуки, которых уже в разговорном языке нет.

Но ведь все знают, как устроена урановая бомба. Есть количество урана, которое может оставаться неизменным, но если два количества соединить, то происходит взрыв.

Я в то время писал о заумном языке, о языке религиозных сектантов, был другом Хлебникова, Маяковского, Крученых, Малевича, Татлина, прочих людей. Их уже нет.

И тогда нам пришла мысль, что вообще поэтический язык отличается от прозаического, что это особая сфера, в которой важны даже движения губ; что есть мир танца, когда мышечные движения дают наслаждение; что есть живопись, когда зрение дает наслаждение, – и что искусство есть задержанное наслаждение, или, как говорил Овидий Назон в «Искусстве любви», любя, не торопись в наслаждении.

Время было очень голодным, время революции. Мы топили книгами печки, сидели перед «буржуйками», железными печками. Читали книги как бы в последний раз, отрывая страницы. Оторванными страницами топили печь.

И писали книги. Свои.

Когда говорят про людей моего поколения, людей часто несчастливых, что мы жертвы революции, это неправда.

Мы делатели революции, дети революции.



И Хлебников, и Маяковский, и Татлин, и Малевич.

Малевич был старый большевик с самых первых годов революции, участник Московского восстания, а среди ОПОЯЗа, кажется, только трое были не большевики.

Какие мы делали ошибки? Оставим других.

Я говорил, что искусство внеэмоционально, что там нет любви, что это чистая форма. Это было неправдой. Есть такая фраза, не помню чья: «Отрицание – это дело революционера, отречение – это дело христианина».

Не надо отрекаться от прошлого, его надо отрицать и превращать.

И вот мы, особенно я, заметили, что те явления, которые происходят в языке, вот это затруднение языка, вот эти звукописи, сгущения, рифмовка, которая повторяет не только звуки предыдущего стиха, но заставляет заново вспоминать прошлую мысль, вот этот сдвиг в искусстве – явление не только звуков поэтического языка, это – сущность поэзии и сущность искусства.

И я тогда создал термин «отстранение»; и так как уже могу сегодня признаваться в том, что делал грамматические ошибки, то я написал одно «н». Надо «стран-ный» было написать.

Так оно и пошло с одним «н» и, как собака с отрезанным ухом, бегае по миру.

Толстой не верил в разум, то есть в жизнь, которая вокруг него была, и он описывал жизнь не такой, какая она есть, а такой, какая она должна быть.

Как Островский говорил, что стихи надо писать не только тем языком, которым народ говорит, но и тем языком, которым народ мечтает.

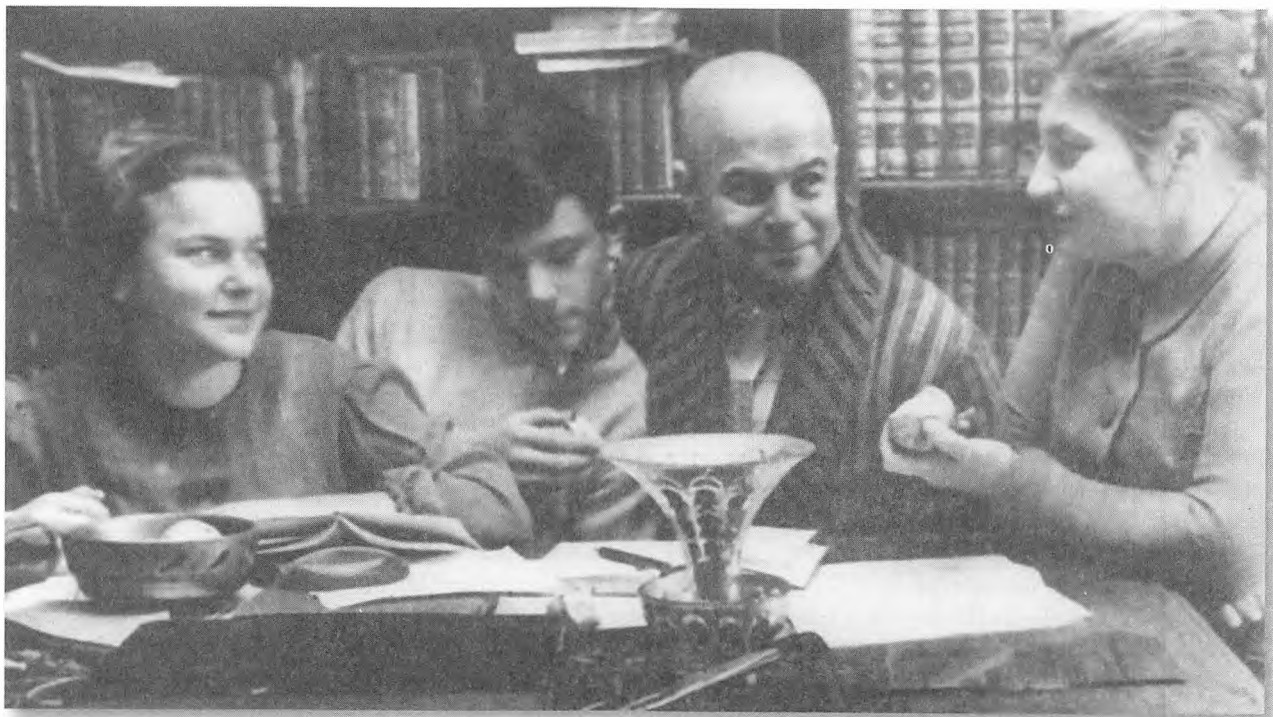
Об этом сдвиге говорил Чехов, никак не могу вспомнить где, хотя выписка сохранилась.

Чехов говорил: «Я устал, я много написал, и я уже забываю переворачивать свои рассказы вверх ногами, как Левитан переворачивает свои рисунки для того, чтобы снять с них смысл и увидеть только отношение цветовых пятен¹. Почти всю жизнь я занимаюсь Толстым, и Толстой у меня изменяется, как будто молодеет. Он для меня все время впереди».

Толстой был всегда настолько молод, что завидовал Чехову, считая, что Чехов предвосхитил новый реализм. И говорил, что когда Чехов умер, то он увидел его во сне, и Чехов сказал: твоя деятельность – он говорил про проповедь – это деятельность мухи. И я проснулся, чтобы возражать ему, – сказал Толстой.

Надо сомневаться в себе до последнего момента, и надо быть вдохновенным.

Маяковский говорил: «Если ты испытываешь вдохновение и в этот момент попадешь под трамвай, то считай,



...Еще все живы и все вместе. Слева направо: дочь Варя, сын Никита, Виктор Борисович и Василиса Георгиевна. 1940 год.



что ты выиграл». Надо стараться превосходить самого себя и перешагивать через свой вчерашний день.

Толстой описывает Бородино не с точки зрения военномандующего, а с точки зрения Пьера Безухова, который как будто ничего не понимает в военном деле; военный совет Толстой описывает глазом девчонки, которая смотрит на этих генералов, сверху, с печки, – как на спорящих мужиков, и она сочувствует Кутузову.

Толстой как бы не доверяет специалистам.

Не так давно на реке Черный Дрим слушал я какую-то румынскую поэтессу, которая читала или почти танцевала заунывные стихи, вставляя слова «аллилуйя».

Я думал, делали ли это уже пятьдесят лет назад? Не в том дело, что это не надо делать. Это мало – делать так.

Невключение смысла в искусство – это трусость.

Так что цветовые пятна должны сначала разлагаться и потом складываться – не зеркально.

Когда-то я писал, что искусство внежалостно. Это было горячо, но неверно.

Искусство – глашатай жалости и жестокости, судья, пересматривающий законы, по которым живет человечество.

Я ограничивал сферу применения искусства и повторял ошибку старых эстетиков.

Они думали, что рифмы, размеры и некоторые стилистические приемы – это дело искусства, а ропот Иова и влюбленность женщины и мужчины в «Песни песней», скитания Чайльд Гарольда, и ревность Пушкина, и споры Достоевского – все это только мантия искусства.

Это неверно.

Искусство обновляет религии, проверяя чувства на своих как бы судебных заседаниях, искусство выносит приговоры.

Мы работали со страшной быстротой, со страшной легкостью, и у нас был уговор, что все то, что говорится в компании, не имеет подписи – дело общее. Как говорил Маяковский, сложим все лавровые листки своих венков в общий суп.

Так потихоньку создалась теория прозы, поспешная, но мы заметили торможение, мы заметили условность времени, что время литературного произведения, время драматургии – иное время, чем то, которое на улице, на городских часах.

Мы заметили смысл завязок, развязок, и в шестнадцатом году мы начали издавать книгу «Поэтика».

Одна статья моя, которая тогда была написана, – «Искусство как прием» – перепечатывается без изменения до сих пор.

Не потому, что она безгрешная и правильная, а потому, что как мы пишем карандашом, так время нами пишется.

Многое из того, что мы говорили, стало сегодня общеизвестным.

Часто, когда человек говорит что-то новое, сперва говорят ему, что он врет, а потом говорят, что мы это всегда знали. И то, что ты говоришь нам, сами знаем лучше тебя.

Количество статей, которые я написал, может сравниться только с количеством статей, в которых меня ругали.

Я и Роман Якобсон были влюблены в одну женщину, но судьба такая, что книгу о женщине написал я.

В этой книге рассказано, как женщина не слышит меня, но я вокруг ее имени как прибой, как невянущий венок.

Чтобы хоть как-то представить, что это было за время, расскажу, как мы печатали «Поэтику» и «Мистерию-буфф» Маяковского.

Был девятнадцатый год. Юг России был захвачен белогвардейцами. У Петербурга не было окрестностей.

Когда мы издавали газету, у нас не было муки, чтобы заварить клейстер, и мы газету примораживали водой к стенке. Такое годится только для зимы. Летом ищете другой способ.

В это трудное время прихожу в маленькую типографию на Лештуков переулок, 19, там сидит директор, один, в пальто. У него замерзли машины, и валы, которые накачивают краску, прыгают по набору. Они не могут работать.

Только одна комната отапливается. Маяковский дает наборщику, старику, книгу. Тот перелистывает и говорит: «Немного написал».

Маяковский спрашивает: «Когда наберешь?»

Рабочий отвечает: «Я старый наборщик, работаю быстрее твоей машинистки, к утру наберу».

Утром пришли – оттиск. Но у Маяковского были такие ступенечки, а наборщик каждую ступеньку начал с большой буквы.

Маяковский говорит: «Это не так».

Тогда рабочий говорит: «Если ты такой умный, то пиши об этом на обложке, то есть на полях, и обведи красным. Я сделаю так, как ты хочешь».

«Что же делать?» – сказал поэт.

¹ Имеются в виду следующие слова А. П. Чехова в письме к Ал. П. Чехову от 26 января 1887 года: «...живется скучно, а писать начинаю скверно, ибо устал и не могу, по примеру Левитана, переворачивать свои картины вверх ногами, чтобы отучать от них свое критическое око...» – *Ред.*



Наборщик ответил: «Я переберу, но так как ты виноват – пол-литра».

К утру мы пришли – все перебрано, и наборщик говорит: «У нас бумага с одной стороны гладкая, а с другой – шероховатая. Если я дам мальчику, он все испортит и книга будет пестрая, но я сам все сделаю».

«Ну сколько ты за это возьмешь?» – спрашивает Маяковский.

А тот отвечает: «Ничего не возьму, я просто показываю, как надо работать».

«А когда все будет готово?» – «А ты шитье американское принимаешь?» – «Принимаю». – «Ну, тогда дней через десять пятьдесят тысяч экземпляров в пачках».

Говорю об этом, понимая, что, возможно, кое-что не имеет отношения к теории искусства, но имеет отношение к теории времени.

Это время, когда люди ходят по проволоке, когда надо, и перейдут, и не упадут, и гордятся работой, гордятся умением.

В журнале «ЛЕФ», журнал толстый, был один рабочий, один журналист, а редактором был Маяковский. И хватало.

Напутали мы достаточно. Но сделали мы больше, чем напутали.

Теперь, что я напутал. Прежде всего напутал в том, что написал «Zoo».

Надо рассказать, как пишутся книги.

Мне нужны были деньги.

Когда-то мне говорил Горький, что главное в литературе не напрягаться и не стараться. Не стараться сразу стать героем. Что же надо делать? «А ты возьми аванс и растрать его, а потом сядь и скажи: у нас денег нет, но вот я сяду и буду работать по часам – четыре часа в день».

Потом на ухо говорит: «И непременно выйдет. Надо растормозить себя и поставить себя в такое положение, что нельзя не окончить. Можно писать заново, а вычеркивать не надо. Лучше написать три романа и два выбросить, но надо работу доканчивать, потому что рукопись вас умнее. Когда начинаете писать, вы присоединяетесь к общечеловеческому труду, вы умнееете...»

Надо не позволять себе неудачи. Надо додумывать, потому что в этой неудаче может быть неиспользованная возможность человечества. Не надо пугаться трудностей.

Возвращаюсь к «Zoo». У меня не было денег, я решил написать книгу о людях, которые ходили по эмигрант-

скому Берлину. Там был Андрей Белый, Пастернак, Шагал. Много людей было. Маяковский приехал на время.

Я в это время был влюблен. Влюблен так, что разогнал от женщины, в которую был влюблен, на километр всех людей, которым она нравилась.

И тогда, будем хвастаться, я взял одного англичанина, который мне не понравился, он слишком пристально смотрел на женщину, взял и бросил на рояль в ресторане.

За рояль, конечно, заплатил он, а не я, так как денег у меня не было.

Откуда у меня взяться деньгам?

Англичанин не стал со мной объясняться.

А одной женщине сказал, что, когда он был в Сербии, там парни были похожие на меня, ходят с ножами, могут зарезать.

И он подумал: а вдруг у меня нож? Потому-то он и решил заплатить.

Вот в каком я был состоянии, перед тем как сесть писать.

Начал, а потом приходит... глупая вещь, которая называется вдохновением.

Писал – не писал, а диктовал в очень холодной комнате, засунув ноги в корзину, закутавшись. Книгу надиктовал за неделю.

Про вдохновение Гоголь многое говорил, но я не могу найти, где он это сказал: «Вернись ко мне, вернись хоть на мгновение. Хотя бы для того, чтоб я увидел сам себя. Вернись ко мне грозою, вьюга-вдохновение».

Написал книгу, в которой были все метафоры любви. Что получилось? Женщина ушла, книга осталась. Прошло много лет, и эта книга нравится сейчас больше, чем тогда, когда была написана. Она и мне нравится больше, чем то, что, например, сейчас пишу. Потому что жизнь, голос крови меняют мир.

Маяковский сказал мне: говори самые жестокие вещи, но не говори, что моя последняя книга хуже предпоследней. Противоречия жизни превращаются в факты продвижения человечества. Книги, конечно, все трудные, и все книги нужные, если они трудные.

Как-то Толстой, молодой Толстой, шел с мальчиком по лесу. Лес был зимний, а перед этим только что повар зарезал тетку Толстого. Она жила не в этом доме.

Было страшно. И дети игрались со страхом. И вот идут дети с Толстым, тропинка узкая. Они падают на снег и держатся за его полу, и его любимый ученик – Морозов – говорит ему: «Лев Николаевич, для чего люди поют?»

Тогда Лев Николаевич в первый раз рассказал им историю Хаджи-Мурата, который перешел к русским и потом хотел вернуться к своей семье, сражался, его нук-



ры точили сабли, пели птицы и пели его сабли. Потом он сражался. Его окружили, и когда Хаджи-Мурат остался один, то он запел песню о птицах, которые должны сообщить о том, как он умер, сражаясь. И он стал такой страшный, что от него все отступились. Потом его люди упали, а Хаджи-Мурат пел песню и шел вперед. Потом Хаджи-Мурат упал. Потом опять запели соловьи.

Толстой записал в дневнике: «Так и надо, так и надо».

Писал он эту вещь сорок лет. И не дописал. Но говорил, что если б он умел писать тогда, когда писал «Войну и мир», то написал бы небольшую книжку. Такую, как «Хаджи-Мурат», сгущенную книгу. <...>

Вот так писал Гоголь, Свифт. Так писали великие люди, так пишет стихия.

Гераклит говорил, что для того, чтобы получить гармонию, надо сперва иметь дисгармонию.

В чем я виноват? Я прежде всего довольно много знаю, но одновременно мало знаю. Не знал философию. Поэтому думал, что все открываю заново.

Меня били за это страшно, потому что те, которые меня били, и этого не знали.

Но у них была отрицательная интуиция. Подарили мне такое выражение.

У них был нюх. А тот, кто живет не по правде, в нее и кидает камнями.

Булыжники были увесистые.

Шли мы сквозь свист и хохот.

Обычно говорят: «сдал сопротивление материалов», говорят тем же тоном, как и слова «сдал пальто на хранение».

Мой совет: не сдавайте то, что узнали.

Когда будете защищать свои работы, не защищайтесь, а нападайте. Иначе вы проиграете смысл.

Потому что мы сильнее, потому что человек, освобожденный от боязни, увидавший самого себя, человек, который чувствует себя, что он должен быть понятным, он всесилен.

Страшно плакал, когда описывал последние страницы толстовского бегства, потому что он был такой знаменитый, что ему некуда было бежать.

Он не мог переделать мир и не мог найти в этом мире спокойного места для того, чтобы быть хорошим, одному хорошим.

Я написал книгу об Эйзенштейне Сергее Михайловиче, авторе «Броненосца «Потемкин», философе, который написал статью «В защиту бедняка Сальери».

Эйзенштейн был ученейший человек. Очень несчастливый человек, видящий далеко.

Смотрел недавно последние картины Феллини, и мне страшно было не только потому, как безнадежен он, но как он видит свою безнадежность.

Расскажу один эпизод.

В одном месте дан показ дамских мод. Потом идет показ моделей для духовных лиц: сперва идут ксендзы, хорошо одетые, потом идут, вернее влезают, в малиновых одеждах ксендзы на роликовых коньках и показывают фигурное катание, потом идет благословляющая рука Господа без ног, потом идет нарядный скелет, потом скелеты держатся друг за друга, и они покрыты роскошными одеяниями.

И в конце артистка, которая проходит, точнее сопровождает все эти вещи, открывает дверь и спрашивает на римском диалекте: «А вы что об этом думаете?» — и закрывает дверь.

Какое красивое отчаяние.

Папа сидит, на нем малиновая риза, а в руках у него зеленый бокал, а в зеленом бокале — вино, висит золото, а перед ним проходит вот этот мертвый мир.

На чем кончается книга об Эйзенштейне?

Книга кончается рассказом Толстого.

Толстой в «Книге для чтения» написал два рассказа: один назывался «Черемуха», а другой назывался «Как деревья ходят».

Рассказывается так: понадобилось Льву Николаевичу расчистить сад, и увидел он, что на дорожке растет черемуха, и велел он ее срубить. Начал рубить рабочий, подошел сам Толстой и говорит: «Всякую работу надо делать весело», — и начал рубить. А дерево хлюпало, и вдруг оно внутри закричало и упало и лежало, полное цветов и пчел. «Жалко», — сказал рабочий. «И мне было жалко», — говорит Толстой.

Через несколько лет Толстой увидал опять, как цветет на другой дорожке черемуха. Посмотрел, а это побег той черемухи, которую он рубил с рабочим. Рассказ он назвал: «Как деревья ходят».

Не бойтесь неудач.

Всегда признание приходит поздно, но писание до признания — наслаждение.

Из архива

В. В. ШКЛОВСКОЙ-КОРДИ

ПОЧТА ВЕКА

Пока наши письма преодолевают пространство за какое-то время (желательно – за наименьшее) – это просто почта. Но вот пространство преодолено, адресат, обозначенный на конверте, распечатал его и прочел послание. И почта – если это просто почта, даже если это спутниковая связь, а не какие-то там гонимы Семирамиды – исчерпала свои функции.

Ну, а если это не просто почта?.. Если студент инженерного училища пишет, еще не зная кому, о бедных людях, униженных и оскорбленных, и посылает это другому студенту, недоучившемуся, но уже зацепившемуся за жизнь, в надежде, что тот поймет его (лучше, чем сам себя понимает) и переадресует его письмо тем, кому оно писалось, кто без него не может...

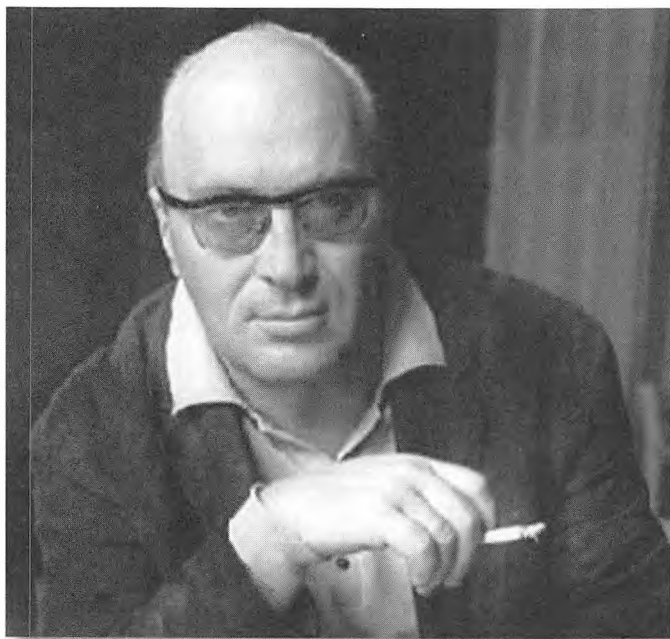
Ну, это, скажете вы, уже литература. Хорошо. А если тот же студент – бывший, но отбывший катор-

гу (сочувствие бедным людям наказуемо) пишет жене из Монте-Карло (или из Баден-Бадена) о том, что проигрался в дым, что при этом очень беспокоится о здоровье детей и всех «крепко цАлует». Это ведь, кажется, просто почта. Но почему-то хочется вам – когда ничего не хочется! – взять в руки именно это. И еще письма Пушкина из Болдина, или же Михайловского, или даже – на Высочайшее имя...

Не все ли, что мы пишем, равно (будь то литература или наши письма) до той поры, пока не изойдет из нас вся – пустая вода жизни (H_2O) – и не выступит то, что называется кровавым потом. Его мало по сравнению с водой – несколько капель, но уже не имеет значения, чей он и о чем. Тот, кто до него дожил – велик, и то, что сказал он – все, что сказал он! – принадлежит веку и перейдет в другой.

Пространство ни при чем, когда преодолено Время*.

«Четырнадцать кварталов счастья...»



Юрий КАЗАКОВ

Мы вместе учились. В первое послесталинское лето оба прошли творческий конкурс (пятьдесят человек на одно место) и оказались студентами Литературного института имени Максима Горького. Мне было семнадцать, Юре двадцать шесть. Вчерашняя школьница взирала на профессионального музыканта с Арбата, лысого, белесого, почти альбиноса, не без сочувствия, но с удивлением: на юношу совсем не похож! Такой взрослый – и никто его не знает. Что он там пишет? Почему на вопросы однокурсников отмалчивается?.. Второй вопрос скоро прояснился: Юра мучительно заикался. Через годы и годы узнаю: подростком он тушил вместе с взрослыми зажигалки на крыше своего дома на Арбате. Одна бомба разорвалась близко, и его контузило. Это осталось с ним на всю жизнь. «Забывал заикаться» он только в редкие минуты вдохновения, когда жилось

¹ «Тарусские страницы». Второй выпуск. 2003 год. С. 392. — Ред.



как писалось: высоко, увлеченно, отрешенно от земной суеты. Точно душа поднималась в сферы, где земные болячки не имеют никакой власти.

Вскоре по курсу прошел слух: Юрий Казаков пишет необыкновенные рассказы. Народ у нас учился ушлый, некоторые прошли войну, были вышколены на фронте политкомиссарами. Да и вся атмосфера до XX съезда партии была пропитана идейностью, как ее тогда понимали. И вот, подходя к творчеству никому неизвестного прозаика с критериями партийности, «с позиций соцреализма», наши ортодоксы – водились такие не только среди преподавателей, но и среди студентов, высказывали ему в лучшем случае свое недоумение: где он черпает своих героев? Какие-то они ущербные, несовременные, нетипичные. Один едет в город ставить спортивные рекорды, безжалостно бросая в деревне свою девушку. Другой похода растлевают юное создание и тоже, конечно, бросает. А сами девушки? Вот учительница Соня, нескладная, некрасивая. И все заверчено вокруг этой некрасивости. Какой-то физиологизм! Поехала бы на целину, на стройку коммунизма – небось, забыла бы о личной непривлекательности, стала бы героиней труда...

Рассказы между тем начали печатать в журналах. Вышли, правда в Архангельске, первая, а потом и вторая книги. Время уже было не прежнее. Подул свежий ветер. Возникла острая нужда в бесспорных талантах, в новом взгляде на жизнь и личном горячем слове. Критики от слова «крыть» набросились на дебютанта, как на лакомую пищу, возводя на него одну напраслину за другой. Он держался как скала.

Однажды Юра дал мне почитать свой рассказ «Голубое и зеленое». И тут я...влюбилась. Сначала в рассказ, а потом в автора. И мне стало абсолютно безразлично, что о нем говорят и пишут. Это был мой писатель! Рассказы хотелось читать и перечитывать...Восхищение однокурсницы Юре было приятно – он стал мне доверять; скрытный от природы, пусть не сразу, но впустил в душу души своей...Влюбленность – это же вроде заразы. Прав Есенин: «Мы все в эти годы любили, / Но, значит, любили и нас...»

Юриных писем и телеграмм за двадцать с лишним лет набралось у меня более полусотни. Вот некоторые из них. Не всегда в его или мою пользу. Но всегда, как мне кажется, в пользу чего-то высшего. Красоты. Правды. Творчества. Истины, как бы горька порой ни была последняя.

Юрию Казакову я посвятила повесть «Мы – счастливые люди»¹ и десятка два стихотворений. Приведу единственное, строка из которого стала названием этой подборки.

*Молчи, район моей любви –
Четырнадцать кварталов счастья!
Меня за локоть не лови –
Я не хочу с тобой встречаться
Ни утром, ни в разгаре дня
(А вечера теперь короче!).
Ты не разыгрывай меня
И не разгуливай до ночи.
Не засекай, район любви,
Меня на каждом перекрёстке,
В пролёты лестниц не зови,
Не пачкай в краске и извёстке,
Не отводи оконных глаз
И не топи в тени скамеек...*

*Ты это делал тыщи раз –
Ты не откроешь мне америк!*

Тамара ЖИРМУНСКАЯ

Письма Юрия Казакова Тамаре Жирмунской 1958–1978

О, истОмленная Тома!

Эту фразу я написал, чтобы ты спокойно и радостно читала дальше и не думала, что это письмо мое – последнее.

Но оно будет последнее, если ты не приедешь. Даже смерть не должна тебя остановить – пусть придет твой дух (который, я уверен, будет темный по цвету).

Сегодня была у меня красавица, а я – о, дурище! – играл перед ней роль спокойного человека, слишком увлеченного лит[ерату]рой, чтобы обращать внимание на ее губы, ресницы и проч. Я ее угостил вином и легким разговором, я наговорил на пленку двести слов, но я не поцеловал ее ни разу – червонную даму, а не пленку – вот святой Христос! – и она ушла разочарованной. Пойми, из-за тебя я опозорил русскую лит[ерату]ру, ибо передо мной все время торчало твоё лицо, а оно мне надоело, замечу в скобках. Тмархен! Мамаша! Что мне за это будет? Нет, не дожидаться мне от тебя милости, ибо нет ничего хуже женщины, окончившей лит. институт, да еще с отличием.

¹ Журнал «Грани». № 227. – 2008 г. – Ред.



Слушай, несчастная, ты хочешь, чтобы я тебя бросил? Ты хочешь, чтобы я, бросив тебя, один поднимался к вершинам зажиточной жизни? Ну что ж! Я буду жить один, писать и печататься. Я буду получать много денег, уеду в Латвию, куплю себе виллу в Дубултах, женюсь на латышке и буду принимать гостей – англичан и прочих шведов. У меня будет камин, бочка рому и тролли на чердаке. А когда ты, старая, некрасивая, обуюнная горем, приедешь ко мне, я приму тебя, грустно улыбнусь, угощу ромом и уйду работать в кабинет. А ты пойдешь и утопишься в море. И рыбаки выловят твой старый некрасивый труп и похоронят ради Бога.

Если ты всего этого хочешь, – можешь не приезжать в воскресенье в Семхоз.

Если же ты хочешь другой жизни, то приезжай, я тебя буду ждать на сосновой платформе, на той самой, где я когда-то целовался с Лилей в первый раз (...)

4/VII-58 г.

Милая, добрая Тамархен,

Я в Питере, со мной машинка, наброски «Старого дома», материалы по Лермонтову (знаешь ли, что я хочу писать о Лермонтове?), я живу в отдельной комнате окном на канал, и мне не пишется что-то. «Мне не спится, не ложится...» Зачем же я уехал, будто кто-то вдруг погнал меня из Москвы? Я хожу по Питеру (здесь так называют Л-д), и опять восторги, но не те, что были в прошлом году – более глухие, пережитые... Все было, было уже... И потом эти частые радиопередачи о положении в Ливане: все это мало располагает к спокойствию духа.

Здесь еще белые ночи, но уж нет блистания, а полумрак, очень слабый ночной свет.

Думаешь ли ты обо мне? Я скоро уеду отсюда, не знаю только куда – в Псковскую обл. сначала или прямо на север, на пароходе. Мне хочется почему-то смутиться духом, попечалиться в одиночестве. Я делаюсь в эти минуты лучше, знаешь, такой маленький Юрочка, неизвестно когда родившийся, едет по белу свету, смотрит и поражается его счастьем и грусти, и многим жизням, и вечному, и мгновенному...

Я сейчас подумал, что как, в сущности, люблю я людей и как не могу без них и что если даже не люблю, ненавижу, то все равно из-за любви к ним. Значит, как же несправедливы ругающие меня и как, верно, долго мне терпеть все это (...)

Пойду сейчас опускать тебе это письмо и бродить по городу. Все меня смущает, чего мне надо – не знаю, знаю только, что где-то есть ты, и, если у нас все будет хорошо, когда-нибудь вернусь к тебе, как бумеранг (Хотел написать: как свет возвращается к звезде – неверно; хотел написать: как сын – к матери – слишком

возвышенно; и остановился на бумеранге. Пусть я буду бумерангом. Пусть я буду пчелой, приносящей тебе мед мира и любви. И пусть никогда я не ужалю твою благотворящую руку).

(...) Если захочешь написать мне, пиши не откладывая. А то я могу уехать и не получить твоего письма. Я перечел сейчас свое письмо, вижу, что оно получилось грустным, но не буду переписывать. Ты же не особенно думай над тем, что оно грустно, а что я скучаю по тебе. Грусть же тяжка и требует сочувствия тогда только, когда она вызвана внешними тяжелыми причинами. Если же она внутренна, то это не страшно, пройдет, как – помнишь? – прошли Азорские острова.

Ну будь здорова, не скучай и пиши сказки. Пришли, если хочешь, хоть одно свое стихотворение. Я буду ходить и бормотать его.

18/?/ июля 58 г. (Не уверен, что сегодня 18-е)

Архангельск 2/IX-58 г.

Ах, ах! – я от бабушки ушел, я от дедушки ушел и сижу теперь, как великий и мудрый Пришвин, у росстанни, в гостинице «Интурист» и думаю о тебе. Ты уверена, конечно, что я сразу открыл коробку – и зашуршал... Так нет же, у меня, оказывается, есть сила воли, и я терпел до Архангельска. И ты думаешь, я страшно обрадовался тому, что было в коробке? Нет – но только сперва нет, а потом... когда я увидел, что каждая конфета – тонкая ручная работа, когда я вообразил тебя с высунутым языком, рисующую и клеющую, я вздрогнул и заплакал. Я подумал о том, как ты любишь конфеты сама и, следовательно, какие муки ты испытывала, занимаясь приготовлением мне этой коробки. Впрочем, замечу в скобках, я вовсе не уверен в том, что ты не съела половину конфет, предназначавшихся мне, пока клеила. Признавайся! Потом коробка... Дивная коробка, я ее тщательно обнюхал и убедился, что она имеет парфюмерную природу, но внешность! внешность! – где ты достала все эти ярлыки и фантики, неужели ходила и собирала по улицам или это все бранные останки конфет и шоколада, предназначавшихся мне, так сказать, отходы производства?

И ты думаешь, наконец, что я выбрасываю фантики? Ничего подобного, я их буду хранить всю жизнь. Серьезно.

(...) первый день прошел вяло, я отсыпался в гостинице, потом был в изд[ательст]ве, у знакомого писателя и т.д. Завтра я думаю выйти на разведку, на предмет моего маршрута, т.е. куда я поеду отсюда. Пока я держу в голове Зимнюю Золотицу – деревню на Б[елом] море, откуда родом Марфа Крюкова.



Слышны изредка низкие гудки морских пароходов, и меня покалывает иголочками. Боже мой, как я счастлив был здесь в первый раз, осенью пятьдесят шестого года, ужасно, что сейчас я сплю как-то, только колбаса выручает. Да, колбаса – ты знаешь, когда я поехал сюда в пятьдесят шестом году, я взял колбасы с собой копченой, у нее был странный вкус, я потом такой не ел больше, и вот у теперешней колбасы тоже такой же вкус, и я, когда ем ее, начинаю волноваться.

Только что прогудел пароход: один длинный гудок и два коротких, скоро, значит, отойдет – куда?

Самое плохое, что ты не со мной. И я ужасно расстраиваюсь. Смотри, осенью у меня будет с тобой на юге решительное объяснение.

Пока не заканчиваю письмо, продолжу его завтра, когда узнаю что-нибудь о своем маршруте (...)

3/IX.

Итак, решено, я уезжаю завтра в Зимнюю Золотицу – это на северном побережье Белого моря. Пароход туда отходит в тринадцать часов (...)

Говорят, Золотица – хорошее место и народ там хороший, но это все смутно, никто ничего не знает, я сегодня ходил и спрашивал – никто, никто не знает. Жалко, я стихов не пишу и жалко твоих не взял, тех, которые ты мне читала.

А надоел же я сам себе, читал сегодня гранки с головной болью, с ненавистью. Ладно, на юге увидимся, а уж что будет, что Бог даст, никому я сейчас не верю и тебе не верю – никому. Матери только, мать одна не предаст, ты не обижайся, ты тоже наверное во мне не уверена, и тоже, может, мучаешься, ну и я тоже.

Не знаю, буду ли я еще тебе писать, я воображаю, как ты сейчас живешь, о чем думаешь, и все неясно, все в тумане.

Милая, милая, хотел бы я Блоком быть или еще каким-нибудь гением, понимаешь, гением, ужасным и загадочным, и ради тебя только, мне не надо, мне на что – слава – дым, это так, т.е. когда ты один, так один, хотя бы тебя миллиарды любили и ставили свечи, но, когда туго, страшно, все равно один, уж Христос на что, а взмолился же отцу: пронеси, мол, мимо чашу сию, а знал же наверное, что будет любим в веках (или не знал?), знал наверное, а вот взмолился, и потому, когда один, то слава – мура и вообще ничего не надо, но я хотел бы стать первым, великим, чудом природы, то есть когда уж людям не понять, как это? как? – это ой-ей как ужасно трудно, этого у нас на Руси немногие достигали, а я хочу и стану, вот те крест святой, из-за тебя, да может, из-за матери (...)

Нижняя Золотица 5/IX – 58 г.

Мамочка моя, куда меня занесло! Что-нибудь одно: или я дурак совершенный, или самый мудрый и хитрый человек – или я уеду отсюда, проклиная север и себя, или привезу в Москву полный мешок поэзии и счастья (...)

Начать с парохода. Ну, пароход черный, погребальный, мрачный; третий класс, в котором я ехал, – грязный и жесткий, под потолком вечером тлели четыре лампочки, было сумрачно и нехорошо. Ехали на нем все местные и солдаты, шел он в Мезень. Солдаты и гражданские как начали пить в Архангельске, так не перестают, наверное, и сейчас (...)

Но на пароходе ехала девушка одна, я заметил ее еще в Архангельске и, грешным делом, крикнул тогда же – такие глаза, как у нее, – редкость великая, даже трудно подыскать определение: ленивые, странные, сумрачные, загадочные... все не то! Они такого, знаешь, лилового цвета, с темными длинными ресницами, м.б., тут ресницы играют роль, черт ее знает. Словом, я ошалел. По цвету они похожи на твои, но слегка выпуклые, помнишь Наташу Тарасенкову? – так вот примерно такие. Но у тебя в глазах что? – у тебя ум и внимание, дух, душа, у тебя глаза переменчивые, но интеллект в них виден всегда, и сострадание, и нежность, Бог знает что еще, много, а у этой не то, у этой – сумрачная загадочность, как, м.б., у Маньки моей, я примерно такими воображал глаза Маньки, только зелеными, а у этой – фиолетовые.

Так вот, оказалась она моей соседкой; ну, я был мрачен, скучен и не помышлял, конечно, чтобы ухаживать за ней, к тому же ехали с ней ее знакомые ребята и в ухаживателях недостатка не было. Но я все хотел еще и еще окунуться в ее глаза – тра-ля-ля... Почему бы не насладиться, не воспарить душой? Только сперва ничего не получалось – ни разу не взглянула она на меня, хотя бы мельком. А потом как-то разговорились, уединились, на меня нашел стих – плотина лопнула, я стал оживлен, поэтичен и даже почти не заикался – представь! – голос мой играл и переливался, вздрагивал в нужных местах и пр., и пр. И все я чувствовал на себе ее взгляд, все боялся взглянуть, но потом внутренне подбирался, взглядывал – и прощай все! – готов был, если бы так глядеть, плыть с ней хоть на Чукотку (она плыла далеко – в Мезень). Ну вот, это, так сказать, первый глоток – ты не ревнуй, глоток чисто писательский, наблюдательный.

Приехали в Золотицу ночью, ах, я забыл еще сказать: вечером я торчал на палубе и думал, вспомнил, вернее, как фосфорисцирует Черное море, и только подумал, как гляжу – в струе у борта зажглось ярко-зеленое пят-



но и медленно стало отходить назад и гаснуть, потом еще и еще... Так я и не понял, что это светилось, м.б., медузы, сталкиваясь с корпусом парохода, вспыхивали. Но бледный их мертвый свет вспыхивал все время то ярче, то глуше, верно, от того, на какой глубине вспыхивал. Было холодно, и я думал еще, что если прыгнуть в воду, то больше двух-трех минут не продержишься, задохнешься и утонешь, и долго будешь идти ко дну, глубина Наверное была метров четыреста-пятьсот (...)

Телеграмма из Н-Золотицы 16/IX.

Пиши теперь Архангельск иду туда пешком морем нельзя штурм – Юрий

26 сентября. 18 часов. Архангельск

Сегодня прикатил в Арх[ангельск] и получил сразу целую кучу писем! Они жгли мне карман, но я терпел: пришел в гостиницу, спустился в ресторан, заказал шикарный обед (первый обед за месяц!) и, выпив рюмку коньяку, принялся за письма (...)

Я перся пешком по берегу, и бывали моменты, когда я напоминал сам себе джеклендонского героя. У меня был рюкзак двадцать пять килограмм, ружье, патроны, удочки и спиннинг, сапоги, джемпер, куртка и плащ и шапка зимняя: со всем этим и во всем этом я топал берегом моря, увязая в песке, или спотыкался на камнях в скалах. Бывали моменты, когда я валился отдыхать через каждые полчаса; ноги я разбил в кровь, несколько раз блудил, но все кончилось благополучно.

Дошел я до Куи (есть такая деревня), и тут как раз пришел пароход, я глянул на него, не выдержал, схватил рюкзак – и вот сегодня я уж в Архангельске (...)

Я не хочу тебе писать всего, что я тут увидел и подумал и пр., – я тебе говорил уже, прочитай «Колобок» Пришвина, делай поправку на сегодня, т.е. преобразуй деревни в колхозы и т.п., и вот тебе точная картина жизни теперешних поморов, а мысли и ощущения Пришвина – мои мысли и ощущения (...)

А я-то! В атеисты попал! Господи, прости меня, дурака грешного, и помилуй и не оставь своими милостями! Вот не думал, не гадал. А главная Божья милость мне – это ты (...)

Адрес получателя:

Гудаута, д/о «Золотой берег».

Тамарка!

Я получил твою телеграмму, полную материнской нежности и подписанную так: мама (доехала благо-

получно лучше катером целую спасибо – мама). После того, как ты уехала, я получил еще два письма от Баруздина – одно сюда, а другое мне переслали из дому, получил также твою прошлую записку от третьего октября. Бедная, бедная ты, а я жестокий зверь.

Баруздин пишет, что меня приняли в СП, но еще не утвердили Президиумом. Президиум должен был состояться двадцать седьмого октября.

Но это не главная литературная новость. Главная, что Пастернаку за роман «Доктор Живаго» и за лирику дали Нобелевскую премию. Скандал страшный. Не знаю, чем кончится, наверное его вышлют из СССР. Из СП во всяком случае исключат. Сегодня или завтра получится след[ующий] номер Литературки, я тебе потом привезу.

Погода стоит ужасная, и я захандрил, причем жестоко. В комнате холодно. А позавчерашнюю ночь была луна, и снег в горах сиял. Сегодня пробовал писать и вчера тоже, но ничего не выходит, хоть волком вой.

Я все подумываю, не смыться ли мне в Москву и тут же вопрос: а в Москве что?

Словом, паскудство. Единственный мой собеседник (инвалид) уехал, и я теперь совсем один. Мама сегодня ушла к знакомой, оставила меня, чтобы я работал.

Тамарка, ей-Богу, я ничтожество.

До свидания, моя детка. Может быть, до Москвы, т.к. я не знаю уже, приеду ли к тебе, как хотел, уж очень нехорошо со мной. Вдруг я сорвусь еще раньше тебя.

Читаю Блока.

29/X-58 г. Пицунда.

Ради бога, хоть ты-то пиши! Нам надо работать. Мысль, что ты пишешь, может быть, и меня подтолкнет и пристыдит. А то нельзя же, надо писать, причем сценарии и прочее не в счет – чисто денежные работы, надо писать для будущего.

Очень хочу, чтобы ты не зря провела эти последние дни здесь, хочу гордиться тобой. А на меня не обращай внимания, это со мной теперь почему-то почти постоянно. Может быть, это болезнь, но она не должна превращаться в заразную.

А я должен ее преодолеть. И преодолю – вот тебе слово!

Может быть, мне не приезжать, если ты работаешь? Телеграфируй мне. А то выйдет как со мной. Я было вздохнул, уперся, задрожал, хотел что-то написать, но ты приехала и все нарушила. Хоть и сладкое нарушение, но я не хочу быть тебе помехой (...)



Адрес получателя:

Гудаута, д/о «Золотой берег».

2/XI-58 г. Пицунда

Душа моя!

Если бы ты знала, как захотел я есть! Я приехал домой и выл, лежа на кровати, все время пока мама варила борщ.

Теперь я дома, узнал новости насчет Пастернака, мама слушала радио. Но ты приедешь, обязательно узнай подробности (у кого-нибудь из наших ребят, зайди, что ли, в институт, там, верно, знают), а когда я приеду, ты мне все расскажешь (...)

А ты читаешь ли мою книжку? Как тебе показались «Тихое утро» и «Ночь»? Особенно «Тихое утро» – напиши, пожалуйста, очень прошу, это для меня важно.

Тамарка, какая была лунная ночь, а! А ты знаешь, я ехал по ужасной вертячей дороге, и что-то придумалось вроде рассказа, в котором он и она будут стоять в горах вечером, в темноте на дороге и ждать автобуса, а автобус идет, но дорога с выражами, и вдруг он срывается в пропасть и (издали) медленно катится вниз, а фары его горят и световые лучи описывают круги, восьмерки и т.д. шаря по горам. Тогда... Тогда она прижимается к нему и т.д. (...)

Спасибо, Тамарка, я очень тронут твоей заботой, очень рад, что побывал у тебя, словом, счастлив бесконечно.

Как ты дошла? Без приключений, надеюсь? И тоже, наверное, проголодалась, да? Ну конечно же – и ужин был у тебя неполный, и завтрак тоже, и на обед, наверное, опоздала (...)

Пришли мне телеграмму из Москвы обязательно.

Ну, до свиданья, очень рад, что у тебя все хорошо. Будь умницей, не волнуйся, не принимай близко к сердцу дел, которые тебя касаются отдаленно. Понимаешь? Давай станем оптимистами, им ведь, чертям, веселей жить на этом свете. Станем? (...)

Хелло, моя крошка! Я уже раздраженно фыркнул на твоё молчание и думал самодовольно: «О, женщины!» – когда получил твоё письмо. Ты – молоток, чувствуется школа «Труда», дай бог, чтобы ты не стала лаконичной и чтобы всегда я получал такие длинные письма. Я засыпал, читая его, просыпался и снова читал и потом опять засыпал. Мне казалось, что я иду по железной дороге, которая сужается и пропадает на горизонте. До конца я так и не дочитал, ну да неважно, все равно чувствуется, что молоток (...)

Что ж ты не написала, слушала ли ты мои рассказы? Я не мог послушать – тут по-латышски все шептается. Наверное, не слушала, забыла! Так я и знал.

Зато я получил из Чехословакии журнал! Ага! Три рассказа на первом месте, мой портрет (ах, какой я красивый!) и разные слова про меня. Ты можешь его ку-

пить в Москве в магазине периодики стран народной демократии. Кажется, где-то есть такой. Купи и упивайся моей карточкой и чешской речью. «Арктур, ловески пес» начинается так: «Никто не ведел, як зе стало, же зе обвевил ве месте. Присел однекуд на яре и зачал ту зит. Никого необтезовал, никому зе невнуковал и никого над себою неузнавал – бил звим панем» и т.д.

А журнал – прелесть! Я его весь обнюхал. Тут много интересного и кроме меня, всякие снимки и рисунки на современный манер. Журнал назыв., если вздумаешь в самом деле купить, – «Световая литература» № 1 за 59 г.

Слушай-ка, давай махнем куда-нибудь летом с тобой? А? Ты это дело обмозгуй – хочешь, ко мне на родину, хочешь, еще куда-нито... Знаешь, как по-чешски «любовь»? «Ласка!» То-то! (...)

26/III-59

г. Дубулты. 7 апр. 59.

Ух ты моя крошка! Милашка! Ах ты молоток! Как это ты меня ругаешь за эти слова, когда я тебя ими называю любовно? Как это вообще ты едешь куда-то в Калинин, когда я сижу в Дубултах, причем окончательно одубуленный?

Ты знаешь, меня-таки раздолбали уже в Архангельске. Статья называется «Тени прошлого» – а? Тон и содержание этой поносной статьи я тебе не стану цитировать, только коней, а он вот каков: «На наш взгляд, выход в свет книги рассказов Ю. Казакова, грубо искажающей нашу действительность, облик наших современников – строителей коммунизма, – ошибка Архангельского издательства».

А сама статья такова, что пусть меня повесят, если архангельские аборигены уже не расхватали мою книжку, чтобы постараться узнать, что же за собака этот Казаков.

Как видишь, я добр и спокоен. Жалко только Одицову, ей, бедной, наверно, достанется.

Разноса же в Москве, по-видимому, тоже не избежать, хоть московская книжка по составу своему несколько мягче архангельской.

Но это не суть, а суть, что я получил договор на новую книгу в «Совпесе» – объем пятнадцать листов. И получил уже аванс. Как тебе это нравится? Причем, если ты помнишь, я пальцем не пошевелил в пользу этого договора – не ходил, не кланчил, не переживал – заявку только написал.

Я пишу тебе и слушаю радио – изумительная программа: Шуберт, Корелли, Витали – а за окошком serene денек, мотаются на ветру ветки и они как-то в ритме музыки мотаются, и мне очень от этого хорошо и уютно. Все-таки я напишу скоро нечто такое, чем



буду страшно доволен. Хотя я тебе, кажется, зря в последнем письме похвалялся: рассказ о Пасхе что-то захряс, покрылся пленкой и я его нащупываю.

От Коринца получил грустное-грустное письмо. Как посмотришь, так мы с тобой счастливые люди!

Все будет хорошо, моя крошка, мой молоточек!

Любишь ли ты меня? А я тебя прямо ужасно и чем далее, тем более – хорошо, что мы с тобой тогда не расстались, а то было бы очень паскудно мне сейчас.

У меня в кремле купола горят,
У меня в кремле колокола звонят...

Это из Цветаевой. Но у меня тоже есть кремль, так вот в нем то же самое (...)

Петрозаводск 15/IX-59
Тамара!

Я получил тогда твое письмо, но нарочно не стал отвечать. Теперь уже прошло много времени, и я хочу тебе сказать: хорошо, что ты тогда ушла на бульваре.

Наши с тобой отношения зашли в тупик, и их следовало, конечно, давно прекратить.

Все, в чем ты меня обвиняешь в письме (и еще больше в душе, наверное) – все это происходило не от моего к тебе равнодушия – ты это должна знать – а из той душевной апатии, которая появилась у меня давно.

Предпринимать что-либо, бороться за что-либо я давно уже не могу. Давно, выражаясь высоким штилем, ладья моя скитается по воле волн (...)

Общение с женщиной в моем теперешнем положении должно доставлять мне радость, ну, если не радость, то легкость во всяком случае. И я не могу, не хочу видеть твоих опущенных губ.

Мне и без тебя слишком паршиво приходится в этой жизни, я и без тебя каждый день снова решаю свои проклятые вопросы – кто я есть на земле. К ним можно относиться по-разному, в зависимости от настроения, от событий и проч., но от них не уйти мне, как бы я порой ни смеялся жестоко над собой и надо всем, связанным со своей деятельностью в лит-ре.

Мне очень тяжело порой, что наши с тобой отношения кончились ничем. Виною этому не я. Ты застала меня уже в трансе, уже таким, каков я сейчас, и в самом начале тебе надо было думать о себе и обо мне. Я тебя не обманывал. Твое все увеличивающееся недовольство мной, моим поведением мне всегда было тяжело, наверное, я все-таки не то, что нужно обыкновенной земной женщине. Согласись, что такие слова, как Мессия, стра-

далец, отщепенец, поэт и т.д. хороши только издали и мало кому нужны вблизи.

Так вот, не хочется, чтобы ты верила, надеялась на мое «исправление». Я не исправим. Наверное, я буду становиться все хуже и хуже. Я стал пить, чего раньше не было. Я отбился почти от дому, и путь мой, дорога моя становится для меня крестом, а писательство – голгофой. Я мрачен, ленив, скучен, неинтересен и брюзглив. А скучать и томиться лучше в одиночку(...)

Койда 26/VII-60
Милая моя!

Я опять на Севере, добрался на этот раз почти до Полярного круга и можешь представить мое удовольствие, когда, перелистывая в северной избе «Смену», я наткнулся на тебя.

Господи, какая ты интересенькая! Чай, тебе теперь письма шлют солдаты и матросы.

Стихи приятные, особенно про сына и мать. Только куры не «верещат». Не то слово. Ты, что, кур не слышала?

А в общем, очень это славно, только постарайся не пропадать со страниц журналов.

Большой тебе привет от Коринца, он со мной.

На Севере все время жарко, только дня три-четыре было холодно. Мы в Архангельске купались днем и ночью. В полпервого ночи – представляешь?

Ну будь здорова, привет твоим. Проболтаюсь тут, верно, до конца августа.

Твой Юрий.

Письмо-телеграмма из Тарусы 23/III-62

Поздравляю днем рождения ты теперь совсем большая и хорошая даже удивительно расти еще и будь здорова – Юрий

Милая Тамара!

Получил я твое письмо дня два назад (жена привезла) и, к сожалению, ничего не слышал, конечно. Я ведь обитаю в Тарусе.

Но все равно рад за тебя и поздравляю!

Как твои дела вообще? Как дочка?

Я летом работал, да мало – соблазнов было много: байдарка, мотоцикл, грибы, земляника, купания, рыбалка... Никогда не буду больше работать летом, все равно плохо получается.

Встретил я как-то летом Федю С., жалок он был, как и всегда. И С-ка видел...



Почему это наш курс весь такой бездарный? Из тридцати с лишком человек только трое-четверо болтают в лит-ре, печатаются, остальные же канули в Лету в тот самый момент, когда потной от счастья и надежд рукой получали диплом об окончании Литинститута (...)

21 сент. 1966.

Книжку, если не достала, подарю, так и быть. Да ведь тебе не интересно, там все старое. Не нравится она мне (т.е. рассказы), чего ее так хватили в Москве? Фиг их знает.

Дорогая Тамара!

Ну как, насладились ли ты белыми ночами и встречами с Юшковым? Обязалась ли ты отобразить в своих стихах величие Сыктывкара, в котором герой Голявкина, пятилетний мальчик, подметал пристани? Он их подметал так быстро, что скоро ему стало нечего подметать. Тогда для него принялись строить новые пристани, но он успевал подмести их прежде, чем их построят. Он подметал еще пристани, которые были в проекте, а также те, которых в проекте не было. И его дядя, узнав об успехах племянника, воскликнул с гордостью: «Молодец! Пробился в люди!»

Нагляделась ли ты на строительство? Так же там строят, как в твоих Текстильщиках, или лучше?

Был у меня в Казахстане принципиальный разговор с В.Кожевниковым. Он ехал в Караганду любоваться разными промкомбинатами и хотел, чтобы и я, дабы не отстать от НТР, тоже поехал бы в Караганду. А я ему сказал: уж ежели мне так припрет, то я за пятак поеду на завод Лихачева и наслажусь там НТР, а здесь, сказал я, желаю смотреть на овечек и пастись вместе с ними на джайляу. (Что я и делал с удовольствием!)

Тамара! Не покупай дачу – даже если твой муж, Павел, напишет сценарий, за который огребет большие тысячи! Все лето я ремонтирую свои дома, и конца этому не предвидится. И не поехал я из-за этого никуда, как предполагал, и все накрылось, уж августу крышка и температура по ночам – семь градусов (не минус семь, а плюс, а минус в строке – это просто тире, ясно?). И все лето ничего не пишу, все мои гениальные произведения

валяются незаконченными, бумага выцветает, строчки пылятся (...)

Слушай, приехала бы ты ко мне! Хотя в следующую субботу. Я по субботам топлю баню и не работаю. Созвонись с Цыбиным и с кем там еще? И валяйте. Ехать надо до станции пятьдесят пять километров. Со станции налево. Ну, а адрес ты мой знаешь: Академ. поселок, 43. Найдешь! Или одна приезжай, а то, черт побери, редко мы видимся. А это чревато. Это может кончиться тем, что видать друг друга мы будем только в гробу. Ясно? (...)

22 авг. 74

Дорогая Тамара!

Как жизнь? Что-то тебя редко стало видно на страницах нашей славной печати. В чем дело?

Я наконец-то стал расквашиваться. Давай соревноваться – кто больше напишет, а?

Сию в Абрамцеве, мать в Москве, и я последнее время вовсе один. И даже не скучаю, представь себе! День и ночь переворачиваю так и сяк свои рассказы.

Был в Новгороде – полный восторг, я бы там подольше пожил да к первому сентября надо было Алешку в первый класс провожать.

Речи были, и духовой оркестр играл, и почему-то марш, похожий на марши, которыми провожали на фронт. Мы все даже прослезились (...)

19 дек. 75

11-я ул. Текстильщиков... Ах, ах! А хорош был адрес: ул. Горького! Дом забыл, а кв. № 24 – помню! Лифт помню, подъезд... Помнишь, ночью на бульваре таксист присел к нам на лавочку и сказал мне: «Пинжак будешь, если такую бросишь!» И телефон: 69-50-14, не вру?

Милая, милая Тамара!

Поздравляю тебя с днем рождения и не вижу тебя теперешнюю, а вижу в панамке с пепельными косами, с удивительными синими глазами, какой я тебя запомнил на всю жизнь с лета пятьдесят четвертого года. Обнимаю. Целую ручку. Всегда твой Ю. Казаков.

22 марта 1978.

«...Теплится во мне всегда Ваш огонек – как свечечка с рождественской елки»

Ариадна ЭФРОН

Есть в истории русской литературы имя, известное сегодня лишь узкому кругу творческой интеллигенции – Михаил Мелентьев. И имя это связано в умах и сердцах прежде всего с «русским Барбизоном» – Тарусой.

...Родиной Михаила Михайловича Мелентьева*, врача от Бога, тонкого ценителя музыки, коллекционера, оставившего в дар своему родному городу замечательное собрание произведений искусства; человека, обладавшего удивительным даром творить добро, был провинциальный городок Острогжск Воронежской губернии.

Выходец из небогатой купеческой семьи, он ценной отказ от своей доли наследства получает возможность закончить образование на медицинском факультете Московского университета. После учебы отбывает воинскую повинность в днепровском пехотном полку, офицеры которого послужили в свое время прототипами героев «Поединка» Александра Куприна.

С начала Первой мировой войны Михаил Мелентьев – морской врач в Кронштадтском военно-морском госпитале...

Уже после революции, в период относительной нэповской «оттепели» он приезжает в подмосковное Алабино, где продолжает в местной больнице с близкими ему по нравственному складу и судьбе людьми традиции земских врачей. В начале тридцатых в связи с «делом» четырнадцати врачей во главе с личным врачом Максима Горького Никитиным, он был арестован. После семимесячного заключения в Бутырской тюрьме получает приговор: высылка на три года свободнопоселенцем в Медвежью Гору, на этот своеобразный остров «архипелага ГУЛаг», где «умелой рукой» было собрано немало талантливых и творческих людей, брошенных на строительство Беломоро-Балтийского канала.

Получив свободу, в марте тридцать шестого года возвращается в Москву.

Великая Отечественная война стала одним из самых насыщенных событиями и встречами периодов био-

графии Михаила Мелентьева. «Эти четыре года жизни уложились в один полновесный том его четырехтомных машинописных воспоминаний, составляющих внушительную повесть о жизни в тылу, о мере отчаяния, борьбы и надежд, которыми жили простые люди и отечественная интеллигенция», – пишет биограф писателя Евгений Вильк.

В сорок третьем году, ненадолго вернувшись из эвакуации в столицу, он уезжает во Владимир, где до конца войны возглавляет обе городские больницы. Там во Владимире он узнал, что в Тарусе продается дом. Покупка его вместе с сестрой Анной положила начало целому, почти двадцатилетнему периоду, уже навсегда связавшего его с благословенным краем.

«Мую повесть о Тарусе я начну словами: «Прочь, малодушничанье! Уважение к самому себе! Все прочее не стоит тени дыма, если тебе удалось избежать болезни и нищеты. А чтобы их избежать, – нужны труд и работа.

Первого июня сорок шестого года моего заезда в Москву из Владимира по дороге в Тарусу с нетерпением ждали на Вспольном. Захватив там Саввича и Марианну, и еще подгрузив машину, мы с самым радужным настроением двинулись в путь.

Дорога до Серпухова по прекрасному шоссе шла весело. В Серпухове на наши расспросы, где лежит дорога на Тарусу, нас направили на станцию Тарусскую. Правда, мы скоро спохватились, но время шло, уже темнело, и мы по дороге к Дракино, уже ночью, пали духом, нам показалось, что мы опять заблудились, и Саввич пошел искать ближайшее жилье. Скоро он вернулся. Оказалось, едем правильно, двинулись дальше, переехали Протву и покатали по тарусскому шоссе, принимая по дороге чуть не каждую деревню за Тарусу. И до чего же далека она нам показалась! И с каким ужасом начал я думать: куда же это я забираюсь! И как же это я буду жить в такой глуши!

Во втором часу ночи подъехали к дому. Дом в глубине усадьбы. Калитка закрыта. Стали стучать и стучали

* М. М. Мелентьев (1882–1967). Книга о Володе / Предисл. Е. Вилька. – СПб. Всероссийский музей А. С. Пушкина; СПб. обществ. фонд Культуры; Изд-во «Серебряные ряды», 2001. Мой час и мое время. Книга воспоминаний. Предисловие Е. Вилька. Издательский дом «Ювента», СПб, 2001.



очень долго. Наконец, вошли на усадьбу. Громадные цветущие куста сирени. Масса зелени. Ароматный воздух. Большая открытая терраса.

Вошли в дом. Вонь, беспорядок, грязь. Обитатели – кошка, собака и старая дева. Оглянулся я, где бы и как прилечь и ...не решился. Подошел к окнам, выставил одну, вторую зимние рамы. Распахнул окно. Положил спинку привезенного с собой дивана на табуреты и прилег на нее.

Во вторую половину наступившего дня машина, а с нею и Саввич, уехали обратно. Остались мы с Марианной. А у меня одно чувство: «Что я наделал, что я наделал!» И казалось, вот ушла машина, и со всем миром порвалась всякая связь...

Но дело сделано... Прочь малодушничанье... Надо разбирать вещи, надо устраивать дом... И я принялся за это»...

Таруса. Дом М. М. Мелентьева. Пушкинская, 1.
Рисунок неизвестного.



Из воспоминаний Анны Михайловны Долгополовой, сестры Мелентьева:

«Таруса – маленький городок, но очень живописно расположенный среди зелени садов и леса. Расположен он в котловане, а кругом его холмы, покрытые лесом. Благодаря пересеченной местности, всюду чудесные дали. Широкая, многоводная река Ока протекает тут же в самом городе, оживляет картину и придает ей колорит света, прозрачного воздуха и свежести.

Таруса знакома художникам, находившим здесь богатый материал для своих работ – в Третьяковской галерее я знаю много картин, написанных в Тарусе. Летом сюда устремляются дачники – любители природы. Имеют здесь свои дачи известные художники, как то Ватагин,



Крымов, Григорьев и другие. Все они пишут пейзажи, представляют их на выставках, отображая красоты Тарусы...

...Миша в Тарусе устроился на работу в больницу врачом и несколько лет проработал там, но должен был свою работу оставить ввиду того, что местные власти не давали ему работать так, как ему хотелось. Перейдя на частную практику, он занялся садом, огородом, цветами и из маленького участка земли сумел сделать рай, который стал привлекать массу знакомых и друзей, начавших посещать его.

Участочек и дом в Тарусе были куплены у артистки Смирновой, живущей там много лет со своим другом Софьей Владимировной Герье, дочерью профессора Владимира Ивановича Герье, основателя Высших женских курсов в Москве. Так странно вдруг сталкивает судьба людей. Когда-то в Острогжске, после окончания гимназии все мои помыслы, все желания были направлены на эти курсы, правда, тогда это было единственное учебное заведение, где женщины могли получить высшее образование, но чтобы я могла мечтать о том, что близко столкнусь здесь, в Тарусе, с дочерью Владимира Ивановича Герье, — этому бы я никогда не поверила.

Мы встретились с ней в первое же лето, как я приехала в Тарусу. Я волновалась. Я много слышала о ней, как о представительнице теософского общества, человека большой культуры, большого образования, окруженного почетом и уважением. Действительно, меня поразил даже внешний облик этого человека, столько в нем было обаяния, внутренней подобранности, красоты...

...Вспоминая эти годы, я с трудом разбираюсь в том, что так крепко соединило нас. Человек, стоящий высоко на пьедестале, привыкший к поклонению, вдруг спустился с этого пьедестала и потянулся на простую ласку, на простое тепло, отдался ему всецело и так раскрылся душевно, как никогда нельзя было себе и представить. Живя со мной в одной комнате, она проявляла массу заботы, ласки, тепла.

<...> Разговаривая со мной перед отъездом в Москву, она мне сказала: «Здесь, в Тарусе, я растворилась в природе, я многое поняла, многому научилась и завершила круг своих понятий о людях. Многому, очень многому я научилась у Вас».

Через два дня ее не стало...

Каждый год тарусский дом Михаила Мелентьева гостеприимно распахивал свои двери для гостей: музыканты К.Н. Игумнов и Н.И. Голубовская, художники Н.В. Крандиевская-Файдыш, А.В. Григорьев, Зоя Сах-

новская, Е.В. Поленова-Сахарова, писатели Ю. Казаков, С. Федорченко, сестра Марины Цветаевой Валерия, дочь философа В.В. Розанова Татьяна, мемуарист, известный в прошлом политический деятель В. В. Шульгин и много других по своему интересным людей.

В полуголодной и разоренной послевоенной стране дом Мелентьева давал уют и вдохновение многим и многим остро нуждавшимся в этом людям.

<...> «Репутация приобретенного мною дома в Тарусе была высока. Прежние его владельцы — Софья Владимировна Герье и артистка московского Малого театра Надежда Александровна Смирнова — для Тарусы были «белыми воронами». Общество около них собиралось отборное. Кроме того, их дом был центром теософического общества, куда паломничали из многих мест. И вот случилось так, что бывшие в доме раньше пришли к нам и как-то само собой стало, что Поленовы, Крандиевские, Федорченко, Цветаева, Снегирева и другие стали нашими или добрыми друзьями или знакомыми».

В «Синей книге»* — домашнем альбоме, сохранились теплые слова, посвященные дому и его хозяину.

«На майские праздники приехали ко мне в Тарусу Толстые — Сергей Сергеевич с женой Верой Хрисанфовной. В Москве мы встречались неоднократно, я бывал у них в свой каждый проезд. Он — профессор английского языка в Институте международных отношений. Она — переводчик. Это очень милая и дружная пара. Религиозная, скромная, не совсем обычная в общем понимании этого слова.

Их записи у меня в тетради для посетителей отражают их очень ярко. Сергей Сергеевич размашистым, порывистым почерком написал:

«Чего хочет сердце человеческое? Оно хочет прежде всего тепла, и ласки. Трудно представить себе большее тепло и большую ласку, чем которые дает Михаил Михайлович.

Чего хочет душа человеческая? В наше время душа человеческая, может быть, хочет больше всего — покоя, отдыха...

Чего жаждет ум человеческий? Он жаждет больше всего умной, сочувственной беседы, беседы с таким собеседником, который и слушает, и сам говорит...

Я не заканчиваю вопросы ответами — это неумеренный панегирик мне. В один из вечеров Сергей Сергеевич, по нашей просьбе, рассказал, что помнил о своем великом деду — Льве Толстом...»

* «Синяя книга» хранится у внучатой племянницы М.М. Марьяны (Марианны) Александровны Осиновой на юго-западе Москвы. — Ред.



Рассказывает Ирина Владимировна Долгополова, племянница Михаила Мелентьева:

«Был у него удивительный дар, дар общения с людьми, независимо от того рафинированный ли это интеллигент или мужичок из деревни около Тарусы, приехавший на базар продать поросенка или курицу; или озлобившийся до предела человек, или человек, решивший умереть, потерявший веру в свои силы... Михаил Михайлович всегда выходил из этих бесед с глазу на глаз по-

бедителем. Люди уходили от него улыбаясь, говоря при этом, что очень любят его».

Такой же любовью и доверием проникнуты письма к Мелентьеву дочери Марины Цветаевой Ариадны, для которой Таруса стала долгожданным прибежищем после многих лет тягот и скитаний.

Приводим их полностью*.

Татьяна ЖИЛКИНА

Письма Ариадны Эфрон Михаилу Мелентьеву

13 апреля 1963 г.

Из Москвы.

Христос Воскресе, дорогой Михаил Михайлович, поздравляю Вас и Анну Михайловну с самым чудесным праздником года – каждого года! Посылаю Вам римскую церковку – правда, красавица? Знаете ли Вы, что в Страстную пятницу все колокола католических церквей улетают в Рим, на поклон к Папе, и, возвращаясь в ночь с субботы на воскресенье, рассыпают над каждым домом, где живут дети, сахарные яйца, шоколадные колокольчики?

В нашей Тарусе ожидается наводнение все-ррез, и прибрежным жителям велено быть готовым к «эвакуации». И мы с Вами не увидим эту Венецию – хотя веселого мало... До скорой весенней встречи! Доброго Вам здоровья и всего самого хорошего!

Ваша А. Э.

21 мая 1964 г.

Из Тарусы – в Тарусу.

Милый Михаил Михайлович, на этой неделе я заканчиваю одну работу, т. е. на той буду свободна /что редко случается, самой не верится!/ и обязательно перемахну через овраг и приду к Вам – очень по Вас соскучилась. Надеюсь, что чувствуете себя неплохо, несмотря на холода, которым только соловьи мужественно противостоят! У нас только красные тюльпаны да анютины глазки распустились, все остальное сжалось и спряталось. Как хочется тепла! Всем-всем-всем и себе самой. Обнимаю Вас, до скорого свидания.

Ваша А. Э.

29 декабря 1964 г.

Из Москвы.

Дорогой Михаил Михайлович! Поздравляю Вас и Анну Михайловну с Новым /новым/ годом, а потом еще поздравляю со старым /новым/ годом – чтобы крепче были мои пожелания Вам доброго здоровья, мира, музыки и всяческой гармонии в жизни...

Мы нынче из Тарусы выбрались поздно, переболели обе, и все еще никак не налажу свою «столичную» жизнь и не распакую чемоданы ... все равно скоро их запаковывать! Кое-кто из знакомых едет встречать новый год в Тарусе; что до меня, то меньше интересуюсь тем, как я его встречу, нежели тем, чем он встретит меня! Дай Бог, чтобы он оказался добрым ко всем нам! Обнимаю Вас; всего самого светлого всем Вашим близким!

Ваша А. Э.

12 января 1965 г.

Из Москвы.

Еще раз с Новым годом, дорогой Михаил Михайлович, со всеми на свете милыми зимними праздниками, которые так напоминают детство! На Рождество была у теток /сестер отца/, за традиционным рожд<ественским> столом – рыбное, кутья, взвар. Зажигали елочку – и радовались все. Были ли на выставке икон в Третьяков<ской> гал<ерее>? Там есть привезенные недавно с Севера. Чудесно. Там же, т. е. в Третьяков<ской> гал<ерее>, продается огромный двухтомник об иконописи и иконах, к сожалению, дорого стоит – десять н. рублей. Тел. у меня есть – АД8-71-66, к сожалению, линия наша настолько перегружена, пользоваться им трудно. Простите за отк рытку – пока соберусь написать «как следует» и праздники пройдут. Время страшно быстро идет, – об-

* Письма из семейного архива передала в журнал «Грани» для публикации М. А. Осипова, за что приносив ей благодарность. – Ред.



гоняет! Всего самого доброго Вам, Анне Михайловне и Вашим воспоминаниям.

Ваша А. Э.

24 апреля 1965 г.

Из Москвы – в Москву.

Милый Михаил Михайлович!

Ваш верный друг и неверный корреспондент поздравляет Вас и Анну Михайловну с праздниками и желает всего самого доброго и светлого. Дни летят в суе и сутолоке, и сил нет. Собираемся в Тарусу мы трое – А. А.¹, кошка и я. Крепко целую, и еще, и еще!

Ваша А. Э.

2 июля 1965 г.

Из Тарусы – в Тарусу.

Дорогой Михаил Михайлович, удивительную книгу написали Вы и удивительно написали. С какой силой! с каким талантом! с какой глубиной! Я просто ошеломлена и руками развожу. Всего, что угодно ожидала от Вас я: интересных воспоминаний, насыщенных людьми и событиями; привлекательных, увлекательных; зорких; умных; все – что хотите – только не вещи, за пояс заткнувшие всех на свете Цвейгов и Маннов, всех мастеров «психологического романа», потому что все то, как бы прекрасно ни было – все равно лишь *литература*, а это – нет. Это действительно – сама жизнь; т. е. то, что сама *никому* не удастся /ни прожить как следует, ни, тем более, воссоздать!/.

Великое чудо любви совершили Вы, воскресив из небытия, вырвав из толщи событий и суе пленительный образ обреченного мальчика, заблудившегося в железобетонных лабиринтах жизни; павшего ангела, в котором ангельская суть всегда сильнее самого падения. Это – «маленький принц» Сент-Экзюпери, «маленький принц», плутовавший по планете «Земля», вернее, по планете «Россия», и улетевший все же на свою далекую, чистую звезду.

Прекрасно написано. Ничего, ни волоска лишнего. Никакого акцента, упора на ужасах и страхах /то, чем грешат и чем обесцениваются почти все воспоминания о «тех временах»/; тем страшнее встает весь фон эпохи.

Очень чистая книга.

Какие письма, Господи, какие письма!

Володя: слабый, имеющий опоры лишь во вне, но не внутри себя, не знающий сегодня, что сделает завтра, предающий вечное – мимолетному, увлекающийся, но равнодушный, постоянно бегущий от самого себя, кочующий по душам, как по неживым простран-

ствам, младенчески эгоистичный, /ибо истинный эгоизм – жизнеспособен/, постоянно оступающий влюбое болото – и у всего этого – ангельские крылья! и во всем этом – кротость, чистота, детскость! Да, воистину, *ангел* посетил Вашу жизнь, дорогой мой Михаил Михайлович, и дал Вам великое счастье и великую муку бороться за него со всеми демонами и духами зла – и победить; ибо на далекую и чистую звезду ушел от Вас «маленький принц», и душу его Вы отстояли...

Ангел стучал в Вашу дверь, в Ваше окошко – знакомым стуком, от которого – озноб по сердцу. И дверь Ваша всегда была открыта для всех его бед и отчаяний.

Не примите мой лепет за какую-нибудь дамскую экзальтированность, нет, я этого лишена начисто; я просто благодарна Вам, помимо всего прочего, что Вы напомнили мне о душе человеческой. Я стала о ней забывать, и, по большой внутренней усталости, скользить по поверхности планеты «Земля» и планеты «Россия» – и планеты «Человек»...

Обнимаю Вас. Спасибо Вам.

Ваша А. Э.

25 июня 1965 г.

Очевидно, из Красноярска.

Дорогой Михаил Михайлович! Сибирь, когда не насильственна и не за казенный счет – красавица несканная. Слов нет, чтобы описать все разнообразие, всю баснословность – природы, а также «человеков». Встреча «однополчан» была трогательной и – без надрыва. Дожившие и пережившие постарались еще раз пустить корни; с первого взгляда, кажется, что это им удалось.

Живуч человек! – Красноярск не узнать; в недавнем прошлом это был мрачнейший и уголовнейший город; уголовщину порасчистили, город облагородили и, главное, озеленили. Цветники вдоль всех улиц; тополя, акации; сохранен большой кусок нетронутой тайги /в самом центре города/, превращен в парк-заповедник. Новостройки здесь радуют не только разум, но и глаз: «старина», которую они сменяют, не заслуживала доброго слова... Как красив Енисей! Но красота красотой, а рыбы нет и здесь. Город окружен высокими горами; правда, снега на них уже не застали, он тает в июне... но м.б. со снегом и льдами встретимся поближе к Ледовитому океану. Лето здесь жаркое. Сегодня вечером садимся на теплоход и отбываем туда, туда, на Север. Обнимаю Вас; Ада Александровна шлет привет. Сердечный привет Анне Михайловне.

Ваша А. Э.

¹ Ада Александровна Федерольф. Автор книги «Рядом с Алей». – *Ред.*



27 декабря 1965 г.

Из Москвы – в Москву.

С Новым годом, дорогой Михаил Михайлович! Пусть он будет добрым ко всем нам – и мирным – пусть радует и не огорчает! Желаю Вам и Анне Михайловне в первую очередь *доброе здоровья!* И всего светлого и хорошего вашей семье. Мы совсем недавно *выдрались* из карантинной Тарусы. Очень трудно были доказать, что мы не только не верблюды, но и не коровы...

Мамина книга вышла. Если удастся достать – пришлю непременно. Всего самого доброго!

Ваша А. Э.

8 января 1966 г.

Дорогой Михаил Михайлович, с особым чувством отвечаю на Ваше письмо в милые рождественские дни – и за окном снежок как в детстве, и уютное снежное небо. Мало, мало, редко, редко видимся мы с Вами, милый мой доктор, а все равно теплится во мне всегда Ваш огонек – как свечечка с рождественской елки, или еще вернее – с чистого четверга, которую /свечку, огонек ее/ и ветер милует, не задувает. Я часто о Вас думаю, часто вспоминаю поразительную Вашу книгу о сыне – лучшее из всего самого лучшего прочитанного и перечитанного за многие, многие годы жизни. И мало сказать «думаю и вспоминаю» – не то; а *то* – именно зажегшийся во мне самой в глубине, зачастую так плохо, скудно освещенной души моей, Ваш огонек.

Да, ужасно жаль наших Валерию¹ и Сергея Иасоновича², и страшно за них – за ее нестигаемость и жестокость, за его кротость и смирение, да чего там – за их жизни. С Сергеем Иасоновичем этого всего могло бы не случиться, если бы не дурацкий карантин, не менее дурацкие «порядки» и навалившиеся из-за них тревожения; ведь каждый божий день он, терпеливый учтивый Сергей Иасонович ходил по всем инстанциям хлопотать о выезде, о машине; вежливо упрасивал «начальство» войти в их с Валерией Ивановной положение; и все без толку; предлагали им /как и нам/ ехать автобусом на Калугу, оттуда – до Калуги-второй, оттуда поездом до Москвы; Валерия нервничала, тревожился и он сам; а в такие годы – какие тревоги, да еще по столь нелепому поводу допустимы? Кончилось тем, что возвращаясь по ужасающему гололеду из «города» он упал и ударился головой; встал, дошел до дома; почувствовал себя плохо. Валерия Ивановна решила, что ... грипп! Сергей Иасонович стал загова-

риваться; все равно – грипп. Просились оба в больницу – взяли только ее; через двое суток вернулись домой – тогда только дали разрешение на выезд.

Здесь, в Москве, Сергея Иасоновича приняли за «хроника» и поэтому не госпитализировали; слишком поздно определили, что было /очевидно, вследствие падения/ небольшое кровоизлияние; а о падении и о том, что ударился – они попросту *забыли!* Вот и госпитализировали его слишком поздно, боюсь... А главное, что никакой настоящей мед<ицинской> помощи не оказали с самого начала, уж коли диагноз был неправильным. В истоках же всего – карантинные тревоги, беготня, падение...

А если глубже взять – все то же равнодушие людей к людям, в данном случае – «начальства» к старикам; не только могли, но обязаны были дать машину людям в таком положении и такого возраста...

Мы с Адой Александровной также с *громадным* трудом и тревожениями вырвались из Тарусы; выехали буквально чуть живехоньки. Я, как заболела вернувшись с Севера, так и по сей день болею; какие-то пугающие «опоясывающие» боли; то ли желудок, то ли печень – что-то, что прежде никогда не давало себя знать; мало, что могу есть; сбросила килограммов десять-пятнадцать «живого веса». Все это не очень вдохновляет. Еще менее того вдохновляют «направления», данные литфондовскими врачами на всякие, весьма прозрачные, исследования и рентгены.

Все никак не соберусь с духом: прожито немало, а сделано почти ничего – из того, что могу и могла сделать только я; все разменивалась на второстепенности. – Ну, что Бог даст, простите за такое не-рождественское письмо! Все-таки елочка у меня стоит, и все-таки я ужасно беспечна; чуть полегче я и рада, и верю во все самое лучшее!

Обнимаю Вас, дорогой Михаил Михайлович! Сердечный привет Анне Михайловне и всем близким, особенно юному Осипову.

Ваша А. Э.

7 апреля 1966 г.

Христос Воскресе, дорогой друг Михаил Михайлович! Трижды целую Вас и Анну Михайловну, поздравляю всех Ваших близких с самым светлым, глубоким и высоким праздником в году – и в жизни.

Всегда Вас люблю, Вас помню, с Вами говорю и слушаю Вас – во все более трудных днях, во все ускоряю-

¹ Валерия Ивановна Цветаева – сводная сестра Марины и Анастасии. – *Ред.*

² Сергей Иасонович Швелягин – ее муж. – *Ред.*



щемся беге времени, за которым не поспеваю. Очевидно, жизнь – только скопище обязанностей. Конечно же – невыполнимых, ибо имя им легион, а жизнь – коротка.

Что еще сказать? Что Вы, как ни странно, м. б. это прозвучит – оказались мне большой радостью в этой самой запыхавшейся жизни. Потому что Вы сумели не только пережить такую жизнь, но и написать такую книгу. Она всегда со мной. Обнимаю Вас.

Ваша А. Э.

19 апреля 1966 г.

Из Москвы – в Москву.

Милый Михаил Иванович, спасибо Вам за пасхальную весточку. Ужасно огорчена Вашими с Анной Михайловной хворями; я думаю, в них виноваты еще и капризы зимней и весенней погоды, оттепели да морозы, все недомогания потревоженной природы, все ее лихорадки и смены давления; мы не можем не болеть вместе с ней! На меня, например, все это ужасно действует; /и это!/ – так, наверное, на ребенка в чреве матери влияет все, что *она* переживает! А вот лето сулят спокойное и урожайное. Дай Бог! И пусть поделится с нами главным образом *покоем* и равновесием.

Ада Александровна на днях ездила в Тарусу – «открывать розы», что, конечно, надо было сделать намного раньше, но не было ни времени, ни сил – сверх всего расхворались обе мои любимые тетки – папины сестры и мы на части разрывались, всюду поспевая; ну, конечно, розы не вытерпели такого отношения. Может быть еще и очухаются кое-какие. Так вот, там уже настоящая весна, цветут синенькие подснежники /и даже некоторые анютины/ в саду, и выглянул салат, посеянный под зиму, и сирень полна цветочных почек, и листики развертываются на глазах, и автобусы ходят посуху, и с восьмого апреля – регулярное сообщение катерами, и в магазинах «всего полно». Старожилы сулят, правда, еще рецидив морозов; ну, там видно будет!

Мы с Адой Александровной собираемся в Тарусу в десятых-пятнадцатых числах мая, до этого надо расправиться со всеми делами и делишками; впрочем, и так не расправиться! Как всегда трудны сборы и разборки: почему это «на склоне лет» так обрастаешь вещами и обязанностями? Все время что-то надо делать – и что-то перетаскивать с места место! Какая-то муравьиная жизнь...

Слышала, что будто бы Валерии Ивановне обещана персональная пенсия, но никак не могу поймать по тел. ее <...>.

Старик-сторож Валериной латифундии прибегал к Аде с письмом, полученным от Валерии и спрашивал: «как понять»? В письме было сказано, что она приедет

в апреле и надо будет ремонтировать дом и устраивать парники; что очень рада, что кошки ее живы, но что жаль ... что нет больше Сергея Иасоновича. Вот старик и не знает: является ли это распоряжением красить и белить, да ладить парники, или только мечты? А пока что бойко торгует всякими Валериными насаждениями – всякими корневищами и т. д. и хвастается тем, что получает от нее за верную службу два рубля в день...

Где бывшие *русские люди*? Только в книгах, да в сомневающейся памяти человеческой...

Мне тоже очень хочется на волю, на воздух; отдохнуть, отдышаться...

Ну, дай Бог! Пусть все будет хорошо! И – до скорой встречи в волшебном Вашем саду, в волшебном доме...

Обнимаю Вас, дорогой друг души моей. Будьте здоровы!

Сердечный привет и самые добрые пожелания Анне Михайловне.

Ваша А. Э.

28 декабря 1966 г.

С Новым годом, дорогие Михаил Михайлович и Анна Михайловна!

Пусть он будет *мирным* и – добрым ко всем нам!

Желаю вам здоровья, радостей побольше и – спокойного сердца.

Я все работаю и работаю, все стараюсь и стараюсь, но не очень-то получается: всего две руки, четверть головы и столько обязанностей, трудностей, необходимостей...

Дай Вам Бог всего хорошего!

Ваша А. С. – и А. А.

27. 04.67 г. /по почтовому штемпелю/.

Христос Воскресе, дорогой Михаил Михайлович! С самым светлым днем в году! Дай Бог Вам поправиться покрепче; и поскорее – в Тарусу, в весну, каждый год чудесную и новую!

Зима прошла в бесконечных делах и обязанностях /она прошла, а они – остались/ и за всеми срочными второстепенностями все время упускаешь *главное*. А вообще-то – все слава Богу.

Ада Александровна ездила с приятельницей в Самарканд и Бухару; говорит – красиво, но чуждо. Я, естественно, никуда не ездила, и, кажется, почти не вставала из-за письменного стола; а толку от этого сидения – чуть... Самый сердечный привет и поздравления Анне Михайловне от нас обеих. Целую трижды!

Ваша А. С.

Михаил Михайлович Мелентьев скончался 22 сентября 1967 года...



Из воспоминаний друзей семьи М. М. Мелентьева:

Для меня и моей жены, поэта Ларисы Миллер, Таруса связана, прежде всего, с именами наших близких друзей: Марьяны (Марианны) Осиповой и ее мужа, писателя Саши Фихмана*, а позднее и их сына Максима.

У Марьяны в Тарусе был «фамильный» дом на Пушкинской улице, который купил в сорок шестом году ее двоюродный дед, брат бабушки со стороны матери Михаил Михайлович Мелентьев, поскольку «101 километр» был ему тогда «угоден».

Подобно Дому Максимилиана Волошина в Коктебеле, тарусский дом врача Мелентьева стал своего рода культурным и духовным оазисом. Об этом подробно рассказано в его книге «Мой час и мое время», изданной в две тысячи первом году в Санкт-Петербурге по инициативе Пушкинского Дома.

...Марьяна и Саша, унаследовав дом деда, сохранили его гостеприимный дух. Но в семьдесят втором году, по распоряжению властей, дом снесли, на его месте построив детский сад. Совершенно очевидно, что другого места не нашли для новой стройки не случайно. Марьяна и Саша дружили с Анатолием Марченко и Ларисой Богораз, которые за год до этого события поселились в Тарусе. Марченко после лагеря находился там, за «101 километром» под гласным административным надзором, что отнюдь, впрочем, не мешало нашим друзьям с ним постоянно общаться. Дружили они и с Гинзбургами – Аликом и Ариной, которые тоже поселились в тех краях после освобождения Алика из заключения. Напомню, что вместе с Юрием Галансковым, Алексеем Добровольским и Верой Лашковой он был судим за «антисоветскую агитацию и пропаганду» и приговорен к пяти годам лишения свободы...

Анатолий Якобсон с женой Майей и сыном Сашей жили в этом доме у Фихманов-Осиповых целое лето. Марьяна Александровна помнит до сей поры, что пребывание этой семьи в их доме сопровождалось ежедневным чтением стихов, которых Толя знал во множестве...

Вот как вспоминала Юна Вертман то лето:

«В августе семидесятого мы жили вместе в Тарусе. Я снимала комнату неподалеку от дома, где у друзей го-

стили Толя с сыном. Как-то раз друзья эти – Саша, Марьяна и их сын Максим пригласили Саньку прокатиться по Оке на лодке под парусом. Толя долго взволнованно убеждал всех: «Он не хочет! Он же не хочет!». Но Санька отчаянно запросился – пришлось отпустить.

Вверх по течению шли, кажется, на моторе, а вниз – под парусом. А мы с Толей и собакой Томом прогуливались рядом по дивной пешеходной тропе к Велигожу и обратно, по противоположному по отношению к Тарусе берегу Оки.

Возвращались вечером, в сумерках; парус различить было уже трудно. Разговаривали. И вдруг с другого берега до нас донесся Санькин голос. Санька звал: «Папа! Папа!» – «Я здесь, сынок!» – дико закричал Толя, бросился сверху к воде и заметался вдоль берега: плавал он очень плохо, да и вообще переплыть трудно, и Том зала-ял и лалял, не переставая, так что невозможно было слышать, что дальше кричал Саня.

На счастье, неподалеку кто-то рыбачил. Толя с собакой влезли в лодку, обо мне он забыл напрочь. И смех, и грех. Темно уже, одиноко. Никуда бы я, конечно, не делась, понимала, что за мной приплывут и переправят, но все-таки...

А Санька хотел сообщить нам, что лодку ставят на стояночку и дальше идут пешком, потому что темно: чтобы мы больше не старались разглядеть парус. Толе же померещилось, что тонущий сын зовет на помощь...»

...Через год после сноса дома Мелентьева повторилось то же самое и с домом Марченко-Богораз. Утешает лишь то, что сын Марьяны и Саши Максим, тоже как и прадед, врач, уже в новую эпоху вернул семью в Тарусу, построив там дом.

Летом семьдесят первого года мы проводили у друзей в Тарусе свой отпуск с трехлетним сыном. Тогда же Ларисе предложили почитать стихи в доме Николая Давидовича Оттена и Елены Михайловны Голышевой. Был с нами в тот вечер и Николай Васильевич Панченко, дружба с которым сохранилась на долгие годы...

Борис АЛЫГШУЛЕР

* Александр Марьянин, писатель. (1930–1991) – *Ред.*

** «Странички о Толе» впервые напечатаны в сборнике: Анатолий Якобсон. «Почва и судьба». Вильнюс-Москва. Изд-во «Весть». 1992.

«...Таруса – этот маленький провинциальный городок – олицетворял для него Россию»

О знакомстве с замечательной семьей Поленова¹ мой дед Леонид Васильевич Кандауров² писал в своих воспоминаниях:

«Мне выпало на долю счастье познакомиться и войти в семью Василия Дмитриевича в свои восемнадцать лет. Сначала в моей судьбе приняла участие жена художника. В память своего умершего первенца Наталия Васильевна хотела помочь получить высшее образование тому, кто в этом нуждался. По ее мысли, я должен был стать членом их семьи.

Но жил у Поленовых только во время летних каникул. Помощь, оказанная мне, не ограничилась уплатой за обучение, а приняла форму воспитательно-образовательную. Через два года учебы в университете я подружился с Василием Дмитриевичем.

Я был биологом, интересовался медициной... Получив классическое образование в гимназии, вынес интерес к истории, археологии, получил некоторые знания по древним языкам. Василий Дмитриевич делился со мной своими обширными сведениями из области истории, литературы, искусства. Его мировоззрение оказало на меня большое влияние. У художника Поленова было много знакомых и друзей из выдающихся людей, это дало возможность и моего общения с некоторыми из них.

Когда я был уже на третьем курсе университета, мы отмечали юбилей К. А. Тимирязева. Поленов с радостью украсил адрес юбиляра своими рисунками. Возникло знакомство двух талантливых людей.

При переходе на четвертый курс экзаменов не было, и я мог сопровождать художника в его поездке в Египет, Палестину, Сирию. Это было мое первое путешествие с ним. Эта и последующие поездки были для меня ценны тем, что я проводил их в общении с художником, разделял его интересы, узнавал многое из области искусств, знакомился с разными народами.

Поленов хотел видеть меня искусствоведом, предлагал средства на обучение, но условия жизни не позволяли этим воспользоваться».

В девятьсот пятом году Леонид Кандауров за письмо, осуждавшее полицейский школьный режим, был выслан из Москвы без права работать в казенных учебных заведениях.

Через три года он переехал в Тверь, где преподавал в Тверской земской учительской школе им. П. П. Максимовича, а затем в Коммерческом и Общественном реальных училищах и женской гимназии. Девизом Кандаурова было: «Надо научить учиться, а не запоминать». Создал физический кабинет, оснащенный превосходными приборами из Германии, спроектировал астрономическую вышку, изготовил много наглядных пособий, которые реализовал через товарищество «Природа и школа», членом которого был, а также занимался наукой и состоял действительным членом «Объединения русских естествоиспытателей и врачей». Принадлежал к общественно-педагогическому кружку, с помощью которого помогал организовывать в Твери ежегодные художественно-промышленные выставки и любительские спектакли. Картины и этюды Поленова экспонировались на этих выставках в течение четырех лет.

Участвуя в политической жизни города, мой дед был присяжным в суде, секретарем кадетской партии, а в семнадцатом году выбран директором реального училища.

Василий Дмитриевич Поленов к этому времени закончил цикл картин «Из жизни Христа», насчитывавший до шестидесяти работ. «Главный труд моей жизни», – записал он. В девятьсот девятом году состоялись выставки в Санкт-Петербурге, Москве и в других городах России. В следующем году картины экспонировались в Праге, где были сделаны цветные репродукции с пятидесяти четырех картин и составлен альбом.

Художник глубоко изучил Евангельские и апостольские тексты, прошел путь Христа в Палестине и ощутил себя его учеником. Он понимал, что чудеса, творимые Христом, недоступны изображению, и выбрал конкретные сюжеты.

¹ Василий Дмитриевич Поленов (1844–1927) – художник, профессор, академик.

² Леонид Васильевич Кандауров (1877–1962) – биолог, астроном.

³ Дочь художника, Е. В. Сахарова, в монографии об отце записала: «Л. В. Кандауров, человек с большим и разносторонним образованием, был одним из любимых собеседников Поленова, советовавшегося с ним по разным вопросам медицины, философии, искусства и пр. Большая разница лет (тридцать три года!) не мешала их дружественным отношениям». – Т. К. – Ч.



Поленов мечтал помочь народу «удовлетворить высокие потребности человека – потребности духа», где средством считал искусство, а храмами искусства – Церковь, школу и театр. На свои деньги и по своему проекту он построил Церковь в селе Бёхове и школу в селе Страхове, имеющую помещение для театральных постановок. Понимая, что на сцене соединяются в одно целое поэзия, музыка, живопись и пластика, создает народный театр.

В Москве была образована «Секция содействия устройству деревенских и фабричных театров» при Московском обществе Народных Университетов. Председателем выбран Василий Дмитриевич Поленов. Он стал и главным декоратором.

Через три года на свои деньги Поленов покупает в Москве участок земли, где по его проекту и с помощью средств Саввы Морозова построен театральный дом с мастерскими, библиотекой, костюмерными и сценой для показательных спектаклей, названный «Домом имени академика В. Д. Поленова».

Особое отношение было у Поленова к Тарусе. Мне даже кажется, что Таруса – этот маленький провинциальный городок – олицетворял для него Россию. Он мечтал создать там культурный центр с университетом, театром и даже гребным спортом.

Летом тринадцатого года семья Кандауровых отдыхала в этом уютном городке. Были куплены лодки, и все приняли участие в экспедиции по Оке, где капитаном был сам Василий Дмитриевич.

Совместно с художником Татевосянцем они преобразовали в Народный дом здание бывшего соляного амбара постройки XVIII века.

К сожалению, из-за революции работы по расширению бывшего Народного дома в Тарусе прекратились.

Кроме строительства, на которое ушли почти все сбережения художника – а ему уже было семьдесят лет – он занимается подбором репертуара для театра, пишет тексты и музыку к спектаклям, создает декорации и эскизы костюмов. Задачу искусства он видел в передаче красоты человеческой души и окружающей природы, поэтому репертуар состоял из художественных произведений. Декорации, написанные художником, представляли «очаровательные пейзажи», наполненные светом и воздухом.

Василий Дмитриевич создал три спектакля, или три «оперы», как он говорил.

Первая – действительно, опера – «Призраки Эллады» была представлена публике в девятьсот шестом году в Большом зале Консерватории.

«Это был редкий по своей художественности спектакль, это была страничка античного мира, ожившая на

один вечер», – писала критика, отмечая превосходные декорации.

Сюжет второго спектакля «Рейнская легенда» взят из «Легенд Рейна» Балабановой.

Действие происходит в горах Гардта весной одна тысяча сто девяносто четвертого года. Английский король Ричард I («Львиное сердце») возвращается из крестового похода, попадает в плен и заточен в замок Трифельз. Друзья спасают его, среди них историческая личность – трувер Блондель.

Поленова интересовали места, где происходили эти события. Художник с Леонидом Кандауровым посетили город Аннвейлер, расположенный в горах Гардта. Здесь на трех вершинах торжественно расположились остатки замка с квадратной Главной башней. Поленов сделал десять этюдов и набросков. Он радовался как ребенок, что действительность совпала с его представлениями о замке, да и мальчишеский вопрос, кто был заключен в замке, ответил: «Львиное сердце, господин, а освободил его трувер Блондель».

Любимая пьеса Поленова – «Анна Бретонская». Сюжет взят из рассказа детской писательницы Евгении Фoa, обработан на французском языке для сцены Василием Дмитриевичем, затем пьеса им же переведена на русский язык.

Летом одиннадцатого года Поленов и Кандауров, путешествуя по Европе, приехали в город Редон, вблизи которого находилась резиденция герцогов Бретонских – замок Сусиньо. Дед вспоминал:

«Перед нами на берегу океана появился громадный средневековый замок, увитый плющом. Сохранился ров и остатки подъемного моста. Хранитель замка рассказывал о привидениях и ужасах, связанных с прошлой жизнью. Пока Василий Дмитриевич делал этюды, я обошел здание внутри. Жутко было ходить по темным переходам и винтовым лестницам, ведущим в высокие залы и дворики замка».

Впоследствии, по своим этюдам и фотографиям Кандаурова, Поленов написал декорации к спектаклю.

В письмах, которые публикуются ниже, отражены философские и политические взгляды этих двух незаурядных личностей.

В них высказаны мысли о самодержавии, кадетской партии, рассказано о культурной жизни России, которая несмотря на войну шла своим обычным ходом.

Леонид Васильевич Кандауров строил всю свою жизнь в соответствии со взглядами художника Поленова, которые определяются простыми словами: помогать людям и радовать их.



ТАРУССКИЕ СТРАНИЦЫ

Из переписки В. Д. Поленова и Л. В. Кандаурова (1910–1917)

7 марта 1910 г.
г. Москва

Дорогой Леонид!

Я рад послать Вам выставку¹ и буду очень благодарен Константину Васильевичу², если он примет на себя хлопоты по отправке, но не сделать ли выборки, выставить самые выдающиеся вещи? Впрочем, делайте как знаете. Я бы сообщил Константину Васильевичу, но у нас сломан телефон.

Ваш В. Поленов

25 апреля 1910 г.
г. Тверь

Дорогой Василий Дмитриевич, сегодня кончил развеску картин³. Я соблюдал хронологию, насколько позволял интерес картины со стороны освещения. В. Д. Дервиз⁴ уверяет, что Ваши картины нигде так хорошо не были размещены, а он видел в городах С.-Петербурга и в Москве.

Я выбрал самые светлые комнаты № 3, № 4, и только в № 5 несколько темнее, но там все картины в серых печальных тонах. «Возвестила плачущим» висит хорошо, освещена и справа, и слева.

Остальные территории выставки еще ничем не заняты, хотя до открытия остались одни сутки. Пришли вещи из Строгановского училища, кажется, керамика, кружева и еще что-то. Из картин пока я видел лишь Дервиза и его дочери⁵ – акварели и пастели. На открытии предполагаются: великосветский чай, архиерей, губернатор и т. п. Для этого предназначена комната № 1. Дворник земской управы все ходил за мной и говорил: «А ведь хорошо!» Очевидно, Ваши картины доставляли ему полное, трудно определяемое словами наслаждение. Очень ждем альбом и снимки. Приезжайте сами, если ни-

что Вам не помешает. Соберутся ли Наталия Васильевна, Катя, Митя?⁶

Любящий Вас Леонид
(К письму приложена схема развески картин. – Т. К.-Ч.)

Май 1910 г.
г. Москва

Дорогой Леонид!

Сообщите, пожалуйста, Ваши планы. Когда и куда Вы думаете ехать? Мне бы хотелось пуститься в путь не через Варшаву, а через Вержболово. Из Берлина два маршрута: 1) прямо в Киссенген, а потом путешествие, 2) прежде Гарц, Кассель, Вартбург, Ваймер и т. д., а потом Киссенген – минимум три недели. Оттуда Прага, Дрезден или Краков, и вернуться в Борок не позже 20 июля (около 40 дней)⁷. Картины еще не получены.

В. П.

10 ноября 1910 г.
г. Тверь

Дорогой Василий Дмитриевич, я всю осень думал о нашем путешествии и все хотел Вам написать о том, что я отдыхал душевно. Давно уже я не имел возможности быть с Вами и говорить об искусстве. Мне иногда в Твери казалось, что все это в прошлом и никогда не вернется. Наша педагогическая практика так утомительна. Мы все углублены в свои специальности, что теряем облик свободных и разносторонних людей.

Неужели издание в Праге настолько плохо, что Вы с Наталией Васильевной приходите в отчаяние? Если ничего особенного не случится, то я раньше Рождества в Москву не попаду, а хотелось бы посмотреть образцы воспроизведения. Как теперь Ваше здоровье? Я думаю, что желудок, который мы так неудачно лечили ананасами, оставил Вас в покое. Не очень переутомляйтесь работой и не утомляйте глаза. Последние дни мы читаем газеты о Толстом⁸.

¹ Речь идет о цикле картин «Из жизни Христа».

² Константин Васильевич Кандауров (1865–1930) – художник, брат Л. В. Кандаурова.

³ Выставка работ цикла «Из жизни Христа» (56 картин) была организована общественно-педагогическим кружком в помещении Городской думы.

⁴ Владимир Дмитриевич Дервиз – художник, родственник и друг художника В. А. Серова, владелец усадьбы Домотканово Тверской губернии.

⁵ Мария Владимировна Дервиз – художник, жена художника В. А. Фаворского.

⁶ Старшие дети В. Д. Поленова – Митя (1886–1967), Катя (1887–1980), в замужестве Е. В. Сахарова.

⁷ В путешествие Поленов и Кандауров выехали 13 июня, и был выбран первый маршрут. В Киссенгене выяснили, что замок Трифельз находится не в горах Гарца, а в горах Гардта, в Вогезах, около г. Аннвейлер, близ Ландау, за Рейном. В Праге проходила выставка картин «Из жизни Христа», имеет место интересный отзыв в газете «Золотая Прага». Здесь В. Д. Поленов заказал цветные репродукции в количестве пятидесяти четырех номеров, которые составили альбом.

⁸ 7 ноября 1910 года скончался Л. Н. Толстой.



Очень хорошо он кончил свою жизнь. Как поэтически его хоронят. Как было бы ужасно, если бы он убедился, что скрыться нельзя, что люди все-таки найдут, что его попытка трактуется как блажь или реклама.

Мой привет Наталии Васильевне.

Ваш Леонид

Ноябрь 1910 г.
г. Борок

Я часто вспоминаю о нашем чудном путешествии, дорогой Леонид, особенно хорошо после Гейдельберга и кончая Дрезденом, а из этого выделяется Аннвейлер со своим замком на трех скалах.

Издание идет очень неудачно¹. Эти господа издате-ли какие-то невнимательные, они совершенно не видят, что перед их глазами.

Вы пишете, что смерть Толстого поэтична, а для меня это событие глубоко печально. Толстой тут все свои проповеди и заповеди нарушил. Правда, он часто их нарушал, но тут хотелось бы иного.

Говорят, что он в первый день остановки сказал: «Мужик так не умирал». Он, видно, думал, что в остальном он – как мужик, на это можно было бы прибавить, что мужик так не поступает. Когда мужик уходит от мира, он не велит закладывать коляску с Филькой-почтарем впереди, не берет с собой доктора и нужные деньги, а, простившись с семьей, с посохом в руках, с сумой за плечами побирается Христовым именем.

Зачем он так жестоко оскорбил жену, человека, который пожертвовал ему и его исканиям всей своей личной жизнью, который сорок восемь лет неустанно заботился об нем и об изобретаемых им формах жизни – другого примера такой огромной самоотверженной любви я не припоминаю. Зачем он восстановил детей против матери? Зачем он допустил ограниченному резонеру втереться в семью и разбить ее? Толстой не исполнил того, чему учил: неизменность теперешней обстановки и условий, непротивление злу, любовь к людям – все было позабыто. Последние его слова были глубоко несправедливы, как относительно дочери, так и всех, кто об нем заботился. Ведь вся его жизнь за последние сорок лет была поглощением личной жиз-

ни всех его окружающих для его личных переживаний. Кто как не он сам приучил всех близких только и думать об Льве Толстом.

Ваш В. Поленов

21 марта 1911 г.
г. Москва

Дорогой Леонид!

Я послал Вам на выставку² несколько небольших работ, может быть, этого мало, но больших вещей пока у меня нет. Спектакля у нас нынешней весной не будет, но предполагается сделать вечер для детей, в двух отделениях: первое – литературное, где ребяташки с эстрады будут декламировать стихи. Второе – художественно-музыкальное: не то «Сон», не то «Видение» девочки-сиротки или Христовой невесты.

Написано Эллисом³ очень поэтично и мило составлено. Меня приводит в великую радость то, что мои Ольга и Наталья⁴ поют в хоре вещь, о которой я до сих пор как будто не ведаю. Назначено представление на 27 марта, но боюсь, что из-за меня придется отложить. Дело в том, что вот уже восьмая неделя как у меня грипп, бронхит, ларингит, а за последние дни и температура была значительно повышена, и когда вся эта гадость кончится – неизвестно. Я не в состоянии писать декорации. А без них картины будут без соответствующего фона. Но я все-таки надеюсь, что эти бронхиты и ларингиты не навсегда, и я, может быть, выкарабкаюсь и напишу что следует. А пока всем привет.

В. Поленов

8 мая 1911 г.
г. Москва

Дорогой Леонид!

Сейчас уехала Наталия Васильевна в Мариенбад. Распределение остального народа такое: у младших девиц экзамен кончается 20 мая, и желательно уехать 21. Там же, в Борке, я обещал пробыть недели две, а 4–5 июня хотелось бы выехать в Москву, 7–8 – в дальний путь. Самое лучшее было бы и Вам приехать в Борок на несколько дней к нам и вместе пуститься в путь⁵. Вернуться желательно было бы

¹ Речь идет об издании цветных репродукций серии «Из жизни Христа». Художественно-промышленная выставка в Твери.

² Художественно-промышленная выставка в Твери.

³ Эллис – поэт (Л. Л. Поливанов).

⁴ Младшие дочери В. Д. Поленова Ольга (1894–1973), Наталья (1898–1964).

⁵ Путешествие по Европе В. Д. Поленова и Л. В. Кандаурова имело маршрут: Париж – Редон – Сарзо, где находились развалины замка Сусиньо, резиденция герцогов Бретани, далее – Мадрид – Марсель – Италия – Греция. В. Д. Поленов включил в маршрут Бретань, т. к. работал над пьесой «Анна Бретонская», и Грецию с целью создать фрески для музея изящных искусств. В. Д. Поленов за время путешествия написал семьдесят шесть этюдов, Л. В. Кандауров сделал множество фотографий.



ТАРУССКИЕ СТРАНИЦЫ



около двадцатого июля. Напишите, удобно ли вам такое распределение.

Ваш В. Поленов

2 августа 1911 г.

г. Борок

Дорогой Леонид, как то Вы доехали, и в каком состоянии нашли семью?¹ Жду от Вас открыточку. Вы нынче были очень нездоровы в путешествии. Я доехал благополучно.

Смотрел в Брокгаузе относительно Патинира, он, оказывается, основатель Нидерландской ландшафтной школы, сначала был под сильным влиянием братьев Ван-Ейков, а потом выработал самостоятельный род. Его картины находятся в Антверпене, Амстердаме, Лондоне, Вене. Честь Вам и слава за открытие его картины в Прадо².

Колесо, не подчиняющееся всемирному тяготению, или земному притяжению, называется по Брокгаузу гироскопом.

Благодаря Вашему попечению я не только не потерял ножниц, но нашел потерянное и ничего не забыл в пути, только не могу найти красную краску, куда-то засунул. Привет всем.

Ваш В. Поленов

Р. С. Получил от Вас известие, что Вы благополучно доехали и нашли семью в здравии.

8 августа 1911 г.,

г. Борок,

Фотографии получил, много очень удачных, даже Наталье Васильевне понравилось. Некогория удивительно хороша. Удалась также мельница. Редон. собор слаб, но он может быть мне полезен. Всего неудачнее вышло Кастальское ущелье: слишком далеко и ни к чему, моя фигура в прыгающей позе.

Этюдов у меня оказалось 76, и я начал их понемногу реализовывать. Путешествие наше вспоминаю с наслаждением. До свидания, спасибо.

Ваш В. П.

Р. С. Жду Вас осенью, думаю сентябрь пробыть в деревне.

Август 1911 г.,

г. Борок.

Вероятно, ты уже вернулся из путешествия, дорогой друг, и на этот раз оно не вполне удалось, так как большую часть пути ты хворал. Как ты теперь поживаешь?

¹ Из путешествия Л. В. Кандауров поехал в Евлаторию, где была его семья.

² Речь идет о картине Патинира (1480-1524) «Пейзаж с Хароном», музей Прадо, Мадрид. В. Д. Поленов часто просил Леонида обойти картинную галерею, найти интересные вещи и затем пригласить его посмотреть.



У нас лето не дождливое, как прошлое, скорее сухое, и я этим пользуюсь, чтобы восстановить утраченные за зиму силы – купаюсь, рублю, пилю и т. д.

Теперь понемногу принимаюсь за свою профессиональную работу. Она очень трудна, дает много тяжелого, но и радости от нее много. Мне давно хотелось поделиться с тобой вопросом, давно занимающим меня, а именно – о значении и смысле этой работы, не лично моей, а об общем ее значении. Толстой сказал про живопись, что это то же, что у детей игра и игрушки, он вполне прав. И там и тут прикасательной силой является воображение или целые фантазии, сочетания душевных состояний, дающих особенную легкость существованию. А это есть одно из самых дорогих, если не самой дорогой нашей способностью жить не действительностью, как она есть, а как бы хотелось, чтобы она была, и вот поэтому способы, которыми возбуждается воображение, так дороги людям. Большинство работающего человечества жаждет чего-нибудь такого, что вырвало бы его из будничной действительности и возвышало бы над ней.

Темному человеку, а часто и не ему одному, все это дает водка. И дорога она не от того, что она его отравляет и разоряет, а потому что дает радостные минуты воображения, как китайцу – опиум, арабу – гашиш, нервноболющему – морфий. Нам же – искусство, и последнее гораздо менее вредно, чем его наркотические собраты. И в этом его огромное преимущество: оно дает отраду жизни, не разрушая ее. И вот поэтому надо дать народу возможность хоть изредка приобщиться к более здоровому способу жить воображением, а именно к искусству. Нам эту возможность дает картинная галерея и выставки, концерты и театры. Этого у народа пока нет. Эстетика была во все времена одним из самых постоянных и могучих спутников религии. Взять Египет, Грецию, Палестину, Средний Восток, Возрождение: большинство великих созданий возникло на религиозной почве, было вызвано религией, и храм, посвященный божеству, становясь домом молитвы, становился хранителем искусства или искусств.

Наша церковь, которая признает и живопись, и музыку, и поэзию наряду с домом молитвы уже есть храм искусства, и это ее огромная сила и ее значение, как в прошедшем, настоящем и будущем. Эта сторона, если на нее

обратить особенное внимание, может дать в награду то, что мы все в более широком размере получаем от искусства. Вот под влиянием каких дум я начинаю созидать для наших соседей-крестьян храм молитвы и искусства¹.

Твой В. П.

Осень, 1911 г.,
г. Москва

С большим интересом прочел я брошюру², которую ты дал мне, Леонид.

Прелюбопытные там факты, а изложение очень достойное и логичное. Особенно мне понравился вывод, где речь идет о различии понятий самодержавия, абсолютизма и произвола. По-моему, это очень верно, и весьма прискорбно, что очень немногие теперь это понимают, особенно наверху. Тут было бы очень кстати более определенно и конкретно выставить явления, которые особенно ярко выразились в последние два десятилетия: это смешение самодержавия с административной расправой при весьма слабой ответственности администраторов перед законом, начиная с высших и кончая низами. Такая система не только не поднимает престиж самодержавия, а, напротив, роняет его. При самодержавии губернатора и урядника самодержавие императора только искажается и умалывается.

По поводу «сыновней скорби», о которой так почувствованно говорит Тверское земство, к которой с таким благоговением и сочувствием относилась вся Россия, вот что я припоминаю: Александр Александрович был нелюбимым сыном Александра II, в семье над ним смеялись и оскорбляли. Когда он стал наследником, то отношения к отцу только внешне стали лучшими, а под конец царствования, под влиянием то ли Победоносцева, они так обострились, что не скрывались перед совсем посторонними людьми. В это время судьба поставила меня довольно близко к наследнику³, и я явно увидел, какая сильная у него неприязнь к отцу и к дядям – Константину и Николаю⁴. Первого он при всех называл вором и мерзавцем, а второму хоть тот и старался во времена войны – он делал всякие каверзы. Видно было, что он совершенно противоположных отцу взглядов и убеждений, как в делах политических, так и в семейных.

¹ Речь идет о строительстве школы в Стракове, в которой было запланировано помещение для спектаклей.

² Речь идет о брошюре, выпущенной Тверским земством в связи с убийством премьер-министра П. А. Столыпина 1 сентября 1911 г. в Киеве, на торжествах по поводу открытия памятника Александру II. В брошюре говорилось о противозаконных действиях Столыпина при проведении закона о западном земстве.

³ Речь идет о Сербско-Черногорско-Турецкой войне, куда Поленов отправился добровольцем. Александр III, будучи наследником, командовал Рушукским отрядом, вел. кн. Николай Николаевич был главнокомандующим.

⁴ Константин и Николай – братья Александра II.



ТАРУССКИЕ СТРАНИЦЫ

Поэтому, когда случилась катастрофа 1-го марта¹, которая не была неожиданностью, то горе его было очень условное. Я помню, как Боголюбов², приехав из Гатчины, крестясь благодарил Бога, что Россию миновало великое несчастье, она чуть не стала такой же шаткой, как другие европейские государства, а Долгорукая³ чуть было не сделалась императрицей Екатериной III. И что вообще старик намеревался Бог весть, что надевать, чуть ли не лишит престола сыновей от первой жены. А Боголюбов, как человек не имевший никаких убеждений, был всегда отголоском последних его собеседников. Впрочем, тоже самое мне рассказал Хрущов⁴. Как по секрету Делянов⁵ ему сообщал о премудрости Провидения, заботящегося при событии 1-го марта о благе Российской империи.

В. П.

22 июня 1912 г.,
г. Борок

Дорогой Леонид,

поздравляю с успешным экзаменом Андрея. Я буду свободен не раньше конца июня, и очень хотелось бы куда-нибудь спрятаться. Чувствую себя скверно, болит голова, поясница, рука, нога, а желудок не дает ни пить, ни есть. Я был бы очень рад попасть к морю, на солнце и повидать Ваш Судак⁶, все, что красиво. Напишите подробно, как ехать.

Ваш В. Поленов

30 сентября 1912 г.,
г. Борок

Дорогой Леонид, посылаю Вам «Рейнскую Легенду», может быть, уже поздно. Запоздало, т. к. Наталия Васильевна была поглощена болезнью девочек, а затем смертью Сергея Соловьева⁷. Наши младшие дружат с его детьми. Это был чудный, исключительный человек, чистый и высоко этический в убеждениях. Рукопись, что я посылаю, черновая, но единственная, я хотел ее переписать, но нет времени. Что касается музыки, то я нашел у себя только черновые наброски, и пришлось переписывать. Необходима музыка – песня Ри-

чарда «Через горы и долины», она, по общему приговору, трудна, и песнь Блонделя «Жил на свете рыцарь бедный». Остальные могут быть продекламированы. Эта музыка моего издания, так сказать домашняя, или кустарная, поэтому заранее извиняюсь перед специалистами и прошу без стеснения изменять, отбавлять, добавлять, смотря по надобности, также и пьесу. В ней четыре сцены, но у нас «сельский праздник» – третье действие был в харчевне, а «свидание рыцарей» против харчевни. Посылаю наброски для декораций.

Ваш В. П.

14 ноября 1912 г.,
г. Тверь

Дорогой Василий Дмитриевич,

глубоко тронут Вашей добротой. Мои планы приехать на 21–22 ноября не могут быть выполнены, т. к. я назначен присяжным и должен целые дни сидеть в суде. Рукопись⁸ переписываем на «Ремингтоне» под мою диктовку. Через несколько дней я пришлю копию. Насчет музыки наш чех – учитель пения – сказал, что надо кое-что переделать, мы опасаемся, что выйдет не то, что Вы хотели. Но без него не можем обойтись. Он нашел, что Вы должны хорошо играть на рояле, но правая рука у Вас идет лучше, чем левая, и что по Вашей музыке трудно поверить, что Вы не владеете техникой игры. Говорят, что Вагнер совсем не умел играть на рояле. Правда ли это.

Ваш Леонид

20 декабря 1912 г.,
г. Москва

Предложено следующее: сегодня едет первый транспорт⁹, двадцать третьего – второй. Наталия Васильевна и я – двадцать четвертого в двенадцать часов дня, если найдем билеты. Там затевается для школы представление третьего января. Наталия Васильевна приглашает Вас приехать к этому времени в Борок, а в Тарусе что-то готовит Ольга Владимировна. Мне хотелось бы прочесть Вам мой перевод «Анны Бретонской», чтобы Вы уничтожили галлицизмы. Во всяком случае, очень буду рад Вас видеть.

Ваш В. П.

¹ 1 марта 1881 г. был убит Александр II.

² Боголюбов А. П. – живописец.

³ Долгорукая Катерина – незаконная жена Александра II.

⁴ Хрущов И. П. – филолог, педагог, родственник Поленова.

⁵ Делянов И. Д. – министр народного просвещения в течение 1882–1897 годов.

⁶ Июль 1912 г. В. Д. Поленов проводит в Судаче вместе с Л. Кандауровым, заезжает в Коктебель. Кандауров, как всегда, делает много фотографий и пересылает их Поленову.

⁷ С. Соловьев – сын известного историка С. М. Соловьева.

⁸ Речь идет о рукописи пьесы «Рейнская легенда» и музыки к ней, написанной В. Д. Поленовым.

⁹ Перевозка декораций для спектакля в Страховской школе.



16 января 1913 г.,
г. Москва

Дорогой Леонид,
спасибо за указания о моем переводе. Некоторые поправки я сделал, а о других очень хотелось бы с вами поговорить.

Представление в Страховской школе¹ по разнообразным отзывам очень удалось. Мы с Наталией Васильевной все приготовили, но устраивать на месте нам не пришлось, захворали, очень было жаль, но для молодого поколения было полезно, им пришлось все делать самостоятельно. Со всех сторон доносились потом похвалы, и очень разнообразные, один крестьянин-рабочий (портной) пришел уже в Москве спросить Наталию Васильевну, нельзя ли их так научить? Она сказала, что к этому мы идем. А на днях были получены сочинения старшего возраста. Есть очень интересные и талантливые. Особенно мне было приятно, как пишет одна девочка: «Как подняли красное полотно, я увидела четыре комнаты».

До чего моя декорация дает иллюзию и возбуждает воображение зрителя.

Последние дни все шумят о Репинской картине. Из всего вздору, что об этом написано самое интересное – это М. Волошина². На меня эта картина наводила уныние, своей, скажу прямо, натуральностью. Она была написана под впечатлением оперы «Риголетто». Но кровь прибавлена Репиным для устрашения нервных дам и вообще публики. Макс, ничего того не зная, угадал, рассказывая, что театральные вещи сильнее действуют, чем действительность. Что на Западе и в Америке были случаи, что зрители в театрах стреляли в актеров-злодеев, преступников, чего в залах суда не бывает. Театральный злодей страшен. А живой человек – обыкновенный.

Иногда подумываю о лете, очень бы хотелось попасть опять в Элладу, но никому об этом не говори. «Рейнской легенде» не везет, набрали в двух местах, и нигде ничего не вышло.

В. П.

27 августа 1913 г.,
г. Борок

Дорогой Леонид,

поздравляю Вас и Лидию Тимофеевну с поступлением Андрея в гимназию. Это крупное событие в семье.

У нас закончился летний сезон, давший Тарусе выставку, два чудных концерта и шесть лекций. У нас увеличение художественной галереи прозрачных картин. Детский спектакль, по инициативе и замыслу Наталии, красиво поставлен Катей, талантливо исполненный труппой и складно написанный в стихах Володей Морицем³. В общем, впечатление вышло очень художественным. Но, к сожалению, этическая сторона оказалась такой отрицательной, что я был глубоко огорчен ее низким уровнем развития. Никакие мои советы не помогли, они ничего не поняли. Восторжествовал принцип мечты и бессмысленного искания идеала на словах. Моя проповедь, что сказка с идеалом должна не повторять стихи, а давать нечто более высокое этическое и справедливое, оказалась, как «глас в пустыне», очень жаль.

Ваш В. Д.

10 октября 1913 г.,
г. Тверь

Дорогой Василий Дмитриевич!

На днях был в Москве, был у Вас. Рад узнать, что все здоровы, и Вы наслаждаетесь погодой и работаете на реке.

В этом году уроков меньше, не так устаю.

В Москве посетил музей Александра III. Как скоро один за другим сошли со сцены его главные устроители И. В. Цветаев⁴ и Ю. С. Нечаев-Мальцев⁵. Солон⁶ мог бы привести их как пример счастливой жизни. Было много посетителей, и это мешало. Как темен Греческий Дворик в виде колодца. Публику вниз не пускают, и не удается исправить впечатление. Я заметил, что Венеру Милосскую и Аполлона Бельведерского слишком пережелтели. Ваш экземпляр Венеры⁷, захватанный руками и пыльный, гораздо симпатичнее. Аполлон в натуре совсем белый (каррарский мрамор). Наши Тверские выставки стали приносить дефициты, это происходит от равнодушия публики к современному искусству, которое у нас преобладает. Мне пришлось в голову обратиться к Репину, не даст ли он что-нибудь для поднятия интереса к выставке. Если бы Вы могли за нас похлопотать,

¹ Представление посвящалось открытию Страховской школы, построенной на деньги В. Поленова.

² Когда А. Балашов исполосовал картину Репина «Иван Грозный и его сын», М. Волошин написал статью «О смысле катастрофы, постигшей картину Репина», а затем провел диспут в Политехническом институте. (М. Волошин «О Репине». М. 1913 «Оле-Лукойе»).

³ Наташа и Катя – дочери В. Д. Поленова, Володя Мориц – филолог, переводчик, племянник И. В. Поленовой.

⁴ И. В. Цветаев, филолог, профессор, организатор постройки Музея Изыщных Искусств.

⁵ С. Нечаев-Мальцев (1834–1913 гг.) предприниматель, построивший на свои деньги Музей Изыщных Искусств.

⁶ Солон (639–559 г. до н. э.) – один из семи греческих мудрецов.

⁷ Гипсовый слепок, стоял в саду на Садово-Кудринской, где жил В. Д. Поленов.



ТАРУССКИЕ СТРАНИЦЫ

были бы Вам очень признательны. Все здоровы. Привет Мите и всем.

Любящий Вас Леонид

*Декабрь 1913 г.,
г. Москва*

Дорогой Леонид,

долго Вам не писал, потому что не мог ответить на Ваши вопросы. Репина я еще не видел, а насчет театральной выставки ни с кем не мог переговорить. Когда она будет в Москве, я Вас сведу к нам в секцию. Там Вы со всеми познакомитесь и обо всем переговорите. Большое спасибо за присланные фотографии «Рейнской легенды», очень милая публика, а новое изобретение показывать декорации, посредством волшебного фонаря может иметь большое применение. В Москве затеяли поставить мою «Анну», не знаю – что-то выйдет. «Дамба»¹ моя удалась, хоть и не кончена, и будет красоваться на передвижной выставке.

Ваш В. Поленов

*13 января 1914 г.,
г. Тверь*

Дорогой Василий Дмитриевич,

был я после Рождества в Москве, у Вас никого не было. [..] Был на выставках – какие они пестрые! Видно, все направления перепутались. Особенно не выдержан характер на выставке «Мир искусства». Тут и Гончарова, и Шитиков, Остроумова и Сарьян. Бенуа выставил бледные вещи. Кузнецов стал писать под Сарьяна, но мне Сарьян милее. Он очень милый армянин, я его видел у Кости.

Чрезвычайно прост, искренне увлечен своей живописью. Напишите, будете ли в Москве на масляной.

Ваш Леонид
*20 января 1914 г.,
г. Борок*

Дорогой Леонид,

никак не могу собраться вам ответить: масленицу, если не помер, думаем провести в Москве. Поехала Наталия Васильевна (старшая и младшая) в Крым, чтобы отдохнуть и поправиться, и несмотря на бури, выюги, метели, заносы

поездка удалась, им понравилось, особенно младшей. Мы же провели это время в Борке в тишине и спокойствии. Теперь на мою долю выпало огромное счастье. На масленице чуть не в один день пойдут все три мои оперы, как я их называю². Что из этого выйдет, не знаю, но от одной мысли я на седьмом небе. Очень буду рад Вас видеть.

В. П.

*16 февраля 1914 г.,
г. Москва*

Дорогой Леонид,

мне очень жаль, что не пришлось повидаться с Вами на масленице. Мне хотелось поговорить о лете, о Вашей выставке в Твери, об одном предприятии³. Показать Вам «Трифельз» с моей музыкой и декорациями, показать нашу секцию, в общем, опять возобновить прежние отношения. Я говорил с Репиным о Вашем желании иметь на выставке какую-нибудь его большую картину, он ничего определенного не мог мне сказать. [...] Я слышал, он их куда-то уступил и продал. Может быть постом или на Пасхе Вы побываете в Москве. Поэтому, если буду жив, то увидимся. На масленице шли две мои пьесы – «Трифельз» и «Эллада», хотя они и не совсем мои, но доставили мне великую радость.

Ваш В. П.

На пасхе, может быть, пойдет «Анна Бретонская»

*26 сентября 1914 г.,
г. Тверь*

Дорогой Василий Дмитриевич!

Есть ли известия от Егише⁴, вернулся ли он? Мое предположение, что война будет год, оправдываются, как бы ни дольше. Ближайшие годы принесут много перемен в жизни для России. Удручающее впечатление производят немецкие писатели и ученые в лице Гауптмана и Вундта – высказывают убожество. Советую познакомиться с романом Генриха Манна «Вернопопданный», написано до войны и автор – немец – еще не потерял рассудка. Наша школа оправляется от постигшей ее потери – смерти Ольденбурга⁵.

Ваш Леонид

¹ Дамба – плотина на р. Оке, ее ежегодно строил сам В. Д. Поленов. «Я заработал на дамбе 400 руб., написал 4 этюда и продал по 100 руб.» – шутил В. Д. Поленов.

² «Рейнская легенда», «Призраки Эллады». «Анна Бретонская».

³ Здесь речь идет о покупке дома в г. Тарусе, Поленов мечтал, что Л. Кандауров и Э. Татевосянц купят себе по дому в Тарусе. В мае 1914 г. Л. Кандауров нашел для покупки дом, но, как выяснилось в архиве, прав на наследование этого дома у продавца не было.

⁴ Егише Татевосянц (1870–1936 гг.) – художник, ученик и близкий друг последних лет Поленова.

⁵ Федор Федорович Ольденбург (1862–1914 гг.), умер 23 июля, – выдающийся деятель народного образования, променял титул ученого на скромное звание преподавателя Тверской земской учительской школы им. П. П. Максимовича (с 1887 г.), был организатором и душой общественно-педагогического кружка в Твери.



Конец сентября 1914 г.,
г. Борок.

15 января 1915 г.,
г. Тверь

Дорогой Леонид,

я только что вернулся из Москвы, где приводил в порядок и дополнил свой круг картин «Из жизни Христа» для выставки в пользу бедствий от войны. Все шло отлично: и градоначальник, и Епископия с радостью разрешили, и вдруг все затормозилось в Консistorии. А можно было бы собрать для бедных хорошие деньги¹. Я все-таки не верю, что вся германская нация была заодно с Вильгельмом² и Гауптманом³. Люди говорят, бегутся от жиру, но не все же немцы объелись или опились. Больше всего поражают их социалисты, французы понятно почему пошли на действительную гибель. А кто победит для меня не ясно, да в сущности и все мало знают, как и я, только притворяются.

Наша секция дает спектакли в госпиталях для раненых, имеет громадный успех.

Твой В. П.

9 декабря 1914 г.,
г. Москва

Предполагается у нас следующее: первую половину праздника все остаются в Москве, может быть, придет и Митя. На вторую три девочки думают с большой компанией поехать в Борок-Бёхово. Наталия Васильевна все время пребывает в Москве, вероятно, и я, ибо очень много работы по разным отраслям: и декорации, и рукописи, и картины, и музыкальные номера, и древесные работы. Теперь начинается сезон выставок. Выставки в пользу жертв войны представляют из себя курioзное смещение языков. Но, в общем, забавно, кукольный отдел радует и детей и большую публику. Очень буду рад тебя видеть.

Твой В. П.

Дорогой Василий Дмитриевич,

с удовольствием прочел Вашу рукопись⁴ и очень тронут ее присылкой. Она производит цельное впечатление. Несмотря на разбор характеров великих людей, их слов и поступков, ясно, что Вы понимаете все связанное с их личными свойствами как отражение свойств выдвинувшего их народа. Несомненно, что не вина одного Вильгельма. Все ужасы, производимые немцами во времена Нибелунгов, и признание этого цикла сказаний как национально-немецкого состоялось в последнее время и этим выразило вкус современного немца. Возможно, в немецких преданиях можно найти не одни подлости, но именно этически высокие рассказы и не привлекли внимания немцев, и они их не собрали и не распространили среди народа. На масленице думаю быть в Москве.

Леонид

25 февраля 1915 г.

Дорогой Василий Дмитриевич?

Читал в газетах, что Вы положили прочный фундамент для дома секции⁵. Вызвал ли Ваш пример приток средств, необходимый для осуществления проекта? Мне казалось, что смета очень мала для осуществления такой постройки. Я потерпел неудачу в организации выставки в Твери. Помещение оказалось не освободившимся на Пасху. Наши школы не заняли раненые, но часть их отдана учащимся тех народных школ, которые заняты ранеными.

Ольга Владимировна Берви сняла нам в Тарусе дом на лето.

Кажется, на войне убит мой кузен. Юра Скрыбин, сын моей любимой тети, племянник композитора.

Ваш Леонид

¹ Выставка картин в количестве 68 номеров состоялась в конце октября 1914 г. «Русские Ведомости» писали: «Народу было много».

² Вильгельм II (1859–1941 гг.), германский император.

³ Гауптман Г. – немецкий драматург (1862–1946).

⁴ Здесь говорится о рукописи, статьи профессора, – академика В. Д. Поленова «Что такое германцы?», опубликованной в журнале «Заря», № 45, 8 ноября 1915 г. Говоря о том, «...что война, с какой бы целью она ни велась, все же есть ужас», Поленов исходит из того, что характер нации заложен в ее истории, которую можно восстановить по национальным эпосам. У немецкой нации это «Песнь о Нибелунгах», которая основана на «хищничестве, обмане, насилии, преступлениях и убийствах. Они все гибнут не от нарушения этических законов, а потому что в мире все кончается гибелью». Указанный эпос, восстановленный Вагнером в «Кольце Нибелунгов», был дан молодому поколению Германии конца XIX века, как образец человеческих законов. Отсюда требования Вильгельма: «Вести войну не с армией, а с нацией». В этой статье Поленов признает правоту Л. И. Толстого: «Я вспоминаю, как после первого представления театрологии Вагнера в Москве был об ней спор в доме Л. Н. Толстого [...]. Он нападал на этическую сторону, а мы, тогда еще сравнительно молодые, под впечатлением музыки отстаивали этику героев. Я был одним из самых ярых защитников. Теперь я склоняюсь на сторону Льва Николаевича».

⁵ Речь идет о покупке Поленовым на свои деньги участка земли в Москве (угол Медынки и Кабанихина пер., над прудом нынешнего зоопарка), предназначенного для постройки Народного дома, где должна была разместиться секция народных театров.



ТАРУССКИЕ СТРАНИЦЫ

12 июня 1915г.,
г. Таруса

Дорогой Василий Дмитриевич!

Уже две недели живу в Тарусе, Чувствую, что без Вас скучаю. Все музыканты, у всех свои планы, интересы¹, я чувствую себя одиноко. Узнал из газет, что происходит у Вас в Москве в секции, и понял, отчего Вы не приезжаете.

С Ирой занимается Нина Георгиевна² и берет ее участвовать в опере. Я думаю, она очень подойдет по росту и фигуре. Ей доставляет это большое удовольствие, и она относится к этому очень серьезно. Вульф³ устроились в Борке чудесно.

Ваш Леонид

3 сентября 1915 г.,
г. Борок

Дорогой Леонид,

под какой бы знак мы не попали, все же ужасы теперешнего состояния пройдут и, несмотря на все глупости, которые делают, «кривая вывезет», как говорит народная мудрость да еще прибавляет: «дуракам счастье». У нас (в Тарусе и против нее) лето, благодаря сплоченности, талантливости и одушевлению случайно образовавшегося вокруг Веры Васильевны кружка, протекло или даже промелькнуло оживленно, интересно и, кажется, с большой пользой, не только для участников художественных предприятий, но и вообще для граждан или обывателей маленького богоспасаемого городка Тарусы.

Как спектакль, так и концерт⁴ и выставка имели несомненный успех. Спектакль шел три раза подряд при полном сборе. Меня особенно интересовал демократический элемент зрителей. Вера Васильевна и я кое-что собрали из впечатлений. Получилось строго трогательное и весьма осмысленное. Многим больше понравилось третье действие «Эллады», т. е. прощание: как они оба, сердечные, убиваются, и все у них в напев выходит она, такая молоденькая, субтильная, говорит – как я останусь одна-одинешенька? И бежать не в силах и

ручками умоляет. Он ее утешает – и рад бы остаться, да не могу, должен уплыть в далекое море. [...]

Наталия Васильевна послала на представление своих юношей – беженцев, поляков⁵. Им из представления больше всего понравились «Марсельеза» и ангел, а из «Эллады» – как они говорят – «прошу, пане, не поминай лихом»... Многим понравилась служба – точно венчание. Одна девочка, дочь прачки, вернулась, вся ахает и – в слезы. Мать ей – «Что ты дура реवेशь? Били там тебя». А она: «Ах, мама, мама, там ангел летал!»

По поводу Народного дома⁶ было заседание в управе. Я показывал планы по наброскам Шишковского, обработанные тетей Верой и ее сыном Володей. Постановлено просить через меня Шишковского составить смету на три типа: каменный, полукаменный и деревянный. На днях я его увижу, и тогда опять соберемся.

Сегодня я получил от градоначальника приглашение на молебствие по поводу открытия в Тарусе мужской гимназии, переведенной из Вержболова. Говорят, что будет отделение и для девочек. Вот то значит война. Таруса давно хлопочет о гимназии, но министерия все не удосуживалась узнать, в каком месте планеты эта Таруса, и если таковая на ней числится, то имеет ли она еще право мечтать о гимназии. Теперь, приезжал министерский инспектор и нашел, что даже можно устроить таковую, благо климат подходящий. Очень хотелось бы мне быть гражданином этого городка, да все что-то не выходит. Я бы построил там домики и отдавал их друзьям на жительство. Сам я теперь опять принялся за работу. Живопись – готовлюсь к выставке, а, кроме того, пишу подарки главным участникам «Эллады». Я с весны опять принимаю йод, но шум в голове не унимается, неужели медицина до сих пор ничего не выдумала, чтобы притупить это состояние? Подчас оно делается очень тяжелым, и все боишься, что не выдержишь.

Чтобы составить смету, я просил Городского Голову (купца Макаренко) сообщить мне цены на материалы. Он прислал мне все повышенные против теперешних,

¹ Летом 1915 г. в Тарусе собралось общество выдающихся музыкантов: профессор Московской консерватории А. Н. Александров, певица С. Т. Кубацкая, виолончелист В. Л. Кубацкий, Н. Г. Александрова, В. Э. Мориц, В. В. Вульф – пианистка. Этой группе музыкантов пришла в голову мысль поставить в Тарусе оперу Поленова «Призраки Эллады».

² Н. Г. Александрова – певица, ученица Жака Далькроза, основателя ритмики. Первая преподавательница ритмики в России. Ирина Кандаурова, дочь Л. Кандаурова училась у нее в Москве после революции.

³ Вульф – Ю. В. Вульф – профессор кристаллографии, певец-любитель. Вера Васильевна Вульф, урожденная Якунчикова, сводная сестра Наталии Васильевны Поленовой, она же тетя Вера пианистка. В. Ю. Вульф – их сын, пианист, он же Володя.

⁴ Концерт в пользу беженцев был организован группой музыкантов и поэтов 6 августа 1915 г. Свои стихи читали: К Бальмонт, Ю. Балтрушайтис. Выступали: В. Кубацкий, В. Вульф и другие. Билеты на концерт содержали акварели художников.

⁵ К концу 1915 г. насчитывалось до 6 млн. беженцев, среди них были поляки, т. к. Польша и Варшава были оккупированы немцами.

⁶ В. Д. Поленов хотел на свои деньги построить Народный дом в Тарусе.



которые и теперь высокие. Эти отцы города, с ними надо держать ухо востро!

Ну, до свидания. Твой В. П.

11 сентября 1915 г.,
г. Тверь

Дорогой Василий Дмитриевич, очень был рад получить Ваше большое письмо. По-видимому, это лето не только нам всем, но и Вам доставило много внутреннего удовлетворения. Я очень счастлив, что моя детвора видит Вас и Вашу художественную работу. Не только видит, но, хотя бы и немного, принимает участие в ней. В Вашей работе много элемента, объединяющего людей. Некоторые эстеты уверяют, что искусство, доступное массам, – низкого сорта. Мне кажется, здесь есть некоторая разница. Искусство пошлое или вульгарное и искусство глубоко простое, доступное всеми своими человеческими чертами, должны различаться. Если и не соглашаться во всем с Толстым, надо признать, что его взгляд на искусство как средство общения людей верен.

Моя детвора прямо выросла за это лето не только физически, но и духовно. Они полюбили Тарусу и готовы жить там и зимой.

Я не ошибусь, если скажу, что то настроение, которое чувствовали артисты, исполнители, которое чувствовал сам автор, передавалось и их юным душам. Они не очень разбирались в своих чувствах, но глубоко полюбили Вашу оперу и открыли себе дорогу к наслаждению произведениями поэзии в будущем.

Когда я вспоминаю свою жизнь, влияние учителей, литературных произведений, театра, то мне кажется, что некоторые моменты особенно сильно воздействовали на внутреннее развитие, тогда как масса впечатлений скользит, не оставляя следа. Вы очень сосредотачиваете все средства, чтобы захватить зрителя, добиваетесь полноты впечатления. Я вспоминаю Ваши хлопоты, чтобы были ароматы передаваемой сцены как образец жажды полноты переживаний. Даже те, кто находили это излишним и улыбались на Вашу затею, чувствовали, что сравниться с Вами в Вашем энтузиазме нелегко, что в основе лежит глубокое чувство. Поэтому и недолгое обучение с Вами в Вашей художественной работе оставляет глубокие следы в душе человека.

Когда переедете в Москву, известите меня. Я думаю еще раньше Рождества побывать там. Поклон от нас всем.

Любящий Вас Леонид

Ноябрь 1915 г.,
г. Москва

Несколько раз принимался отвечать на твое письмо, Леонид, да все отрывали. Ты пишешь, что Толстой смотрит на искусство «как средство сближения людей», – это очень верно, но где он это говорит? А что касается до смерти, то человек, изображающий неимущего, потому что все свое состояние перевел на имя жены, доставляет ей страдания.

Теперь идут собрания и банкеты по поводу 10-летия октябрьского манифеста, и фракция так называемых кадетов празднует юбилей своего существования и произносит речи, вспоминая своих первых выделившихся людей. Читаю это, и мне становится за них обидно: как люди, которые во главе государственного устройства постановили законы и законность, как только получили власть, первым делом нарушили основной закон всякого организовавшегося собрания. Тут Петрункевич¹ говорит длинную речь, а Муромцев² слушает и только после него открывает заседание. Говорит, что это впопыхах от восторга, но на деле это заранее придуманный эпизод. Потом, заняв председательское место, грубым окриком заявляет о своей выборности в председатели, не говоря о противогосударственности и преступности относительно личности, выбранной по приказанию. Вот из теперешней действительности. Один солдат, выпущенный из лазарета, рассказывает: «Врач наш разумный и делает все обдумавши, а везде такая бестолковщина, только, значит, кричат и ругаются. Кабы не земство, и купечество вышел бы из красного креста без ничего: не одевши, не обумши, потому больше там идет воровство, а как прикинем, оно и точно, как не попользоваться, когда скопилось там много добра, да и деньжищ, говорят, у них видимо – невидимо».

Один из наших крестьян говорил: «Не все ли равно, кому платить деньги – русскому или немцу. Немец аккуратный, возьмет да и запишет, а русский забудет да еще раз потребует».

Я приехал в Москву и был на стройке для секции. Признаться, очень боялся увидеть не то, что задумали, особенно после критики Наталии Васильевны, приехавшей в Борок. Но не только не был разочарован, а, наоборот, нашел этот домик гораздо более интересным, чем думал. Да и вообще все оказалось лучше, чем я ожидал. В секции меня встретили дружески, радостно, это доставило мне большое удовольствие. Когда мы затеяли эту постройку, то было сделано вроде конкурса: Шишков-

¹ Петрункевич И.И. – председатель партии кадетов (1909–1915).

² Муромцев С.Л. – юрист, председатель Гос. Думы, член партии кадетов.



ТАРУССКИЕ СТРАНИЦЫ

ский составил в стиле модерн, еще один в стиле модном с колоннами – Николаевском (я его называю шпицрутен-стиль), и был проект в русском стиле. Я сделал два проекта – один конца XVIII века, я называю его Бетховенский стиль, и Британской готики. Судьями были члены общества, много рабочих. Единогласно был выбран готический мой проект. Я имею в виду не богатую готику соборов и замков, а деревенскую, например, башня такая часто встречается у зажиточных крестьян или на фермах. Их ветряные мельницы в этом роде. Готический стиль в России – это стиль фабрикантов и фабрик, это самый демократический стиль.

В. Поленов

2 января 1916 г.,

г. Москва

Дорогой Леонид,

мы хворали. У Наталии Васильевны инфлюэнция пала на печень, но теперь как будто получше. Я перемогаясь ни то ни се. Дела секции развиваются, и на съезде партии мы, кажется, имели успех, я даже был выбран в председатели¹. А с нашим домом или усадьбой начались заминки, перерасходовали и трудно обустроиться, много долгов, а дохода никакого. Не топим, поэтому нельзя заниматься и работать. Компания подобралась очень симпатичная, но не особенно практичная, без ясных планов. Но я думаю, что все-таки вывернемся.

В «Сирано» мы были², я устроил угощение, молодежи было около 20 душ обоего пола, было весело, особенно от души хохотал Кубацкий. Его радовал наклеенный нос главного (как он его называл) зачинщика. Впечатление у нас получилось смутное, не так, как у Вас. Мне было жаль, что ни я и никто из нас не почувствовали того, что Вы почувствовали. На меня произвело впечатление чего-то выдуманного, я даже плохо разобрался. Выходило так, что любовь или взаимность зависит от красноречия, а на публику красноречие или болтовня развязного хвастуна действовала отрицательно, а скромный молчаливый юноша, влюбленный, но не умеющий это выразить, привлекал общую симпатию. С внешней стороны разные несообразности французской наивности вызывали улыбку. Два человека разных

голосами говорят поочередно с дамой, а она думает, что это один и тот же кавалер. Толкуются эти кавалеры вдвоем, а она все воображает, что это один, причем луна светит всюду. Правда, дама все отворачивается, чтобы публика думала, что она не видит, и множество подобных неумностей. Декорации очень недурные, но девочки нашли, что это подробная литография Павлова, а не старые гравюры. Сцена войны в оранжевом цвете невообразимо тяжела для глаз. Задача этой пьесы очень интересна, но воплощение до такой степени искусственно, рассудочно, придумано, что мы плохо разбираемся или совсем не разбираемся, для нас надо что-нибудь простое, естественное, внятное.

Вот уже три недели как Митя уехал в армию и после многих осложнений и препятствий попал на фронт. Письма от него такие довольные, радостные, что радуемся за него. Командиры отряда, офицеры чудные, особенно хорошие солдаты с лошадей, прозванной «бала-лайка». Последнее письмо уже с позиции из окопов. Он впервые услышал красивый звук летящей пули, грозные раскаты орудия, а песок и сосенки точно у нас, и речка очень похожа на Оку. Его мечта последних лет осуществилась намного ярче и красивее, чем он воображал. Если он теперь погибнет, то нам утешение то, что он с избытком достиг желанного.

Позапрошлым летом в «Русском слове» был маленький рассказ М. Горького, не помню как озаглавлен, но это был «допрос политического» – вещь поразительной художественности, я не вырезал и давал читать, и не могу найти. Говорят, что Горький живет в Твери? Если так, то нельзя ли узнать, откуда этот отрывок и где напечатан.

Прилагаю вырезку из «Утра России» о сараевском убийстве. Теперь начинают догадываться и сознавать то, что мне сразу показалось³.

В. Поленов

г. Москва.

Зима 1916–1917 гг.

Тверь.

Дорогой Василий Дмитриевич,
на другой день после спектакля⁴, уехали в Тверь. Спектакль детям понравился и судя по разговору по-

¹ Речь идет о работе секции народных театров, где проходил съезд деятелей народного театра (27 декабря 1915 г. – 6 января 1916 г.) председателем избран В. Д. Поленов.

² По совету Л. В. Кандаурова, которому очень понравился спектакль Камерного театра «Сирано де Бержерак» Ростана, Поленов со своими дочерьми и друзьями – музыкантами был на просмотре спектакля и подверг его жесткой, но справедливой критике.

³ Возможно, речь идет о мыслях Поленова, изложенных в статье «Что такое германцы?», где он писал, что сербы навели на Вильгельма большой страх. «Боясь за свою личность, последний возымел намерение наказать сербов, подчинив их себе». В конце 1915 г. Сербия была оккупирована австро-германскими войсками.

⁴ Письмо написано под впечатлением спектакля «Анна Бретонская», поставленным в Бутырской гимназии силами учащихся.



нято ими правильно. Я заметил что перенесение центра тяжести с игры на слова в детской пьесе – положительное достоинство. Игра часто не под силу молодым артистам, а молодая публика неизбалованная современными умозрениями артистического искусства, больше воспринимает от слов, чем от жестов. Почти все произносилось ясно, отчетливо и слова были необыкновенно интересны, отсюда впечатление было огромно. Легенда эта дает много для создания соответствующего настроения. Андрей был в восхищении от костюмов. Особенно ему понравились крестьяне, своей естественностью и оригинальностью они его поразили. Жаль если эта постановка не оставит после себя снимков, как «Трифельз». Декорации давали большую глубину сцены. [...] Мне понравилось как играли малые артисты, свободно держались на сцене. Видимо, режиссер своего не навязывал и дал молодежи заразиться вдохновением автора и усвоить чувство меры, которое отличает истинное искусство и которым Вы, как автор, обладаете в такой степени. [...]

Ваш Леонид.

15 февраля 1917г.,
г. Тверь

Дорогой Василий Дмитриевич,

спектакль, который дети с товарищами и подругами затеяли еще на Рождестве был на масляной. «Недоросль»¹ оказалась совсем не такой архаической вещью. Дети разыграли его весело, с юмором, очень удались костюмы – совсем XVIII век. [...] Сцена была 5 шагов на 4, я разобрал легкую перегородку между двумя комнатами. Зрителей было человек 30 – учителя, родители, знакомые. По-видимому, успех «Недоросля» в педагогических кругах произвел впечатление, а то у нас распространён обычай ставить водевили. Спектакль вдохновил молодежь, они все делали сами, особенно Андрей. Очевидно, опыт его участия в «Призраках Эллады» и то, что он видел «Анну Бретонскую», принесло свои плоды. Играл он хорошо. Он же сделал очень милую программу – акварель. Теперь мы достали статью Ключевского о «Недоросли» и читали сообща. В головах детворы роятся разные планы. [...] Я все думал о пьесе с героическим характером для будущего года, но пока ни на чем не остановился. Прилагаю фотографии. На них видно,

как тесно на сцене. Но я думаю, что можно по Вашему способу² поставить пьесу с декорациями. [...]

Любящий Вас Леонид

10 марта 1917 года

Дорогой Василий Дмитриевич!

Я захвачен сейчас политической организационной работой. Состою секретарем Кадетской партии. Как всегда, большинство не решается выяснить свои взгляды, боясь не угодить толпе. Я уважаю все, что сделала Кадетская партия, она работала искренне и по разуму. Это не значит, что я не ценю таких сильных людей, как Керенский. События, которые происходят и будут происходить, – результат выстрела гимназиста в австрийского принца. С этого момента огромная лавина несется, все больше захватывает за собой новые, питающие глыбы... Я вижу, что не только Романовы отошли в область истории, но и многое другое. Монархизм потерял корни не только у нас, но и в Германии. Сейчас это незаметно, но скоро будет ясно. Надо заново строить Русскую землю, и здесь собиратель будет не Иван Кали-та, а А. Н. Гучков. [...] Наша партия до сих пор верила, что лучшего строя, чем парламентарная монархия в Англии, быть не может. Но недаром в ее среде существовали и республиканцы. Теперь и другое крыло будет республиканское, питающееся от социалистов. Социализм же не пойдет дальше некоторых реформ частного характера. Я вижу громадный успех в рядах крайних партий, с ними легче работать. То, что происходит сейчас, бывает раз в несколько столетий и, во всяком случае, захватывает глубже и шире, чем французская революция. Предстоит новый расцвет искусства, поэзии и вообще духовного подъема, Я радуюсь за Вас, Василий Дмитриевич, что вы увидели восходящее солнце новой жизни. Раньше вы были большим скептиком, но в последнее время в Вашей душе была юношеская вера и энергия. Недаром так полюбила Вас молодежь. [...]

Леонид

*Публикация и вступительное слово
Т. А. Кандауровой-Чернышевой
на основании материалов из архива
Государственной Третьяковской Галереи,
ф 54, и семейного архива Кандауровых.*

¹ Пьеса «Недоросль» Фонвизина была поставлена в помещении нового дома Л. Кандаурова, в Твери.

² Речь идет о системе ширм, когда дана картина заднего фона и легкие боковые кулисы.

Содержание

Мы – из XX века. Слово к читателю Олега Воробьева.....4 «Т.С.» 1961. 1991–2003. О судьбе сборника «Тарусские страницы». Документы с грифом «Совершенно секретно». .6 «Тарусские страницы». Тридцать лет спустя. В разговоре принимают участие Нина Бялосинская, Николай Панченко, Булат Окуджава и Роман Левита13 «К гипотетическому будущему мы готовы больше, чем к настоящему...» Сорок лет со дня выхода в свет «Тарусских страниц» (2001).....20 АНТОЛОГИЯ «Т.С.» Николай Панченко. Слово о великом Стоянии24 «Слушать музыку звёзд...» Стихи40 Анастасия Цветаева. Моя Таруса. Письмо А. И. Цветаевой Е. Ф. Куниной. Тарусские воспоминания: неизвестный фрагмент44 Владимир Лазарев. Сестры Цветаевы. Эссе53 Алла Страшнова. В поисках Анастасии Цветаевой54 Борис Гаврилов. После Тарусы57 Белла Ахмадулина. «Дорога на Паршино, дале – к Тарусе...» Стихи64 «Т.С.» ПРЕДСТАВЛЯЕТ Константин Циолковский. «Мы с ним повстречались в далёком „когда-то“...» Из воспоминаний Лидии Каннинг (1961).....70 Ольга Панченко. На калужском перекрестке. Исторический очерк80 Надежда Мальцева. «...Пепел родины живой». Стихи.....84 Софья Островская. Анна Ахматова. «Блистательное имя её...»89 Татьяна Жилкина. Владимир Набоков. Из небытия96 Елена Николаева. Молодые годы Юрия Олеши.104 АНТОЛОГИЯ «Т.С.» Тамара Семенова-Бенини. Константин Паустовский. Глава из монографии110 Татьяна Жуковская. «Здесь, в Тарусе, я растворилась в природе...»: от Италии к Тарусе. Софья Герье в тарусском формате116 Наталия Мезенцева-Пушкина. Из «Записок» правнучки А. Пушкина121 Варлам Шаламов. Неизвестные страницы. Мастерство Хемингуэя как новеллиста.130 Юрий Левитанский. «Благодарен ветру и звезде...». Стихи136 Виктор Шкловский. Слова освобождают душу от тесноты. Рассказ об ОПОЯЗе.....142 ПОЧТА ВЕКА Юрий Казаков. «Четырнадцать кварталов счастья...» Письма Т. Жирмунской.....148 Ариадна Эфрон. «...Теплится во мне всегда Ваш огонек – как свечечка с рождественской елки». Письма к тарусскому врачу М. М. Мелентьеву156 «...Таруса – этот маленький провинциальный городок – олицетворял для него Россию». Из переписки В. Д. Поленова и Л. В. Кандаурова (1910–1917)166
--

Художественное оформление и макет М. Гольдман
Верстка Е. Метченко
Корректор А. Сидорова

ГРАНИ

Ежеквартальный литературный журнал

*Проза, поэзия, очерки современности, религия,
философия, публицистика, литературная критика и пр.*

Журнал считает своим долгом способствовать развитию
свободной мысли, свободного слова, свободного творчества.

Почти полвека журнал публиковал произведения,
которые не могли быть изданы на родине из-за цензурных
или политических ограничений.

В «Гранях» печатались произведения:

А. Ахматовой, Д. Андреева, Л. Бородина,
М. Булгакова, И. Бунина, Г. Владимова,
В. Войновича, А. Галича, З. Гиппиус, В. Гроссмана,
Ю. Домбровского, Н. Заболоцкого, Б. Зайцева, Е. Замятина,
Н. Коржавина, В. Корнилова, А. Куприна, С. Левицкого,
Н. Лосского, В. Максимова, О. Мандельштама,
В. Набокова, В. Некрасова, Б. Окуджавы,
Б. Пастернака, К. Паустовского,
Р. Редлиха, А. Ремизова, Ф. Светова,
А. Солженицына, В. Солоухина, В. Тарсиса,
М. Цветаевой, И. Шмелева, В. Шульгина
и многих других отечественных и эмигрантских авторов.

* * *

И в новых условиях уже в самой России
журнал будет следовать прежним принципам,
в первую очередь публикуя произведения,
помогающие восстановлению прерванных тоталитаризмом
традиций российской культуры.

Journal «Grani»

Журнал ГРАНИ – 2012

№ 241–242, №243–244

с цветными иллюстрациями

«ТАРУССКИЕ СТРАНИЦЫ»

третий выпуск

спустя пятьдесят лет

I том – № 241–242

II том – № 243–244

**Для оформления подписки,
писем и сообщений:**

**GRANI
BP 24 CHENNEVIER-SUR-MARNE
CEDEX 94431
FRANCE**

Представители:

РОССИЯ	T. Zhilkina 17, Milashenkova str., app. 61 127322, Moscow E-mail: grani.08@mail.ru
АМЕРИКА	K. Troosh 600 Fifth Ave San-Francisco CA 94118 E-mail: katia@katias.com
ФРАНЦИЯ	N. Fedorovsky 16 square J.-B. Pigalle 77680 Roissy-en-Brie Tel.: 01.60.28.36.57

**Спрашивайте журнал ГРАНИ
в библиотеках Москвы и Санкт-Петербурга**